

A close-up, profile view of a man's face, looking towards the right. The lighting is dramatic, highlighting the texture of his skin and the intensity of his gaze. The background is dark and out of focus.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

ДОРОГА
В ДЕКАБРЕ

Патологии
Грех
Ботинки,
полные
горячей
водкой
Санька
Черная
обезьяна
Лес

Астрель

ВСЯ
ПРОЗА
В ОДНОМ
ТОМЕ

Захар Прилепин
Дорога в декабре (сборник)

«АСТ»

Прилепин З.

Дорога в декабре (сборник) / З. Прилепин — «АСТ»,

В книгу «Дорога в декабре» вошла вся проза Захара Прилепина, опубликованная на данный момент: первые романы «Патологии» и «Санька» (премия «Ясная Поляна» и шорт-лист «Русского Букера»), одна жизнь в нескольких историях «Грех» (премии «Национальный бестселлер» и «Супернацбест») и сборник пацанских рассказов «Ботинки, полные горячей водкой», нашумевший роман «Черная обезьяна» и ранее не публиковавшаяся повесть «Лес».

© Прилепин З.

© АСТ

Содержание

От автора	5
Патологии	7
Послесловие	7
I	12
II	16
III	21
IV	27
V	37
VI	49
VII	61
VIII	76
IX	108
X	121
XI	133
XII	144
XIII	156
Грех	158
Какой случится день недели	158
Конец ознакомительного фрагмента.	160

Захар Прилепин

Дорога в декабре

(романы, повесть, рассказы)

От автора

Говорят, что если автору дорого его будущее, подобные книги выпускать не стоит: вид килограммового ПСС расслабляет и даже обезволивает. Не хочется потом ни работать, ни жить дальше. Зачем работать – когда столько написано. Зачем жить, если сам себе уже нарисовал и вылепил увесистый памятник.

Это мне так говорят, я-то думаю иначе.

В этой книге рассказано о моих близких, родных, понятных, любимых. И вместе с тем появляется ощущение, что отныне они стоят на другом берегу. И я среди них.

Можно взмахнуть на прощанье рукой. Можно так уйти.

...потом, у меня уже в детстве появилась привычка читать всякого писателя начиная с первого тома собрания сочинений и далее до последнего. Не скажу, что прочёл академического Льва Толстого, зато неакадемического в четырнадцати синих томиках затрепал, а до этого двенадцать томов Жюль Верна (сейчас дети читают) – а чуть позже, естественно, Хэма в семи томах, Фицджеральда в трех, Экзюпери в трех, Генри Миллера в двух, но пухлых, ну и Лермонтова, и Гоголя, и Бунина, и Куприна, и Газданова (сначала в трех, потом в пяти), и долгожданного Набокова (роскошные тома в черных обложках, сначала русский, потом американский период), и, кстати, Алексея К. Толстого, и Алексея Н. Толстого, и вообще всех советских классиков и недоклассиков, от Катаева и Бабеля до Владимова и Рыбакова – их было интересно читать помногу еще и по той причине, что хотелось разобраться, как на кого действует эпоха: кого выхолащивает, кого умудряет, кого ломает об колено.

Впрочем, так или иначе, течение времён не избегает никого. Прочитанные подряд все (или все основные) вещи любого сочинителя позволяют увидеть не только текст, но и – путь.

Или несколько расходящихся путей. Или путь в тупик, что не менее любопытно и познавательно.

При Советах, насколько я помню, в один томище всё писательское наследие загнать не старались – может, оттого, что в наших жилищах было просторней, и библиотека могла без проблем вместить тридцать томов Диккенса, а к нему многотомного Голсуорси с необъятным Бальзаком. Сейчас пространства разом оказалось меньше, книги вообще с трудом помещаются в наши дома, поэтому стало обычным делом запихивать литератора со всем его барахлом в один, украшенный золотыми вензелями, сундук.

Лимонов сказал как-то, что терпеть не может собрания сочинений, оттого, что самый вид их буржуазен, и вообще все повлиявшие на него книжки выглядели дурно, напечатаны были на плохой бумаге, и мягкие их обложки стремительно рассыпались.

Ну, у Лимонова так, а у нас опять иначе.

Если б мне кто-нибудь, после прочтения первого романа Лимонова, – да, в мягкой обложке! да, на плохой бумаге! да, ошеломил на всю жизнь! – но если б после прочтения первой его нетленной вещи кто-нибудь подарил бы мне сразу огромный и крепкий том, или три крепких и убойных тома со всеми остальными сочинениями Эдуарда Вениаминыча – о, я был бы счастлив. Я бы танцевал.

Большие книги вообще влияют на меня куда сильнее маленьких и тонких. Хорошей книги должно быть много, она должна быть внушительной – чтоб читать её можно было целый век.

Многие годы я с не остывающей страстью перечитываю «Тихой Дон» Шолохова (в одном томе вышел недавно), «Иосиф и его братья» Манна, «Пирамиду» Леонова (скоро тоже переиздадут в одном томе). Вот это сочиненья! Будто не человеком созданные. Необъятные! Горизонта не видно! По ним можно идти, как через поле длиной в жизнь.

Или вот о современниках скажем.

Сколь тяжеловесна и мощна книга «Благоволительницы» Джонатана Литтелла. Раздавливает просто. Восемьсот страниц кромешного ужаса. До чего убедительным оказался недавно выпущенный том с лучшей трилогией Дмитрия Быкова «Оправдание» – «Орфография» – «Остромов». А какой роман написал ещё один Джонатан – Франзен – под названием «Поправки». Большой! Обескураживающий!.. «Каменный мост» Александра Терехова – великая вещь. Говорят, что эту, под тысячу страниц, необъятную книгу сократили при издании на треть. Если б его не сократили, у меня было б на треть больше радости.

Все вышеназванные чудные творения при определённых обстоятельствах могут скрасить человеческое существование на самом необитаемом острове и в самой одиночной камере.

Но в виду того, что сами мы пишем чуть короче, у нас есть только одна возможность затянуть читателя в огромную воронку – собрать воедино всё написанное.

Открою вам секрет: иные, чтоб избавиться от бессонницы, считают до тысячи, а я мысленно собираю в один пухлый том лучшие, или все подряд сочиненья то одного любимого философа, то другого почитаемого литератора. Собираю-собираю, потом мысленно даю кому-нибудь почитать. Собираю-собираю, потом засыпаю, наконец.

О таком своем томе я, видит Бог, никогда не помышлял – мне о других всегда любопытней мечтать, чем о себе. Но вот он есть, и я не вижу никаких причин расстраиваться по этому поводу.

Сам я свои тексты, впервые собранные здесь друг за другом сообразно с авторской волей и в порядке авторского замысла, перечитывать уже не буду.

Достаточно того, что я их написал.

Но я прекрасно помню, что все они перекликаются друг с другом. Что там, из повести в повесть, бродят одни и те же призраки и гуляют общие сквозняки. И если в одной повести кричат и зовут на помощь – в другой можно услышать если не ответ, то хотя бы эхо.

Захар Прилепин

Патологии (Роман)

Послесловие

Проезжая мост, я часто мучаюсь одним и тем же видением.

...Святой Спас стоит на двух берегах. На одной стороне реки – наш дом. Мы ежесубботне ездим на другую сторону побродить меж книжных развалов, расположившихся в парке у набережной.

За лотками стоят хмурые пенсионеры, торгующие дешевой сурового вида классикой и дорогой «макулатурой» в отвратных обложках.

Большим пальцем левой руки я приподнимаю корки разложенных на лотке книг. Мою правую руку держит мой славный приемщик, трехлетний господин в красной кепке и бутсах, обильно развесивших белые пухлые шнурки. Он знает несколько важных слов, умеет хлопать глазами, у него богатая и честная мимика, мы в восторге друг от друга, хотя он этого никак не выказывает. Мы знакомы уже полтора года, и он уверен, что я его отец.

Сидя на набережной, мы едим мороженое и смотрим на воду. Она течет.

– Когда она утечет? – спрашивает мальчик.

«Когда она утечет, мы умрем», – думаю я и, еще не боясь напугать его, произношу свою мысль вслух. Он принимает мои слова за ответ.

– А это скоро? – видимо, его интересует, насколько быстро утечет вода.

– Да нет, не очень скоро, – отвечаю я, так и не определив для себя, о чем я говорю – о смерти или о движении реки.

Мы доедаем мороженое. Он раскрывает рот, чтобы сцапать последние, сладко размякшие, выдавленные из вафельного стаканчика стустки мороженого. Раскромсанный и смятый, в белых каплях стаканчик доедаю я.

– Кусьно, – констатирует малыш.

Вытираю ему платком липкие лапки, почему-то в грязных потеках липкие щеки и поднимаюсь уходить.

– Давай еще подождем, – предлагает он.

– Чего?

– Подождем, пока утечет.

– Ну давай.

Он сосредоточенно смотрит на воду. Она все еще течет.

Потом мы садимся в маршрутку, маленький автобус на двадцать персон плюс водитель, виртуозно рулящий и одновременно обилечивающий пассажиров. Во рту его дымится сигарета, но пепел никогда не упадет ему на брюки: он, достигнув критической точки опадания, рассыпется за окном, обвалившись на ветру.

Иногда я сомневаюсь в мастерстве водителя. Когда мы, двое очаровательных мужчин, я и приемщик, путешествуем по городу, я сомневаюсь во всем. Я сомневаюсь в том, что цветочные горшки не падают с балконов, а дворняги не кидаются на людей, я сомневаюсь в том, что оборванный в прошлом месяце провод телеграфного столба не дает ток, а канализационные люки не проваливаются, открывая кипящую тьму. Мы бережемся всего. Мальчик доверяет мне, разве я вправе его подвести?

В том числе я сомневаюсь в мастерстве водителя маршрутки. Но сказать, что я сомневаюсь, мало. Ужас, схожий с предсмертными ощущениями, сводит мои небритые скулы, и руки мои прижимают трехлетнее с цыплячьими косточками тело, и пальцы мои касаются его рук, мочек ушей, лба, я проверяю, что он теплый, родной, мой, здесь, рядом, на коленях, единственный, неповторимый, смешной, строгий, и он отводит мою руку недовольно – я мешаю ему смотреть, как течет: мы едем по мосту.

И меня мучает видение. Водитель выносит руку с сигаретой, увенчанной пеплом, за окно, бросает мимолетный взгляд в зеркало заднего вида, пытаюсь прикинуть, кто еще не заплатил за проезд...

Правая нога машинально давит на газ, потому что глаза его сотую часть секунды назад уже передали в мозг донесение о том, что дорога на ближайšie сто метров пуста – все легковые машины ушли вперед. Он выносит руку с сигаретой, давит на газ, смотрит в зеркало заднего вида и не знает, что спустя мгновение его автобус вылетит на бордюр. Быть может, автобус свернул из-за того, что колесо угодило в неизвестно откуда взявшуюся яму, быть может, на дорогу выбежала собака и водитель неверно среагировал – я не знаю.

Визг женщины возвращает глаза водителя на дорогу, которая уходит, ушла резко вправо, и он уже не слышит крика пассажиров, он видит небо, потому что маршрутка встает на дыбы и, как нам кажется... мед-лен-но... но на самом деле мгновенно – отвратительно, как воротами в ад, лязгнув брюхом о железо ограды, то ли переваливается за нее, то ли просто эту ограду сносит.

Вода течет. До нее тридцать метров.

Я увидел все раньше, чем закричавшая женщина. Я сидел рядом с водителем, справа от него, на этом месте должен бы сидеть кондуктор, если б автопарк не сэкономил на его должности. Я всегда сажусь на место отсутствующего кондуктора, если я с малышом. Когда я один, я сажусь куда угодно, потому что со мной никогда ничего не случится.

В ту секунду, когда водитель потерял управление, я перехватил мальчика, просунув правую руку ему под грудку, и накрепко зацепился пальцами за джинсу своей куртки. Одновременно я охватил левой рукой тот поручень, за который держатся выходящие пассажиры, сжав его между кистью и бицепсом. В следующую секунду, когда автобус, как нам казалось, медленно встал на дыбы, я крикнул водителю, тщетно выправляющему руль и переносящему ногу с газа на тормоз:

– Открой дверь!

Он открыл ее, когда автобус уже падал вниз. Он не подвел нас. Хотя, возможно, он открыл ее случайно, упав по инерции грудью на руль и в ужас упершись руками в приборы и кнопки. Несмотря на крик, поднявшийся в салоне, – кричали даже мужчины, только мой приемщик молчал, – несмотря на то, что с задних сидений, будто грибы из кошелки, на лобовуху салона загремели люди и кто-то из пассажиров пробил головой стекло, итак, несмотря на шум, я услышал звук открываемой двери – предваряющийся шипом, заключающийся стуком о поручень и представляющий собой будто бы рывок железной мышцы. Я даже не повернул голову на этот звук.

Автобус сделал первый кувырок, и я увидел, что пенсионерка, так долго сетовавшая на платный проезд две остановки назад, как кукла, кувыркнулась в воздухе, взмахнув старческими жирными ногами, и ударилась головой о... я думал, что это потолок, но это уже был пол.

Мы, я и мальчик, съехали вверх по поручню, я нагнул голову, принял удар о потолок затылком и спиной, отчетливо чувствуя, что темечко ребенка упирается мне в щеку, в ту же секунду ударился задом о сиденье, завалился на бок, на другой и, наконец, едва не вырвал себе левую руку, когда автобус упал в реку.

Ледяная вода хлынула отовсюду одновременно. Один мужчина, с расплосованным и розовым лицом, будто сахаром, посыпанным стеклянной пылью, рванулся в открытую дверь и мгновенно был унесен в конец салона водой, настолько холодной, что показалось – она кипит.

Я дышал, и дышал, и дышал, до головокружения. Я смотрел в форточку напротив, в которую, как ведьма, просовывала голову жадная вода. Помню еще, как один из пассажиров, мужчина, карабкаясь по полу на очередном, уже подводном, повороте автобуса, крепко схватил меня за ноги, зло впился в мякоть моих икр, ища опоры. Я закрыл глаза, потому что сверху и сбоку меня заливала вода, и наугад ударил его ногой в лицо. Здесь я понял, что воздуха в салоне больше нет, и пальцами ног, дергаясь и торопясь, стянул с себя ботинки.

Автобус набирал скорость. Я открыл глаза. Автобус шел на дно, мордой вниз. Я догадался об этом. В салоне была мутная тьма. Справа от меня, на лобовухе, лежали несколько – пять, или шесть, или даже больше – пассажиров. Я почувствовал, что они дергаются, что они движутся. Кто-то лежал на полу и тоже двигался, я поднял ноги вверх и понял по их относительной неподвижности, что вода больше не течет в салон, потому что он полон.

Мальчик недвижно сидел у меня на руках, словно заснул.

Я повернул голову налево и увидел, что дверь открыта, и, оттолкнувшись от кого-то под ногами, развернулся на поручне, схватился левой рукой за дверь, за железный косяк, еще за что-то, видимо, где-то там же начисто сорвал ноготь среднего пальца, изо всех уже, казалось, последних сил дрыгая ногами, иногда впустую, иногда во что-то попадая, двигался куда-то и неожиданно увидел, как автобус, подобно подводному метеориту, ушел вниз, и мы остались с малышом в ледяной воде, посередине реки, потерянные миром.

Тьма была волнистой и дурной на вкус, только потом я понял, что, кувыркаясь в автобусе, я прокусил щеку, и кусок мякоти переваливался у меня во рту, где, как полоумный атлант, упирался в небо мой живой и розовый язык, будто пытающийся меня поднять усилием своей единственной мышцы.

Если бы я мог, я закричал. Если бы задумался на секунду – сошел с ума.

Подняв голову, я увидел свет. Наверное, никому солнце не кажется настолько далеким, как еще не потерявшему надежды вынырнуть утопленнику.

Как легко, пацанами, мы с моими закадычными веснушчатými друзьями носили на руках друг друга, бродя по горло в воде нашего мутного деревенского пруда. Казалось, что вода обезвешивает любую тяжесть.

Какая глупость!

Судорожно дергая ногами и свободной рукой, отбиваясь так же безысходно и безнадежно от огромной мертвящей воды, как отбивался бы от космоса, я почувствовал, что не в силах плыть вверх, что не могу тащить на себе свои налипшие джинсы, свою куртку, свою майку, пышные наряды моего обвисшего на руке ребенка.

Не имело смысла сетовать, что я потеряю несколько десятков секунд на то, чтобы снять хотя бы куртку. Если б я ее не снял, через пару минут мы нагнали бы автобус с агонизирующими пассажирами.

Не переставая дрыгать ногами, но поднимаясь в тягучую высь, думается, не более пяти сантиметров в секунду, поддерживая мальчика левой рукой за живот, я попытался вылезти свободной правой рукой из рукава. Бесполезно...

Левой рукой, в пальцах которой был намертво зацеплен мой приемыш, я дотянулся до правой. Большим пальцем левой я зацепился за правый засученный рукав куртки, сделал несколько нервных высвобождающих движений правой рукой и снова понял, что это бесполезно. Куртку мне не снять.

И тут меня осенило. Я дотянулся левой рукой до лица и схватил мальчика в зубы, за шиворот.

... Через три секунды снятая куртка, покачиваясь, поплыла вниз.

Какое счастье иметь две свободные руки! Я сделал несколько рывковых взмахов обеими руками и снова отвлекся на секунду от плавания, чтобы снять роскошные ботсы моего мальчика. Я не видел, как они полетели нагонять мою куртку, но почувствовал, что сам немедленно ухожу вниз, и больше попыток растелешить себя и чадо не повторял.

... бился о воду, рвал ее на части, я грёб, и грёб, и грёб.

В какой-то момент я понял, что голову мою выворачивает наизнанку. Будто со стороны я увидел ее, вывернутую, как резиновый мяч, – шматок размягченных костей, украшенных холодным ляп-ком мозга, ушными раковинами, синим глупым языком... и челюстью, в которой был зажат кусок джинсы.

Я извивался в воде, как пиявка, я вымаливал у нее окончания, я жил последние секунды, и никакая сила не заставила бы меня разжать зубы.

Я никогда не догадывался, что вода настолько тверда. Каждый взмах рук давался мне болезненным, разрывающим капилляры, рвущим мышцы, выламывающим суставы усилием.

Затылок мой саднило от тяжести, и рот мой обильно кровоточил. Сердце мое лопалось при каждом взмахе рук.

Задыхаясь, я уже не делал широких полных движений руками и ногами – я сучил всеми конечностями. Я уже не плыл – я агонизировал.

Не помню, как очутился на поверхности воды. Последние мгновения я двигался в полной тьме и вокруг меня не было жидкости, но было – мясо, кровавое, теплое, сочащееся, такое уютное, сжимающее мою голову, ломающее мне кости недоразвитого, склизкого черепа... Был слышен непрерывный крик роженицы.

Всплыв, я, каюсь, разжал зубы – разжал зубы и вдохнул, два моих расправившихся легких могли принять в себя всю атмосферу. Но тут же все исчезло – я снова пошел на дно.

Только потом я понял, почему это произошло: разжав зубы, я выпустил ребенка; мои, существующие сами по себе, со сведенными насмерть мышцами руки тут же схватили его, но тело мое некому было, кроме них, держать на поверхности, потому что ноги мои обвисли, как две дохлых рыбы с отбитыми внутренностями.

Даже не знаю, чем я шевелил, дергал, дрыгал на этот раз, какой конечностью – хвостом ли, плавниками, крыльями, но уже не мог я, увидевший солнце, покинуть его снова.

И оно явилось мне.

Я вдохнул еще раз. Я вдохнул еще несколько раз и прикоснулся губами к темени моего ребенка – оно было сырым и холодным.

Я лег на спину и обхватил его за грудь.левой рукой я принялся за свои джинсы. Ремень, пуговица, ширинка... Одно бедро, другое... Это отняло у меня несколько минут. Джинсы застряли у меня на коленях, и я дергал ногами и понимал, что снова тону, что не могу больше, и по лицу моему беспрестанно текли слезы.

Мы опять пошли под воду, но здесь это случилось уже в состоянии, которое отдаленно можно назвать сознанием. Я успел глотнуть воздуха и под водой снова взял мальчика в зубы. Обеими руками стянул джинсы, как оказалось, вместе с исподним, и снова судорожно вылез вверх. Наверху ничего не изменилось.

На берегу стояли люди. На балконах домов у реки тоже стояли люди. И на мосту стояли люди, вышедшие из машин. Вдоль ограды на мосту, лая, бегала вислоухая дворняга. Кто-то закричал:

– ...ребенок!

Кто-то уже плыл к нам на лодке. Но я ничего не видел и не слышал.

Нас несло течением, и я начал раздевать своего тяжелого, как смертный грех, ребенка. Курточка, синяя, с отличным зеленым мишкой на спине. Голубенькие джинсики, заплатанные

колготки. Свитерок всех цветов счастья, оранжевый, и розовый, и желтый, махровенький, я оставил, не в силах с ним справиться.

Вскоре меня подхватили чьи-то руки и нас втащили в лодку.

– Дайте ребенка! – велела мне женщина в белом халате.

Лодочник без усилия разжал мои руки.

Всхлипывая, я следил за женщиной. Она заново творила жизнь ребенку. Через несколько минут у него изо рта и из носа пошла вода.

I

Выгружаемся. Вскрытое брюхо борта кишит пацанами в камуфляже. Десятки ящиков с патронами и гранатами, тушенка и рыбные консервы, водка, мешки макарон. Какие-то бидоны. Печка-буржуйка...

Грязные солдаты-срочники с затравленными глазами курят «Астру», сидят на брезенте, смотрят на нас. Юные пацаны, руки с тонкими запястьями.

Мы всю дорогу играли в карты. Я в паре с полукровкой-чеченцем по имени Хасан. Он блондин с рыжей щетиной, нос с горбинкой и глаза навывкате выдают породу.

Хасан после армии не вернулся в Грозный, где родился, учился и все такое. Святой Спас, так называется город, откуда мы приехали, – здесь Хасан нашел себе невесту и остался жить. Сменил паспорт, взял русское имя. Парни все равно зовут его Хасан. Потому что он нохча – чеченец. Теперь Хасан в составе русского спецназа едет навестить родной Грозный, быть может, пострелять в своих одноклассников. Мы с ним командуем отделениями в одном взводе. Наш взводный – Шея. Кличут его так – у него голова и шея равны в диаметре. Не потому, что голова маленькая, а потому, что шея бычья.

Взводный спрашивает:

– Хасан, как ты в своих будешь стрелять?

Хасан смеется.

– Вот так, – говорит. – Пиф! Паф!

Он хитрый. Мы всех обыграли в карты, пока летели. Потом самолет загудел, задрожал и пошел на посадку. Мы спрятали карты. Пристегнули рожки, кто-то перекрестился. Вышли, оказалось – Моздок, до войны отсюда еще далеко.

Мы с Хасаном отправились отлить, пока парни разгружали борт. Выкурили возле деревянного туалета по паре сигарет.

Вернувшись, хватаем пустой бидон и несем, нарочно подгибая колени, будто бидон тяжелый. Возвращаемся к самолету по нелепой окружности. Пацаны все уже мокрые от усталости. Мы с Хасаном опять выбираем что полегче. Я замешкался с ящиком, и в это время Хасана унесло за водой. Он один знает, где вода: вода на вокзале в кране, сейчас он придет и напоит всех страждущих. Как раз когда разгрузят весь борт, вернется и принесет пластиковую бутылку с водой.

Грязные солдаты курят «Астру» и задумчиво смотрят на привезенные нами консервы. Опять загружаемся – в вертушку. Следующая станция – Грозный.

Борт похож на акулу, вертушка – на корову.

Мне с детства был невыносим звук собственного сердца. Если ночью, во сне я, ворочаясь, ложился так, что начинал слышать пульсацию, сердцебиение, – скажем, укладывал голову на плечо, – то пробуждение наступало мгновенно. Стук сердца мне всегда казался отвратительным, предательским, убегающим. С какой стати этот нелепый красный кусок мяса тащит меня за собой, в полную пустоту и темень? Я укладывал голову на подушку и успокаивался – тишина... никакого сердца нет... всё в порядке...

И я засыпал.

Появление Даши наделило меня двойным ужасом. Еще более, чем своего, я боялся стука ее сердца. А вдруг течение ее крови уносит мою Дашу прочь, в другую сторону от меня?

Я всегда просыпался раньше нее. Утром у меня было постоянное ощущение, что я что-то не додумал ночью, запнулся на середине мысли и выпал из сознания.

По утрам Даша спала беспокойно, словно грудной ребенок перед кормлением. Делала несколько шальных движений, смешно переворачивалась, задевая волосами мое лицо, остав-

ляя на коже легкое ощущение касания крыла близко пролетевшей ласточки, и затихала на несколько минут.

По улице с шумом пролитой на горячее железо воды проезжали троллейбусы, хотя еще вчера ночью казалось, что они навсегда вымерли, как динозавры. Ночью мы возвращались домой, как обычно придуриваясь и ласкаясь; бессмысленно переходили с одной стороны улицы на другую, внося смысл в существование редких ночных светофоров; считали своим долгом растревожить все лужи на тротуарах и босиком переходили ухоженные, до единой травинки расчесанные газоны на центральных площадях города.

По утрам мне хотелось курить, но я не мог заставить себя подняться, чтоб выйти на кухню.

Резко тормозили, недовольные судьбой, водители авто; от визга тормозов вздрагивало Дашино веко, и я, до сей поры задумчиво и любовно обводящий пальцем ее нежно-коричневый сосок выпроставшейся из-под одеяла груди, пугался, что девочка моя проснется, и, шепча: «Тцц», – опускал руку на ее горячий, как у щенка, живот, где, блуждая любопытным мизинцем, задевал ласковый завиточек черных волос и снова, незаметно для себя, застигнутый полудрем-ной суматохой смешных нелепиц, образов и воспоминаний, как жуки наползающих друг на друга, засыпал.

Сны мне снились одни и те же. Сны состояли из запахов.

Влажно и радужно, словно нарисованный в воздухе акварелью, появлялся запах лета, призрачных ночных берез, дождей, коротких, как минутная работа сапожника, нежности. Затем густо и лениво наплывал запах осени, словно нарисованный маслом, запах просмоленных мачт сосен и осин, печали. Белый, стылый, неживой, нарисованный будто бы мелом, сменял запах осени вкус зимы. Сны – сбывались. Будило нас чувство голода, карабкающееся холодным пауком на вершину всех сновидений, распугивая нестерпимо ласковое – до ломоты в суставах – тепло, тревожа блаженное онемение и такую счастливую и доверчивую слепоту. По каждому нашему движению, по нарочитой случайности, а на самом деле прямой целенаправленности блуждающих касаний наших – как бы спящих – рук мы оба понимали, что проснулись, но какое-то время не подавали виду, пока Даша не выдавала себя, забавно, по-котеночьи, зевнув. Спустя мгновение, приоткрывая смешливые и нежные глаза, Даша тут же натыкалась на мой взгляд.

«Попалась!»

Даша быстро закрывала глаза, но зрачки уже не умели жить бесстрастной ночной жизнью и оживали снова. Так два козленка выпрыгивают из зарослей лопухов и крапивы, поняв, что пришел хозяин.

В лужах плавают грязные льдинки. Проезжают грузовики. Раскатившись в стороны и возвращаясь назад, вода в лужах грязно пенится. Небо моросит – серое, тяжелое, влажное. Пахнет старыми отмокшими бинтами...

Равнодушные ко всему солдаты поднимают на нас сонные глаза. Мы в Ханкале – это место расположения основной группы войск, пригород Грозного.

Бородатый майор в камуфляже разговаривает с чеченом в кожанке, оба хохочут. Майор сидит на раскладном стульчике, берет с кокардой набор. Чечен похож на приодетого беса, майор напоминает художника без мольберта.

В нашу «корову» загружаются питерские «собры» – они возвращаются домой. Один из «собров» говорит мне:

– Главное, чтоб командир у вас был упрямый. Чтоб вас не засунули куда-нибудь в... В рот их приказы! Вон рязанских вывезли в чистое поле, заставили окапываться. А через неделю сняли. Но четверых уже окопали, бля. Даже раскапывать не надо. А у нас на пятнадцать человек – двое раненых, и всё. Потому что клали мы на их приказы.

– Город в руках федералов, – слышу я разговор в другом месте, – но боевиков в городе до черта. Отсиживаются. Днем город наш, ночью – их.

Свое барахло мы, потные, невыспавшиеся и усталые, загружаем в разнокалиберные грузовики. Сами лезем туда же, в кузова. Хитрый Хасан забирается в одну из кабин, к водителю. Там тепло и мягко.

– Давай-давай, Хасан! – говорит ему вслед Шея. – Твои сородичи имеют обыкновение первым делом по кабине стрелять.

Хасан не слышит, скалит зубы. Пацаны смотрят на Шею. Все сразу начинают курить, даже те, кто никогда не курил.

– Не сыте, пацаны! – смеется замкомвзвода Гриша Жариков, сутуловатый, желтозубый, с выпирающими клыками, похожий то ли на гиену, то ли на шакала, прозванный за свой насмешливый нрав Язвой. – Ваши тела остынут скорее, чем стволы ваших автоматов... – издевается Язва.

Он воевал вместе с Шеей в Таджикистане.

Командир наш, Сергей Семеныч Куцый, уважает Язву, а Шею называет «сынок». Семеныч – лицо героическое. Весь в медалях – «парадку» не поднимешь. Говорят, в Афганистане он вместе с подбитой вертушкой грохнулся в горах. Потом в Чернобыле на самую высокую заводскую трубу советский флаг водрузил: в честь победы над ядерным реактором. За это ему квартиру дали. Потом у него волосы опали, и не только. И жена ушла.

– Твои все, сынок? – спрашивает Куцый у Шеи. – Ну, с Богом. Поехали!

И мы поехали.

За воротами Ханкалы стоит съемочная группа, девушка с микрофоном, где-то я ее видел, с нею оператор, еще какой-то мужик, весь в проводах.

Оператор ловит в кадр нутро нашего грузовика: Саня Скворцов – его кличут Скворец – из моего отделения, сидящий у края кузова, машет рукой, но тут же смущается и обрывает жест. Никто не комментирует его сентиментальный поступок, видимо, многие сами бы с удовольствием сделали ручкой оператору.

Мимо нежилых обгоревших сельских построек, соседствующих с Ханкалой, мы выезжаем к мосту.

За мостом – город.

Мы останавливаемся, пропускаем колонну, идущую из города. «Козелок», бэтээр, четыре грузовика, БМП. На броне сидят омовцы, один из них посмотрел на нас, улыбнулся. Улыбка человека, выезжающего из Грозного, значит для нас очень много. Значит, там не убивают на каждом углу, если он улыбается?

На обочине крутится волчком собака, на спине ее розовая проплешина, как у паленого пороса. Мелькает проплешина, мелькают раскрытая пасть, серый язык, дурные глаза. Кажется, что от собаки пахнет гнилью, гнилыми овощами. Движения ее становятся все медленней и медленней, она садится, потом ложится. Из пасти ее начинает течь что-то бурое, розовое, серое – собака блюет. Она блюет, и рвотная жижа растекается возле головы собаки, забивает ее ноздри. Собака пытается поднять голову, и жижа тянется за мордой, висит на скулах, сползает по шерсти. Псина испуганно вскакивает, будто чувствует, что легла на то самое место, где должна встретить смерть.

Она ползет в сторону нашего грузовика, из-под хвоста тянется кровавый след. Собака несет к людям свою плешь, свой свалывшийся, в красном, хвост, свои слипшиеся рвотой скулы, свои слезящиеся глаза.

Пацаны с ужасом и неприязнью смотрят на нее.

Шея неожиданно вскидывает ствол и стреляет собаке в голову, трижды, одиночными, и каждый раз попадает. Кажется, что черепная коробка открывается, как крышка чайника. Голова собаки заполнена рвотой. Ее рвало внутренностями головы.

Кто-то дергается от выстрела, но все сразу видят и понимают, что стреляет свой.
Переполошившиеся омовцы из встречной колонны что-то крикнули нам.

Семеныч смотрит на Шею строго:

– Сынок, ну что ты творишь?

Мы въезжаем на мост.

Поездка воспринимается через смену запахов – наверное, в человеке просыпается затаенное, звериное: если в Ханкале по-домашнему веет портянками, тушенкой, дымом, а за ее воротами пахнет сыростью, грязью, то ближе к городу запахи становятся суше, злее.

Изуродованные кварталы принимают нас строго, в полной тишине. Пацаны застывают, вцепившись в свои автоматы. Все неотрывно смотрят в город.

Дома с обкусанными краями, груды битого серого кирпича... продавленные крыши качаются в зрачках сидящих у края грузовика. Улицы похожи на старые ужасные декорации...

Вдоль дороги встречаются дома, состоящие из одной лицевой стены, за которой ничего нет, – просто стена с оконными проемами. Как же эти стены не падают на дорогу...

Пацаны смотрят на дома, на пустые окна в таком напряжении, что, кажется, лопни сейчас шина – многие разорвутся вместе с ней.

Ежесекундно мнится, что сейчас начнут стрелять. Отовсюду, из каждого окна, с крыш, из кустов, из канав, из детских беседок...

И всех нас убьют. Меня убьют.

Бывают же такие случайности – только приехали и с пылу с жару влетели в засаду. И все полегли.

Чувствую, что пацаны рядом со мной разделяют мои предчувствия.

Саня Скворцов засовывает ладонь за пазуху. Я знаю, что у него там крестик.

Пятиэтажки, обломанные и раскрошившиеся, как сухари. В комнате, обвалившейся наполовину, лишенной двух стен и потолка, стоит, зависнув над пыльной пятиэтажной пустотой, железная кровать...

...как же много окон...

Порой встречаются почти целые дома, желтые стены, покрытые редкими отметинами выстрелов, как ветрянкой. Если попадается деревянный дом – то почти всегда горелый, с провалившейся крышей.

Ближе к центру города, из-за ворот уцелевших сельских построек выглянул маленький чечененок, мальчик, показал нам сжатый кулачок, что-то закричал. Я попытался поймать его взгляд – мне показалось, он знает, что будет с нами, со мной.

II

Нас привезли к двухэтажной школе на окраине Грозного. Только машины въехали во двор, пацаны оживились: доехали! мы дома!

Филя, наш пес боевой, радостно залаял, выскочив из машины, где смиренно лежал под лавкой. Понюхал грязь окрест себя, пробежался, пометил угол дома.

Теперь главное – обустроиться как следует. Неприятно, когда тебя, сырого, несоленого, пытаются сожрать...

Парни повыпрыгивали из кабин, кости размяли, хотели было закурить, но – некогда: опять надо разгружаться.

Какой-то чин из штаба провел Семеныча на второй этаж, показал помещение, где мы будем жить: большой зал, в котором буквой «С» уже расставлены в два яруса кровати.

Офицеры аккуратно прошли по коридорам, заглянули, не входя, в открытые классы. Кабинеты загажены, изуродованы, завалены поломанными партами.

Семеныч предупредил бойцов, чтобы по школе не шлялись, в классы не лезли: «Сначала саперы пусть посмотрят, на свежую голову».

В указанное чином помещение мы и стали таскать свои вещи под суетливым руководством начштаба – капитана Кашкина.

Забегая, оценивающе смотрим на обстановку...

Высокие окна зала защищены мешками с песком; над мешками висит упругая проволоочная сетка – наверное, ее перевесили из спортзала. Кровати стоят в дальней беззаконной половине помещения.

Снова бежим вниз. Что-то Хасана опять не видно...

Двор чистый, даже пара изначально зеленых, но с облупившейся краской лавочек сохранилась. Турник есть, правда, низкий, нашим бугаям по шею – кто-то уже примерился.

Во дворе стоит небольшая и, как оказалось, относительно чистая сараюшка, мы туда сразу кухню определили, так как то на первом этаже школы помещение, где, по всей видимости, была столовая, похоже на мусорню, дрянью и тряпьем увалено, грести там не разгрести.

Зато умывальня, совмещенная с тремя толчками, оказалась вполне приличного вида. Около сортиров, конечно, все обгажено, но, бросив жребий, мы выбрали несчастных, которые все там приберут. Угодило на Женьку Кизякова, Сережку Федосеева из нашего взвода и еще двоих бойцов из второго.

Женька, его все зовут Кизя, этому совершенно не огорчился, зато Сережка по кличке Монах – до спецназа он поступал в семинарию, хотел стать священником, но провалился на экзаменах, неразборчивые в церковных делах пацаны прозвали его Монахом – что-то недовольно промышчал.

– Ты что, Монах, думал, мы тут часовню первым делом будем возводить? – интересуется недолюбливающий Монаха Язва. – Нет, голубчик, первым делом надо говно разгрести.

– Вот и разгребай, – отвечает Монах, поставив лопату с замазанным совком к стене.

– Боец Федосеев! – спокойно говорит Язва. Монах не реагирует, но и не уходит.

– Не слышу ответа, – говорит Язва.

Монах безо всякого выражения произносит:

– Я.

– Приступить к работе.

Монах берет лопату. Пацаны, присутствующие при разговоре, криво ухмыляются.

Немного освободившись, мы осматриваем школу со всех сторон, обходим ее, внимательно ступая, прихватив с собой Филю. Пес, по идее, должен, почуяв мину, залаять.

За школой расположен будто экскаватором вырытый, поросший кустами длинный кривой овраг. В овраге – помойка и несколько огромных луж, почему-то не высыхающих. Дальше – кустистые пустыри.

Школа обнесена хорошим каменным забором, отсутствующим со стороны оврага. Ворота тоже есть.

Слева от здания – пустыри, а дальше – город, но едва видный. Справа за забором – низина. За низиной проходит асфальтовая дорога, вдоль которой высится несколько нежилых зданий.

Неподалеку от ворот – полупорухенные сельские постройки, кривые заборы. Там тоже никто не живет. Первые пятиэтажные дома жилых кварталов стоят метрах в двухстах от ворот школы...

«Ну, всё понятно... Жить можно».

Как начало темнеть, выставили посты на крышу. Первой сменой ушло отделение Хасана.

Поев на ночь консервов, пацаны разлеглись. Моя кровать – у стены, я буду спать на втором ярусе. Люблю, чтоб было высоко. Подо мной, на койке снизу, расположился Саня Скворец. – Саня, ты знаешь, что Ташевский съется ночами? – не преминул поинтересоваться у него Язва.

Спать легли в муторных ожиданиях...

Долго кашлял, будто лаял, кто-то из бойцов.

Закрыв глаза, я почувствовал себя слабо мерцающей свечой, которую положили набок, после чего фитиль сразу же был залит воском. Все померкло. С лаем куда-то убежала собака... Приснилась, наверное.

...А иногда все было не так. Она просыпалась лениво. Утро теребило невнятную листву, как скучающий в ожидании.

В течение ночи Даша стягивала с меня одеяло и накручивала его совершенно невозможным образом на ножки. Просыпаясь от озноба, я некоторое время шарил в полусвете руками, хватался за край, за угол одеяла, тянул на себя пододеяльник и засыпал, ничего не добившись. Спустя полчаса садился на диване, потирая плечи и ежась. Чтобы завладеть своей долей одеяла, необходимо было разбудить ее. Разве можно?

Я наврал, что не ходил курить. Постоянно ходил. Синее пламя конфорки, холодная табуретка. Когда я возвращался – солнце паялилось на нее, как ошалевший шпик. Поджав под себя ножки, грудью на диване, Даша потягивалась, распластывая ладошки с белеющими от утреннего блаженства пальчиками. Совершенно голенькая. Какой же она ребенок, Господи, какая у меня девочка, сучка, лапа.

– Куда ты ушел? Мне одиноко, – совершенно серьезно говорила она.

Полежав головой у нее на поясничке – мы располагались буквой «Т», – я уезжал на работу в пригород Святого Спаса.

На сборы уходило семь минут. Потом сорок минут езды на электричке, три перекура по дороге.

Она еще долго нежилась в кровати. Встав, неспешно заваривала и очень медленно пила чай. Одевалась обстоятельно (всего-то дел: маечка на голое тело, голубые шорты, а потом влезть в белые кроссовки, не развязывая их).

Аккуратно вывозила велосипед в подъезд. Руль холодил ладони, тренькал без надобности звонок, и мягко стучали колеса по ступеням.

На работе я постоянно нервничал, пугаясь того, что она упала, ушиблась, что ее обидели, и звонил в ее квартирку каждые полчаса. Спустя пять часов, угадав, что доносящиеся из квартиры звонки – междугородные, усталая и веселая, моя девочка, возвращающаяся с про-

гулки, бросала велосипед в подъезде, сопровождаемая грохотом оскорбленного железа, вбежала в квартиру, хватала трубку и кричала, потирая ушибленное о стол колено:

– Егорушка, я здесь, алло!

Голос ее застигал меня, вешающего трубку.

– ...Егор, на крышу. Буди своих.

Я заснул в одежде, но бушлат и берцы снял, конечно. Ствол лежит между спинкой кровати и подушкой. На спинке кровати висит разгрузка, распираемая гранатами, «дымами», двумя запасными магазинами в боковых продолговатых карманах и еще тугим водонепроницаемым пакетом с патронами в большом кармане сзади.

Сажусь на кровати, свесив ноги. Непроизвольно вздрагиваю обоими плечами – зябко. Какое-то время хмуро и вполне бессмысленно смотрю на Язву, следя за тем, как он разбирает свою кровать.

– Чего там, на крыше? – интересуюсь.

– Высоко.

Ну что он еще может ответить...

Бужу Кизю, Монаха, Кешу Фистова, Андрюху Суханова, Степу Черткова... Скворец сам проснулся – чутко спит.

– Вязаные шапочки наденьте, – говорит нам Язва. – Береты не надевайте.

Выходим в коридор, тащим в руках броники. С удивлением смотрю на грязные выщербленные стены – куда меня занесло, а? Сидел бы сейчас дома, никто ведь не гнал.

Даша...

Поднимаемся по лесенке на крышу.

– Эй! – говорю тихо.

– На хер лей... – отвечает мне Шея нежно. – Давай сюда...

Объясняет, как нам расположиться – по двое на каждой стороне крыши.

– С постов не расползаться. Не курить. Не разговаривать. Без приказа не стрелять. Чуть что – связывайтесь со мной. Надеюсь, трассерами никто не снарядил автомат?

Я и Скворец ползем на ту сторону крыши, с которой виден овраг.

Крыша с трех сторон обнесена кирпичной оградкой в полметра высотой. Просто замечательно, что она есть, оградка. Пацаны, которых мы сменяем, уползают спать. Мне кажется забавным, что мы, здоровые мужики, ползаем по крыше.

– Ну как? – спрашиваю Хасана, ждущего нас.

– В Старопромысловском районе перестрелка была.

– Это далеко?

– Нормально... Чего броники-то притащили? Мы бы свои оставили.

Хасан, пригнувшись, убегает – не нравится ему ползать. Саня ложится на спину, смотрит в небо.

– Ты чего, атаку с воздуха ожидаешь? – спрашиваю иронично.

Саня переворачивается.

Приставляем броники к оградке.

Тихо, слабый ветер.

Вглядываюсь, напрягая глаза, в овраг. Смотрю целую минуту, наверное. От перенапряжения глаз начинает мерещиться чье-то шевеленье там, внизу.

«Кто-нибудь сидит в овраге и в голову мне целит», – думаю. Начинает ныть лоб.

Ложусь лбом на кирпичи, сжимаю виски пальцами. Отходит.

– Егор, – чуть приглушенным голосом окликает меня Саня.

– А?

– Спать хочу.

Поднимаю голову, снова смотрю на то место, что меня заинтересовало.

– Егор.

– Ну чего?

– Спать хочу.

– И чего мне сделать?

Саня замолкает.

Бьет автомат, небо разрезают трассеры. Далеко от нас. «Трассеры уходят в небо...» – думаю лирично.

– Егор, как быть-то?

– А вот с крыши попробуй.

Меня вызывает по рации Шея.

– На приеме, – отвечаю бодро.

– Может, заткнетесь?

Раздается характерный свист минометного выстрела. Сжимаюсь весь, даже ягодицы сжимаю.

«Мамочки! – думаю. – Прямо на крышу летит!»

Бахает взрыв черт знает где. Оборачиваюсь на Саню.

– Думал, что в нас, – сознается он мне.

Я не сознаюсь.

Лежим еще. Мешают гранаты, располагающиеся в передних карманах разгрузки, – больно упираются в грудь. Вытаскиваю их, укладываю аккуратно рядом, все четыре. Они смешно валяются и покачиваются, влажно блестят боками, как игрушечные.

Что-то здесь с воздухом, какой-то вкус у него другой. Очень густой воздух, мягкий. У нас теплей, безвкусней.

Смотрю по сторонам, направо – на асфальтовую дорогу, на дома вдоль нее. Везде темно.

Неожиданно близко – будто концом лома по кровельному железу – бьет автомат. Трижды, одиночными.

Дергаюсь, озираюсь; резко, как включенные в розетку, начинают дрожать колени.

– Со стороны дороги, из домов? – спрашиваю Саньку.

Шея спрашивает дневального, что делать. Дневальный, еще не отпустив тангенту, зовет Семеныча. Спустя десять секунд Куцый вызывает по рации Шею.

– Что там?

– Трижды, одиночными, вроде по нам.

– Наблюдайте, не светитесь.

Лежим в ожидании новых выстрелов. Жадно всматриваюсь в овраг. Руки дрожат. Ноги дрожат.

Начинает моросить дождь. Холодно и жутко.

«Зачем я все-таки сюда приехал?.. Ладно, хорош... Ничего еще не случилось...»

Растираю по стволу автомата капли. Провожу мокрой ладонью по щеке. Щетина уже появилась... Нежно поглаживаю себя несколько раз.

Пробую подумать о доме, о Святом Спасе. Не получается. Хлопаем с Саней глазами. Где-то на крыше иногда шевелятся, шебуршатся пацаны. Спокойней от этого.

Санёк смотрит назад, по-над головами фронтального поста.

– Егор, а вот если чичи влезут на крышу вон тех хрущевок, – говорит он, указывая на дома, смутными пятнами виднеющиеся вдаль, – то можно отстрелить нам с тобой жопу.

– Жопы, – поправляю я Саню и тоже оборачиваюсь.

– Чего? – не понимает он. Я молчу, шурю глаза, узнавая в темноте хрущевки.

«Оттуда стреляли? Совсем близко где-то... А если действительно с крыш хрущевок полоснут?»

От страха у меня начинается внутренний дурашливый озноб: будто кто-то нагими руками, мучительно щекоча, моет мои внутренности. Я даже улыбаюсь от этой щекотки.

«Ничего, Санёк...» – хочу сказать я – и не могу.

«Курить хочется...» – еще хочу сказать я и тоже не нахожу нужным произносить это вслух. Неожиданно сам для себя говорю:

– Мне в детстве всегда такие случаи представлялись: вот мы с отцом случайно окажемся в горящем доме, среди других людей... Или – на льдине во время ледохода... Все гибнут, а мы спасаемся. Постоянно такая ересь в голове мутилась.

– Чего, до сих пор не прошло? – интересуется Саня.

– Не знаю...

– Тяжелый случай, – резюмирует Саня, помолчав.

Ползет смена.

– Ну, как тут? – спрашивают.

– Высоко, – отвечаю.

Вернувшись, без спросу выпиваю у чаевничающего дневального три глотка кипятка. У меня из рук перехватывает кружку Скворец и, отхлебнув, отдает, пустую, дневальному. Ложусь на кровать прямо в бушлате и сразу засыпаю.

III

Утром, к моему удивлению, мы проснулись, с гоготом умылись и, ввиду отсутствия обеденных столов рассевшись по кроватям, стали есть. Мы не рванули, поднятые по тревоге, кто в чем спал отбивать атаку бородатых чеченов – думаю, когда ехали сюда, каждый был уверен в том, что события будут развиваться именно таким образом. Нет, мы поднялись и стали радостно жрать макароны.

Завтрак приготовил боец по кличке Плохиш, назначенный поваром. В макаронах – тушенка, все как у людей. Компот очень ароматен. Дашин затылочек так пахнет.

Разбудил нас, кстати, тоже Плохиш. В шесть утра дневальный его толкнул, услышал в ответ неизменное при обращении к Плохишу и вполне добродушное «иди на хуй», после чего неустанно толкал его еще минуты две. Наконец Плохиш поднял свое пухлое, полтора метра в высоту, тело и закричал. Голос его был высок и звонок. Так, наверное, кричала бы большая, с Плохиша, крыса, когда б ее облили бензином и подожгли.

Плохиша все знали не первый день. Кто-то накрыл голову подушкой, кто-то выругался, кто-то засмеялся. Куцый рывком сел на кровати и, схватив из-под нее ботинок, кинул в выходящего Плохиша. Через мгновение дверь открылась, и в проеме появилось его пухлое лицо.

– А не хера спать! – сказал Плохиш, и дверь захлопнулась.

– Дурак убогий! – крикнул ему вслед Семеныч, впрочем, без особого зла. Кто другой вздумал бы так орать – изуродовали бы. А Плохишу – прощалось.

Доскрябали тарелки и пошли курить.

Озябшие пацаны второй смены, с чуть припухшими от недосыпа лицами, спустились с крыши.

На второй день все как-то поприветливее показалось. И небо вроде не такое серое, и дома не столь уж жуткие. И, главное, братки рядом...

– Чем мы здесь заниматься-то будем, взводный? – спрашиваю у Шеи.

Он пожимает огромными плечами.

– Вроде комендатура тут будет, – говорит Шея, помолчав.

«Вот было бы забавно, если бы мы в этой школе прожили полный срок и никто б о нас не вспомнил...» – думаю.

За перекурком выяснилось, что Хасан жил в этом районе. Его почти не разрушенный дом виден из школы.

– У тебя кто из родни здесь? – спрашиваю.

– Отец.

– А у меня батя помер... Я из интернатовских, – зачем-то говорю я Хасану, в том смысле, что и без папани люди живут. – И мать меня тоже бросила, я ее даже не помню... – добавляю бодро.

Он молчит.

«Не сказал ли я бестактность?» – думаю.

«Вроде нет», – решаю сам для себя. В первую очередь потому, что Хасана явно не очень волнует биография Егора Ташевского. Егор Ташевский – это я.

Отец умер, когда мне было шесть лет.

Мы жили в двухэтажном домике на левобережной, полусельской стороне Святого Спаса.

Отец научил меня читать, писать, считать.

Я прочитал несколько тонких малохудожественных, но иллюстрированных книжек о нашествии храбрых и жестоких монголов. Очень огорчился, что нигде не упоминается Святой Спас. Русские богатыри вызвали во мне уважение.

Я исписал стену на кухне своим именем, а также именами близких: отца – «Степан», нашей собаки – «Дэзи», деда по матери – «Сергей». Дед жил в небольшом городке, километрах в ста от нас. Я начал писать имя нашего соседа – «Павел», – но забыл, в какую сторону направлена буква «В», и бросил.

Считать мне нравилось. Прибавлять мне нравилось больше, чем отнимать. Но умножать меньше, чем делить. Делить столбиком, аккуратно располагая цифры по разным сторонам поваленной набок буквы «Т», было увлекательным и красивым занятием.

Вечерами отец рисовал, он был художником, а я делил столбиком. Он называл мне трехзначную цифру, которую я старательно записывал. Потом он называл двузначную, на которую нужно было поделить трехзначную. Я пребывал в уверенности, что мы оба заняты очень серьезным делом. Возможно, так оно и было.

Я попросил отца нарисовать богатырей, и он оставил уже начатую картину, чтобы выполнить мою просьбу. Я знал его шесть лет, и он мне ни разу ни в чем не отказал.

Он начал рисовать битву, Куликово поле, я сидел у него за спиной. Иногда я отвлекался, чтобы поймать пересекающего комнату таракана. Таракана я прикреплял пластилином к дощатому полу. Некоторое время наблюдал, как он шевелит передними лапками и усами, потом возвращался к отцу. На холсте уже появлялась ржущая морда коня, нога в стремях, много густых алых цветов под копытами. Наверное, отец рисовал не Куликово поле – ведь та битва случилась осенью.

Мы ложились спать вместе. Каждый вечер отец несколько часов читал при свете ночника. Иногда он курил, подолгу не стряхивая пепел. Я следил за сигаретой, чтобы пепел не упал на грудь отцу. Потом я смотрел в потолок, думал о богатырях. Иногда на улице начинала лаять Дэзи, и я мечтал, что сейчас войдет мама, которая бросила нас, когда мне было несколько месяцев.

Когда отец читал, он не дышал размеренно, как обычно дышат люди и млекопитающие. Он набирал воздуха и какое-то время лежал безмолвно, глядя в книгу. Думаю, воздуха ему хватало больше чем на полстраницы. Потом он выдыхал, некоторое время дышал равномерно, добежал глазами страницу, переворачивал ее и снова набирал воздуха. Он будто бы плыл под водой от страницы к странице.

Да, еще он научил меня плавать. Летом он продавал несколько картин, как я потом понял, очень дешево, брал отпуск, и мы долго и муторно ехали в забытую богом деревню, где каждый год снимали один и тот же домик возле нежной и ясной реки, пульсирующей где-то в недрах Черноземья.

Утром мы завтракали вареной картошкой, луком и жареной печенкой, а потом целый день лежали в песке на берегу. Дэзи сидела рядом с нами. Когда отец переворачивался с боку на бок, она меняла положение вместе с ним, аккуратно прилаживаясь в тень от его большого тела.

Иногда по течению плыли яблоки, и отец, войдя в воду, за несколько мгновений догонял их, собирал и приносил мне. Если не хватало рук, чтобы собрать яблоки, он кидал их из воды на берег. Откуда плыли яблоки? Не знаю...

Я забыл, как он начал учить меня плавать. Наверняка не говорил: «Давай-ка, малыш, я научу тебя плавать!» Скорее он просто поплыл на тот берег и предложил мне отправиться с ним, держась за его шею. Мы так сплавали несколько раз, и я научился работать ногами.

Ну а дальше я учился, как все мальчишки, – вдоль бережка, три-четыре метра в плывь, загребая под себя руками, и так десятки раз. Потом немножко от берега в глубину, и сразу – истерично толкаясь ногами – обратно.

Я хочу сказать, что отец не учил меня плавать нарочито, не возился со мной, например, поддерживая меня под грудь и живот, чтобы я у него на руках бултыхал ногами и руками. Он даже ничего мне не объяснял. Но я все равно убежден, что плавать меня научил он.

Вечером мы ели омлет, изготовленный отцом из всего, что было в холодильнике: сыра, колбасы, помидоров, перца, лука, чеснока. Молоко нам продавала старушка-соседка, отец ей платил за месяц вперед.

Мы возвращались в Святой Спас в сентябре, поджарые и загорелые.

Отца ждала работа – он занимался оформлением районного кинотеатра, районной администрации, рисовал афиши, плакаты, некрасивого Брежнева и красивого Ленина.

Я гулял. Отец всегда забегал с работы, чтобы меня покормить. А в пять часов вечера я уже ждал его, сидя на подоконнике нашего двухэтажного дома. Он выворачивал из-за угла, иногда чуть-чуть поддатый, но самую малость, ласково кивал мне. Выпив, он становился немного сентиментален. Трезвым он был спокойным, ясным, чистым – всегда побритый, всегда с хорошо постриженными ногтями, в рубашке, расстегнутой на волосатой груди, немногословный.

Не помню, чтобы отец грустил. Он никогда не разглядывал фотографии мамы, оставшиеся у нас. Но он их и не прятал, они были наклеены в два альбома, лежавшие на книжных полках, и я их часто листал.

У отца, видимо, были какие-то женщины, но я их никогда не видел.

Впрочем, вру. Однажды он был приглашен на чью-то свадьбу. Я заскучал и пошел посмотреть на него. Я увидел его возле дома, где происходило празднество, сидящего на лавочке в компании молодой женщины.

– А это мой малыш, – сказал отец тоном, в котором из всех людей на Земле только я, его сын, смог бы почувствовать некоторую неестественность. Я ее почувствовал и сразу ушел. Отец скоро вернулся. Я лежал на диване, разглядывая наш старый неработающий приемник. Белыми буквами на лицевом стекле приемника были написаны названия городов – Лондон, Нью-Йорк, Стокгольм, Москва, Токио... Иногда я включал приемник и крутил ручку, благодаря чему белый стержень за стеклом приемника передвигался от города к городу. Раздавался слабый и разнящийся при подходе к каждому городу треск. Где-то в одном из этих городов жила мама.

Отец разделся и лег рядом, взяв книгу. Очень глупо было бы, если б он обнял меня в эту минуту, сказал бы что-нибудь. Я тогда уже это чувствовал. Он и не собирался этого делать, мой папа.

После того как отец нарисовал мне битву, где было всё, что я хотел: мужик-ополченец в разодранной рубахе, вздымающий на вилах вражину; дружинник, замахнувшийся коротким мечом и пропустивший удар копья, вползающего ему в живот; неприглядные, желтолицые и хищные монголы, как дождевые черви, разрубаемые на части; лучники, натягивающие луки окровавленными пальцами; стяги, кони, – после того как отец закончил работу, на которую сбегалась смотреть пацанва со всего пригорода, он нарисовал еще одну картину. Там горел русский город, русский монгол пил из чаши, лежали связанные князья, вззирающие в смертной печали на пожар, а рядом с монголом стояла обнаженная полонянка с лицом моей матери.

Отец не продал эту картину, он обменял ее на трехлитровую банку самогона. Потом он отвез меня к деду Сергею, который проклял мать сначала за то, что она вышла замуж за моего отца – он деду не нравился, – а потом еще раз проклял ее за то, что она отца и меня бросила. Ко мне дед относился равнодушно, но без злобы. Он много охотился, но меня с собой на охоту никогда не брал. Я гостил у него раза три в год, недели по три, – всё это время, как я понимаю, отец пил. Потом он выходил из запоя и приезжал за мной. Я был счастлив. Однако за шесть лет мне так ни разу и не пришло в голову, что я обожаю отца...

Дома было чисто, и меня восторженно встречала исхудавшая Дэзи и вертелась около меня, будто бы хотела рассказать та-ко-е! Но не могла и просто подпрыгивала, облизывая меня.

Однажды, в конце марта, отец не пришел с работы, меня забрала к себе тетя Аня, жена дяди Павла, нашего соседа. Говорят, она очень помогала отцу, когда я был малышом, но я это помню смутно. Теперь мне иногда кажется, что она любила отца, но откуда мне знать...

– Степану стало плохо, – сказала она мужу.

Я переночевал у них. Я был очень спокоен. Я съел котлету и макароны на завтрак. Я выпил чаю с пряником. Отец не мог меня бросить.

Утром мы поехали с тетей Аней в районную больницу. Там нам сказали, что отца перевезли в городской центр кардиологии. Мы отправились туда на автобусе. Тетя Аня долго выясняла с кондуктором, нужно ли за меня платить. Мне было жутко неприятно, что она так меня унижает.

Я сидел у окна. В кармане у меня лежала расческа, и я отламывал от нее зубцы, пока они не закончились.

В кардиологическом центре нас встретила очень красивая женщина-врач. Она сказала, что завтра отцу будут делать операцию на сердце. Потом врач, попросив меня посидеть на скамеечке, отошла с соседкой к окну и о чем-то с ней в течение минуты поговорила. Я любовался врачом.

Пообщавшись с соседкой, она взяла меня за руку и отвела к отцу. В палате пахло лекарствами. Отцом в палате не пахло. Я это сразу почувствовал. Не было его запаха – сильного тела, табака, красок, омета. Он лежал на кровати. Глаза его словно упали на дно жутких коричневых кругов, образовавшихся вокруг глаз. Это был неестественный цвет, это был взгляд умирающего человека. Я сразу это понял, хотя такого знания у меня быть не могло.

Отец – я хотел сказать «улыбнулся», но это слово не подходит, – он расклеил слипшиеся губы и запустил в свои открытые глаза, отражавшие мутный, в потеках, потолок и бесконечную боль, – он запустил в них жизнь, узнавание, еле ощутимую толику тепла, давшуюся ему неимоверным усилием воли.

– Как ты меня нашел? – спросил он.

Я не решился подойти к нему и стоял у его ног, держась за спинку кровати. Он закрыл глаза. Я сделал несколько шагов и сел на стул, стоявший поодаль от его изголовья. Я попытался пройти быстро, пока он не открыл глаза, прошмыгнуть. Когда он открыл глаза, я уже сидел рядом.

– Ничего, Егор... – сказал отец.

Он попытался двинуть рукой. Полежал еще.

– Егор, няньку... – прошептал он.

Я беспомощно посмотрел на дверь, и тут нянька вошла.

– Помочиться? – спросила она просто, будто слышала. В руке у нее была только что вымытая утка, в каплях воды. Отец кивнул.

Нянька стала поворачивать отца на бок, он зажмурился. Ему было ужасно больно, я это знаю. Помню, однажды он порезал на пилораме руку, едва не до кости, хлестала кровь, а он даже не побледнел, замотал чем-то располосованную надвое мышцу ладони и, взяв мою вспотевшую лапку здоровой рукой, пошел в травмпункт зашивать рану. Сидя у кровати, я посмотрел на этот белый шрам. Отец сжал кулак, и кулак впервые за шесть лет показался мне маленьким, беспомощным, в стоящих дыбом порыжевших волосках. Рука была бледно-синей... почти бесцветной.

– Иди, Егор... – сказал отец еле слышно.

Мы, я и тетя Аня, вернулись домой. Я не пошел спать к соседке, а лег спать с Дэзи, взяв ее в дом. Собака слезла с кровати и забралась под нее – она тогда уже была в обиде на меня. Я лежал, и смотрел в стену, и был уверен, что не усну. Но уснул и спал до утра.

Ночью отец умер.

После похорон я пришел домой, поставил кипятиться чай, взялся подметать пол. Потом бросил веник и под дребезжанье ржавого чайника написал на стене: «Господи блядь гнойный вурдалак», – я вспомнил, как пишется буква «в».

...Меня и Дэзи забрал дед Сергей.

Так всегда на новом месте: первые дни наполнены содержанием до предела, они никак не могут закончиться, – скажем, первые трое суток. Говорят, потом дни здесь начинают кувыряться через голову, стремительные, совершенно одинаковые.

На второе утро мы вымели грязь, помыли полы, сложили в большой ящик гранаты, похожие на обмороженные гнилые яблоки, установили три обеденных стола – для офицеров и для двух взводов. Пацаны из нашего взвода полезли на крышу – осмотреть как следует окрестности и толком оборудовать посты.

На крыше я открываю вторую за начавшийся день пачку сигарет, Слава Тельман из нашего взвода тут же угощается, он всегда на халяву курит.

Мы обустроиваем небольшими плитами гнездо для пулемета на фронтальной стене школы, прямо над входом. На углах крыши выкладываем кирпичом, мешками, набитыми песком, еще три поста. На каждом из постов – по две бойницы.

– Всё равно – лажа, – говорит Шея. – Один выстрел из «граника» – и...

Тем временем пацаны из второго взвода, за школой, в овраге, с той стороны, где нет забора, ставят растяжки.

Потом все вместе мы строим два дота по разным сторонам школы и заботливо украшаем постройки маскировочными сетями.

Полюбовавшись на дело крепких и цепких рук своих, собираемся обедать.

Отведав щей и гречки с тушенкой, позвякивая тарелками, тянемся мыть посуду.

Те, кому места возле умывальников не достается, идут курить или еще куда.

Я, по любимой привычке, смолю, запивая дым горячим чайком.

Мою тарелку, возвращаясь к своей лежанке в «почивальне», как мы прозвали наше помещение, пытаюсь улечься и, только коснувшись затылком подушки, слышу взрыв. Грохает где-то неподалеку, вроде бы на втором этаже... с потолка сыпется побелка. Вскрывает с места и лает Филя, ночующий вместе с нами, под кроватью сапера Старичкова.

«Началось...» – думаю я, спрыгивая с кровати и еще не определив для себя, что именно началось. Тяну за ствол лежащий под подушкой автомат.

– Кто-то подорвался, – тихо говорит со своей кровати Шея, не двигаясь и, видимо, понимая, что спешить особенно некуда.

Пацаны кинулись было к месту взрыва.

– Стоять! – орет Семеныч, вбегающий с первого этажа.

– Док! – зовет Семеныч дядю Юру, так мы называем нашего доктора.

Дядя Юра – подобно пингвину суетливый и сосредоточенный одновременно и сам похожий на чуть похудевшего пингвина – спешит бок о бок рядом с Семенычем. Шагая за ними, я замечаю, что в то время как Семеныч идет, дядя Юра, не умея подстроиться под шаг командира, иногда, семеня, бежит.

Док обгоняет Семеныча в конце коридора, увидев нашего бойца, молодого, из второго взвода, пацана, незадолго до командировки устроившегося в отряд, я даже не помню, как его зовут. Он лежит возле одного из кабинетов, на спине, согнув ноги. Косяк двери выворочен. Тяжело стоит пыль.

Я еще не успел разглядеть подорвавшегося, как присевший возле него док сказал тихо:

– Живой... – И добавил шепотом: – Осколочные...

Раненый, будто в такт чему-то, мелко постукивает ладонью по полу. Когда док присел возле него, движение руки прекратилось и раненый застонал.

Док быстрыми ловкими движениями взрезает скальпелем брючину, открывается нога, покрытая редкими волосами, ляжка, откуда-то сверху на эту ляжку сбегает струйка крови, потом еще одна, и очень быстро вся нога становится красной. Док разрезает вторую брючину и сдвигает небрезгливым пальцем трусы. Из кривого розового члена торчит осколок. Пока я смотрю на этот осколок, док делает раненому укол, обезболивающее. Промедол, кажется.

– Док, а я с девушками смогу? – неожиданно спрашивает раненый, открыв глаза.

– Только с мальчиками... – тихо говорит Язва у меня за спиной. Мне кажется, что он улыбается.

Док не отвечает. Семеныч брезгливо морщится. Но брезгливость его вызвана не видом раненого.

Из-под спины раненого растекается между кирпичных осколков по белой кирпичной пыли густая лужа. Я двигаю ногой один из битых кирпичей. Бок у него – красный. Док рвет пуговицы на кителе раненого, взрезает тельник. В груди, в животе, на боку раненого, беспрестанно подрагивая, кровоточат ранки.

Док цепляет ногтями один из видневшихся в боку осколков, вытаскивает его, мелкий, похожий на клювик злой птицы. Затем еще один – из члена, придавив половой орган другой рукой, обернутой в платок. Раненый вскрикивает.

Я спускаюсь вниз. По дороге закуриваю, хотя курить в здании, за исключением туалета, Семеныч запретил. Следом идет Шея.

– Говорили же не лезть в классы. Что за уроды... – говорит ни для кого.

– Старичков! – зовет спускающийся следом Семеныч нашего сапера. – Ты чем занимался?

– Я растяжки ставил со стороны оврага.

– Он растяжки ставил, – подтверждает начштаба.

Раненого сносят вниз.

Вызывают из штаба округа машину.

– Ну мудака, – всё ругается на улице Шея.

– Тебе что, его не жалко? – спрашиваю я.

– Мне? Мне жен и матерей жалко. Сейчас этого урода привезут в Святой Спас, он через неделю бегать будет, а у всей родни из-за него истерика начнется. Моя мать с ума сойдет.

Выходит, улыбаясь, док.

– Чего он? – неопределенно спрашивает кто-то, имея в виду подорвавшегося.

– Говорит, зашел в класс и услышал щелчок. Успел отпрыгнуть.

Семеныч через начштаба объявляет построение.

На построении мы слышим, что весь младший начальствующий состав – размандяи, старший начальствующий состав – размандяи, что если мы по дороге сюда забыли дома шорты, флажки и мыльные пузыри, то... ну и так далее.

В итоге на каждом этаже выставляют пост, а командир второго взвода, Костя Столяр, самолюбивый хохмач и шутило, получает от Семеныча искренние уверения, что на премиальные, а также доброжелательное отношение офицерского состава он может не рассчитывать.

– Я сейчас пойду его добыю, – говорит Костя после развода, имея в виду раненого.

Через час невезучего и чересчур любопытного бойца увезли.

Из штаба приехал и остался в школе чин; где-то я его уже видел...

Семеныч с капитаном Кашкиным написали объяснительную бумагу – о том, что боец был ранен при выполнении задания по разминированию помещения.

Не скажу, что парни огорчились из-за того, что нас на одного стало меньше.

Пару перекуров мы обсуждали произошедшее, а потом – забыли, как и не было.

Отвлеклись на иные заботы.

IV

Наверное, от местной воды у парней началось расстройство животов. Держа в руках рулоны бумаги, бугаи наши то и дело пробегают по коридору, топя берцами и на ходу расправляя штаны.

– Хорошо, что мы пока никому не нужны! – ругается Куцый, впрочем, глаза его щурятся по-отцовски нежно. – Вот сейчас бы нас на задание сняли! Сраную команду!

А уж когда пришло время дежурства на крыше, так тут некоторые в неистовство впали – охота ли по крыше туда-сюда, таясь, елозить, когда хочется бежать изо всех сил. За подобное беспокойное поведение на посту Шея вставил бы парням пистон, кабы сам не страдал тем же недугом.

Меня это расстройство миновало.

Хоть мы и прожили два дня спокойно, массовый понос на настроение парней действует удручающе, кое-кто всерьез на нервах, это чувствуется. Разве что Плохиш ведет себя так, как, верно, вел себя в детском саду. Тем более что у него с желудком тоже нет проблем, и это дает ему все основания подкалывать парней. Правда, когда он в коридоре, придуриваясь, повис на рукаве спешащего в сортир Димки Астахова («Подожди, Дим, сказать кое-чего хочу») – Дима разразился таким матом, что Плохиш быстро отстал, что случается с ним исключительно редко. К слову говоря, Астахову вообще не свойственно повышать голос, но промедление в данных обстоятельствах могло для него закончиться грустно.

Однако некоторый нервоз, скрываемый в клубах дыма бесконечных перекуров, происходящих прямо в туалете, чтоб не удаляться от спасительных белых кругов, и откровенная мутная тоска – это разные вещи.

Вот, скажем, Монах – не курит, не шутит, он сидит на кровати, бессмысленно копошится в своем рюкзаке.

Лицо его покрыто следами юношеской угревой сыпи. Он раздражает многих, почти всех. За безрадостный душевный настрой Язва называет его «потоскуха» – от слова «тоска». Кроме того, у Монаха всё валится из рук: то ложку он уронит, то тарелку, – что дало основание Язве называть его «ранимая потоскуха». Утром Монах, спускаясь по лестнице, упал, и Язва тут же окрестил его «падучей потоскухой».

Монах корябает ложкой о посуду, когда ест, он постукивает зубами о стакан, когда пьет чай, он быстро и неразборчиво отвечает, если его спрашивают. Издалека его голос похож на курлыкание индюка. Когда он ест, пьет или говорит, по всему его горлу движется кадык, украшенный несколькими длинными черными волосками. У него тошный вид.

– Ты чего, протух? – спрашивает его Язва.

– Что? – не понимает Монах. В слове «что» у Монаха букв шесть, причем не все они имеют обозначение в алфавите, – три буквы, составляющие произнесенное им слово, обрастают всевозможными свистящими призвуками.

Язва смотрит на него не отвечая. Сурово шмыгает носом и выходит покурить.

Монаху ясно, что его обидели, он еще глубже зарывается в свой рюкзак, куда с удовольствием забрался бы целиком и завязался изнутри. Копошась в рюкзаке, он пурхает горлом.

После обеда Монах, послонявшись по «почивальне», подходит к моей лежанке.

– Ну что, Сергей? – говорю, разглядывая его лоб.

Монах что-то бурчит в ответ.

– Как настроение? Воинственное? – спрашиваю я.

– Война – это плохо, – неожиданно разборчиво произносит Монах.

– О как... А почему?

– Убивать людей нельзя, – продолжает Монах.

– Кто бы мог подумать, – говорю, не нашедшись как состричь.
– А почему нельзя? – интересуется Женя Кизяков, приподнимая голову с соседней кровати.

– Бог запрещает.

– Откуда ты знаешь, что Он запрещает? – ухмыляется Кизяков.

– Глупый вопрос, – отвечает Монах. – Это Божья заповедь: «не убий». Спорить с Богом по крайней мере неумно. Соотношение разумов – как человек и муравей...

Его поучительный тон меня выводит из себя, но я улыбаюсь.

– А зверям Он запрещает убивать? – спрашиваю я.

Кизяков смотрит на нас и даже подмигивает мне.

– Звери бездумны, – отвечает Монах.

– Кто тебе сказал? – опять спрашивает Кизяков.

Монах молчит.

– Они бездумны, и, значит, у них нет Бога? – спрашиваю я.

– Бог един для всех земных тварей.

– Но собаке, например, той, что Шея застрелил, ей не нужен человеческий Бог, она в Нем не нуждается. Ни в отпущении грехов, ни в благословении, ни в Страшном суде, – говорю я.

– Она бездумная тварь, собака, – отвечает Монах.

Я изумленно наблюдаю за движением его кадыка, такое ощущение, будто у него в горле переворачивается плод.

– Всё это старо... – неопределенно добавляет он, и кадык успокаивается, встает на место.

Монах поворачивается, чтобы уйти.

– погоди, Сергей, – останавливаю я его. – Я еще хочу сказать...

Монах уходит к своей кровати, садится с краю, словно он на чужом месте.

– Сергей! – зову его я.

Он оборачивается.

– Сказать кое-чего хочу.

Монах молчит.

– Как появляется вера? – говорю я, перевернувшись в его сторону. – Верят те, кто умеет сомневаться, чьи сомнения неразрешимы. Не умеющие разрешить свои сомнения начинают верить. Звери не умеют сомневаться, поэтому и верить им незачем. А человек возвел свое сомнение в абсолют.

– Это... ерунда... – отвечает Монах, он встает с кровати и вновь возвращается ко мне. – Ересь. Человек возвел в абсолют не страх свой и не сомнение, а свою любовь. Любовь с большой буквы, неизъяснимую... Только любовь человеческая предельна, а Бог – не имеет границ, Он вмещает в себя всю любовь мира. И сама Его сущность – это любовь.

– И Бог велел нам возлюбить любовь?

– Да. Возлюбить Бога, возлюбить ближнего своего, потому что только на этом пути есть истина.

– И Он сказал: «Не убий, ибо гневающийся напрасно на брата своего подлежит суду».

– Сказал.

– А как ты думаешь, почему Он сказал «гневающийся напрасно»? Значит, можно гневаться не напрасно?

– Что ты имеешь в виду?

– Ты знаешь что. Бог заповедовал нам возлюбить Бога, ближних своих и врагов своих, но не заповедовал нам любить врагов Божьих. Ты же читал жития святых – там описываются случаи, когда верующие убивали богохульников.

– Бог не принимает насилия ни в каком виде.

– А когда ты ребенку вытираешь сопли – это насилие? Когда врач заставляет женщину тужиться – насилие?

– Согласно заповеди Божьей убийство неприемлемо.

– Бог дал человеку волю бороться со злом и разум, чтобы он мог отличить напрасный гнев от гнева ненапрасного.

– Бессмысленно бороться со злом – на всё воля Божья.

– Если на всё Божья воля, так ты не умывайся по утрам – Бог тебя умоет. И подмоет. Не ешь – Он тебя накормит. Не лечи своего ребенка – Он его вылечит. А? Но ты же умываешься, Монах! Ты же набиваешь живот килькой, презрев Божью волю! Может, Он вообще не собирался тебя кормить!

– Не идиотничай, Егор. Ты хочешь сказать, что здесь ты выполняешь волю Божью?

– Я просто чувствую, что гнев мой не напрасен.

– Как ты можешь это почувствовать?

– А как человек почувствовал, что нужно принять священные книги как священные книги, а не как сказки Шахерезады?

– Человеку явился Христос. А тебе кто явился, кроме твоего самолюбия? Ты же ни во что не веришь, Егор!

– Эй, софисты, вы достали уже! – кричит Язва.

Я и не заметил, как он вернулся.

Мне очень хочется ответить Монаху, но я понимаю, что этот разговор не имеет конца. По крайней мере, сегодня его не суждено закончить.

Я выхожу из школы, я возбужден. Я все еще разговариваю с Монахом – про себя. Обернувшись на него, вновь усевшегося на кровать и начавшего копошиться в рюкзаке, я вижу, что и он со мной разговаривает – молча, сосредоточенно, глубоко уверенный в своей правоте.

Во дворе, за своей кухонькой, Плохиш, натаскав из школьного подвала поломанных ящиков, разжег костер. Пацаны сидят вокруг костра, курят, переговариваются. В ногах лежат автоматы.

Плохиш подбрасывает в огонь щепки, ему жарко. Он снимает тельняшку, остается в штанах и в берцах.

Выходит из школы Женя Кизяков.

– О, Плохиш, какой ты хорошенький! Как Наф-Наф.

– Иди ко мне, мой Ниф-Ниф! – дурит белотелый пухлый Плохиш, призывая Женю.

Кизяков спускается по ступенькам. Он шуточно хлопает Плохиша по спине:

– Потанцуем?

Кизяков и Плохиш начинают странный танец вокруг костра, подняв вверх руки, ритмично топая берцами. Пацаны посмеиваются.

– Буду погибать молодым! – начинает читать рэп Плохиш в такт своему танцу. – Буду погибать! Буду погибать молодым! Буду погибать!

– Буду погибать молодым! – подхватывает Женя Кизяков. – Буду погибать!

– Буду погибать молодым! Мне ведь поебать! – кричит Плохиш.

Еще кто-то пристраивается к ним, держа автоматы в руках, как гитары, покачивая стволами. Начинают подпевать. Плохиш подхватывает свой ствол с земли, поднимает вверх правой рукой, держа за рукоять. Кизяков тоже поднимает «калаш».

– Будем погибать молодым! Нам ведь поебать! Будем погибать молодым! Нам ведь поебать! – орут пацаны.

В телефонной трубке, словно в медицинском сосуде, как живительная жидкость, переливался ее голос. Она говорила, что ждет меня, и я верил, до сих пор верю.

Утром я приезжал к ней домой. По дороге заходил в булочную купить мне и моей Даше хлеба. Булочная находилась на востоке от ее дома. Я это точно знал, что на востоке, потому что над булочной каждое утро всходило солнце. Шел, и жмурился от счастья, и потирал невыспавшуюся свою рожу. На плавленом асфальте, успевшем разогреться к полудню, дети в разноцветных шортах выдавливали краткие и особенно полюбившиеся им в человеческом лексиконе слова, произношение которых так распалило мою Дашу несколько раз в течение любого дня, проведенного нами вместе. У меня богатый запас подобных слов и более или менее удачных комбинаций из них. Гораздо богаче, чем у стыдливо хихикающих детей в разноцветных шортах.

Булочная располагалась в решетчатой беседке, представлявшей собой пристройку к большому и бестолковому зданию. До сих пор не знаю, что в нем находилось. В ту пору никакие помещения, кроме кафе, нас с Дашей не интересовали. Чтобы подняться к продавцу, надо было сделать шесть шагов вверх по бетонным ступеням. От стальных ступеней шел блаженный холод, в беседку булочной не проникало солнце.

Я говорю, что, идя навстречу солнцу, я жмурился и вертел бритой в области черепа и небритой в области скул и подбородка головой, но, войдя в беседку, наконец раскрывал глаза. Видимо, от того, что я так долго жмурился и вертел головой, и от солнца, в течение нескольких минут ходьбы до булочной наполнявшего мои неумытые глаза, на меня, вошедшего в беседку и сделавшего несколько шагов по бетонным ступеням, накатывала тягучая сироповая волна головокружения, сопровождающаяся кратковременным помутнением в голове. Открытые глаза мои плавали в полной тьме, которую иногда пересекали запускаемые с неведомых станций желтые звездочки спутников. Потом тьма сползала, открывая богатый выбор хлебной продукции, себе я покупал черный, вне всякой зависимости от его мягкости, хлеб. На выбор хлеба Даше уходило куда больше времени. Собственно хлеба, в конце концов, я ей не покупал. Тринадцать пирожных, радость от которых никак не сказывалась на красотах моей любимой девочки, впрочем, я об этом тогда и не задумывался, но когда задумался, мне это понравилось – итак, липкая компания пирожных безобразно заполняли купленный здесь же, в булочной, пакет, измазывая легкомысленным кремом суровую спину одинокой ржаной буханки.

Хлеб продавала породистой красоты женщина. Такие никогда не работают в булочных, но, видимо, мир в то лето решил окружить и заморозить меня всею своей красотой. Пока я выбирал хлеб и сопутствующие мучные товары, она, улыбаясь, разглядывала меня. Она очень хорошо на меня смотрела, и я останавливался, и прекращал шляться от витрины к витрине, изучая качество мелочи на своей ладони, и тоже очень хорошо смотрел на нее.

– Почему у вас не продают пива? – интересовался я. – Вы не можете повлиять на это? Я вам организую небольшую, но постоянную прибыль.

На улице дети расплюснутым от долгого вдавливания в теплый асфальт сучком делали последнюю завитушку над «ижицей», чтобы множественное число увековеченного в детской письменности объекта превратилось в единственное.

Солнце светило мне в затылок, и моя тень обгоняла меня, и забегала вперед, а потом окончательно терялась в подъезде дома, приютившего нас с Дашей, и порой поджидала меня до следующего утра. Грохнувшая входная дверь подъезда оповещала мою девочку о моем возвращении.

Шум включенного душа – первое, что я слышал, заходя в квартиру.

«Егорушка, это ты?» – второе.

Ну конечно же, это я. Чтоб удостовериться в том, что это действительно я, я подходил к зеркалу и видел свои по-собачьи счастливые глаза.

Нас подняли в пять утра. Плохиш привычно заорал, никто никак не отреагировал. Все устали за прошедший день, наглухо заделывая, заваливая, забывая окна первого этажа.

В семь утра нам заявили, что мы идем делать зачистку в недалеком от нас Заводском районе. Развод провел штабной чин, приехавший из управления на «козелке» (следом катил бэтээр, но он даже не въехал во двор – развернулся и умчал, подскакивая на ухабах). Я присмотрелся к чину – узнал: тот самый, что нам школу показывал в первый день, и тот же, что подорвавшегося пацана забирал.

Чин – черноволосый, с усиками, строгий без хамства и позы, невысокий, ладный. Звезды свои он снял, на плечевых лямках остались дырки в форме треугольника, поэтому и звание непонятно. Для «старлея» чин стар, для «полкана» – молод. Мы, собственно, и не интересовались. Чин сказал, что по офицерам снайперы стреляют в первую очередь, потому, мол, и снимал звезды.

– А по прапорщикам? – спросил Плохиш. Он прапорщик. Все поняли, что Плохиш дурочку валяет. Семеныч посмотрел на Плохиша, и тот отстал.

Чин посоветовал Семенычу тоже звезды снять. Семеныч сказал, что под броником все равно не видно. Это он отговорился. Его майорские, пятиконечные, ему будто в плечи вросли. Хотя, если Семенычу дадут подпола, это быстро пройдет.

Чин пояснил нам задачу.

Хасан вызвался идти первым. Чин узнал, в чем дело, немного поговорил с Хасаном и дал добро, хотя его никто не спрашивал.

Сам чин остался на базе. Вместе с ним пацаны с постов, дневальный – Монах, начштаба и помощник повара, азербайджанец Анвар Амалиев. Плохиш увязался с нами, упросил Семеныча.

Хасан с двумя бойцами из своего отделения пошел впереди. Метрах в тридцати за ними – мы, по двое; сорок человек.

Бежим, топаем. Стараемся держаться домов. От земли несет сыростью, но какой-то непривычной, южной, мутной.

Броники тяжелые, сферу через пятнадцать минут захотелось снять и выкинуть в кусты. Хасан поднял руку, мы остановились.

– Сейчас он нас прямо к своим выведет! – съязвил Гриша.

Я прислонился сферой к стене деревянного дома с выгоревшими окнами – чтоб шея отдохнула. Из дома со сквозняком неприятно пахло. Я заглянул в помещение: битый кирпич, тряпье. На черный выжженный потолок налип белый пух. Ближе к окну лежит пожелтевший от сырости раскрытый Коран с оборванными страницами.

– Давай Амалиеву Коран возьмем? – предложил кто-то.

– Да у него страницы на подтирки вырваны!

– Во чичи, Писанием подтираются!

– Да не, это наши, чичи вообще моются. С кувшином ходят. Я в армии видел.

– Поди, дембеля чеченского подмывал? – опять язвит Гриша.

Саня Скворцов перегнулся через подоконник и разглядывает паленые внутренности дома.

– Бля, пацаны, там валяется кто-то! Мужик какой-то! – Скворец показывает рукой в угол помещения.

Перегнувшись через подоконник следующего окна, Язва осветил ближайший угол фонариком.

– Кто там, Гриш?

– Мужик.

– Живой?

– Живой. Был.

Подошел Куцый:

– В дом не лезьте!

В углу дома лежит обгоревший труп. Совершенно голый. Открытый рот, губ нет, закинутая голова, разломанный надвое кадык. Горелый, черный, задраный вверх, будто возбужденный член.

– Мужики, никто не хочет искусственное дыхание ему сделать, рот в рот, может, не поздно еще? – опять проявляется Язва.

...Кончились сельские развалины, начались хрущевки. За ними – высотки, полувысотки, недовысотки, вообще уже не высотки. Наверное, в аду пейзаж куда оживленней и веселее.

Серьезные, грузные, внимательные гуляки, мы пересекаем пустыри и безлюдные кварталы.

Страшно и очень хочется жить. Так нравится жить, так прекрасно жить. Даша...

На подходе к заводскому блокпосту мы связались с ним по радиации, предупредили, чтоб своих не постреляли.

На блокпосту человек десять. Бэтээр стоит рядом, и, судя по следам, – на нем давно никуда ездили. Пацаны-срочники высыпают из поста, сразу просят закурить. Через минуту у срочников за каждым ухом по сигарете. Пацаны все откуда-то из тьмутаракани. Один – тувинец, с эсвэдэшкой. Глаз совсем не видно, когда улыбается. А улыбается он все время.

Старший поста объясняет:

– Вон из того корпуса ночью постреливают... – он показывает в сторону Черноречья, на заводское здание. – Здесь объездных дорог в город полно, мы на главной стоим... Наша комендатура в низинке, пять минут отсюда. Мы базу уже предупредили, что вы будете работать. А то мы по всем шмаляем. Здесь мирным жителям делать не хера.

Держим путь к заводским корпусам.

Много железа, темные окна, неприкурные трубы, ржавые лестницы... Корпуса видятся чуждыми и нежилыми.

Метров за двести переходим на трусцу. Бежим, пригибаясь, кустами.

Ежесекундно поглядываю на заводские здания: «Сейчас цокнет, и прямо мне в голову. Даже если сферу не пробьет, просто шея сломается, и все... А почему, собственно, тебе?.. Или в грудь? Эсвэдэшка броник пробивает, пробивает тело, пуля выходит где-нибудь под лопаткой и, не в силах пробить вторую половинку броника, ricochetит обратно, делает злобный зигзаг во внутренностях и застревает, например, в селезенке. Все, амбец. И чего мы бежим? Можно было доползти ведь. Куда торопимся? Цокнет, и прямо в голову. Или не меня?.. Иди вон, надоел ты ныть».

Кусты закончились. До первого двухэтажного корпуса метров пятьдесят. Он стоит тыльной стороной к нам.

Куцый разглядывает здания в бинокль. Каждое отделение держит на прицеле определенный Семенычем участок видимых нам корпусов.

– Ну давайте, ребятки! – приказывает Семеныч.

Гриша, Хасан и его отделение бегут первыми. Остальные сидят. С крыши ближайшего корпуса беззвучно взлетает несколько ворон. Левая рука не держит автомат ровно, дрожит. Можно лечь, но земля грязная, сырая. Никто не ложится, все сидят на корточках.

– Ташевский, давай своих!

Бегу первый, за спиной десять пацанов, бойцы, братки, Шея – замыкающий. Очень неудобно в бронике бежать. Ох, как же неудобно в нем бежать! Кажется, не было бы на мне броника, я бы взлетел. Медленно бежишь, как от чудовища во сне. Только потеешь. Какое, наверное, наслаждение целиться в неуклюжих, медленных, нелепых, теплых людей.

«Господи, только бы не сейчас! Ну давай чуть-чуть попозже, милый Господи! Милый мой, хороший, давай не сейчас!»

Взвод Кости Столяра держит под прицелом окна и крышу. Гриша, Хасан пошли со своими налево, вдоль тыльной стороны корпуса.

Мы пойдем вдоль правой стороны здания. Останавливаюсь возле первого окна, оглядываюсь. Пацаны все мокрые, розовые.

– Скворец, давай дальше! – говорю Сане Скворцову. Он обходит меня, ссутулившись, делает прыжок и через секунду оборачивается ко мне, стоя с другого края оконного проема. Лицо, как у всех у нас, алое, а губы бескровные. Из-под пряди его рыжих волнистых волос стекает капля пота.

Смотрю сбоку на окно, оно огромное, решеток нет, рам нет, пустой проем. Заглядываю наискось в здание. Груды железа, бетон, балки. Глазами и кивком на окно спрашиваю у Саньки, что он видит со своей стороны. Санька косится в здание, потом недоуменно пожимает губами. Ничего особенного, мол, не вижу. Держим окно на прицеле. Подходит Куцый.

– Чего там, Егор? – спрашивает у меня.

– Да ничего, свалка.

Когда Куцый рядом – спокойно. Через два часа по прилете в Грозный его весь отряд, не сговариваясь, стал называть Семенычем. Конечно, пока никаких чинов рядом нет. У Семеныча круглое лицо с густыми усами. Широкий пористый нос. Хорошо поставленный командирский голос. Он часто орет на нас, как пастух на скотину. Те, кто давно его знают, – не боятся. Нормальный армейский голос. А как, если не орать? Иногда мне кажется, что Куцый жадный. Что он слишком хочет получить подпола.

«А почему бы ему не хотеть?» – отвечаю сам себе.

– Сынок! – Куцый подзывает Шею. – Возьми со своими окна с этой стороны. Не суйтесь никуда, а то друг друга перебьем.

Вдоль нашей стены четыре окна. Пацаны встают так же, как я с Санькой, по двое возле каждого. Несколько человек, пригнувшись, отбегают от здания, чтоб видеть второй этаж. Еще двое встают на углах. Куцый связывается по рации с парнями на другой стороне корпуса. Хасан отвечает. Говорит, что они тоже у края здания стоят. Куцый с десятком бойцов и парни с того края, все вместе, поворачивают за угол, с разных сторон идут ко входу.

Мы ждем...

Ненавижу свою сферу. Утоплю ее в Тереке сегодня же. Далеко, интересно, этот Терек? Надо у Хасана спросить.

По диагонали от меня, внутри здания, – полуоткрытая раздолбанная дверь.

Даже не зрением и не слухом, а всем существом своим я ощутил движение за этой дверью. Надо было перчатку снять. Куда удобней, когда мякотью указательного чувствуешь спусковой крючок. И цевье лежит в ладони удобно, как лодыжка моей девочки, когда я ей холодные пальчики массажиро...

Дверь открылась.

Вот было бы забавно, если б командир отделения Ташевский имел характер неуравновешенный, истеричный. Как раз Плохишу в лоб попал бы.

Плохиш поднял кулак с поднятым вверх средним пальцем. Это он нас так поприветствовал.

В проеме открытой двери я вижу, как пацаны боком, в шахматном порядке поднимаются по лестнице внутри здания, задрав дула автоматов вверх. Первым идет Хасан...

Появляется Семеныч, делает поднимающимся парням знаки, чтоб под ноги смотрели, – могут быть растяжки. Ступая будто по комнате с чутко спящим больным ребенком, парни исчезают, повернув на лестничной площадке.

Смотрю на лестницу, всякий миг ожидая выстрелов или взрыва. Иногда в лестничный пролет сыпется песок и мелкие камни. Задираю голову вверх – будет очень неприятно, если со второго этажа нам на головы кинут гранату.

Через пятнадцать минут на лестнице раздается мерный и веселый топот.

– Спускаются! – с улыбкой констатирует Саня.

Первым появляется Плохиш, заходит в просматриваемое мной и Санькой помещение, ловко вспрыгивает на бетонную балку и начинает мочиться на пол, поводя бедрами и мечтательно глядя в потолок. Затем косится на нас и риторически спрашивает:

– Любуетесь, педофилы?

Через пять минут собираемся на перекур.

– На третьем этаже растяжка стоит, – рассказывает мне Хасан. – Две ступени не дошел. Спасибо, Слава Тельман заметил.

Тельман! С меня пузырь... На чердаке лежанка. Гильзы валяются – семь-шестьдесят две. Вид из бойницы отличный. Мы его растяжку на лестнице оставили и еще две новых натянули.

... Через три часа мы зачистили все пять заводских корпусов и уселись на чердаке пятого обедать. Тушенка, килька, хлеб, лук...

– Семеныч, может, по соточке? – предлагает Плохиш.

– А у тебя есть? – интересуется командир.

По особым модуляциям в голосе Семеныча Плохиш понимает, что тема поднята преждевременно и припасенный в эрдэшке пузырь имеет шанс быть разбитым о его же, Плохиша, круглую белесую голову.

– Откуда! – отзывается Плохиш.

– Кто без особого разрешения соизволит, может сразу собирать вещи, – строго говорит Семеныч.

– Парни, может, нахлестаемся всем отрядом? – предлагает Язва. – Нас Семеныч домой ушлет.

Такие шуточки Грише позволительны. На любого другого, кто вздумал бы пошутить по поводу слов Семеныча, посмотрели б как на дурака.

– Главное, Амалиеву ничего не говорить, а то у него запой сразу начнется, – добавляет Плохиш.

Анвар Амалиев – помощник Плохиша, оставшийся на базе, – трусит, это видят все.

Жрем сухомятку, хрустим луком. Не наевшись толком, скоблим ложками консервные банки, и тут Санька Скворец, сидящий на корточках возле оконца, задумчиво говорит:

– Парни, а вон чеченцы...

Все наперебой полезли к окнам, только Плохиш тем временем воровато доел кильку из пары чужих банок.

По дороге быстрым шагом к нашему корпусу идут шесть человек. Озираются по сторонам... оружия вроде нет, одеты в черные короткие кожанки... сапоги, вязаные шапочки. Только один в кроссовках и в норковой шапке.

Тихо спускаемся вниз, сердце торопится вперед меня. По приказу Семеныча Шея, я и мое отделение встаем у больших окон первого этажа с той стороны, откуда идут чеченцы.

Мы не смотрим в окно, чтоб нас не засекли, но, не дыша, вслушиваемся. Чечены идут молча, я слышу, как один из них, почему-то я думаю, что это именно тот, что в кроссовках, заскользил по грязи и тихо по-русски, но с акцентом, матерно выругался. Как-то тошно от его голоса. Наверное, от произнесения им вслух матерных обозначений половых органов я всем существом чувствую, что он – живой человек. Мягкий, белый, волосатый, потный, живой...

Комвзвода улыбается.

Стою, прижавшись спиной к стене возле окна. Боковым зрением вижу небольшой про свет – два метра от угла здания. На миг в просвете появляется каждый из идущих: один, второй, третий... Все, шестой.

– Пошли! – командует Шея.

Грузно выпрыгиваем или даже вышагиваем из низко расположенного окна: Шея, я, Скворец...

Несколько метров до угла здания – поворачиваем вслед за чеченами – последний из них оглядывается на звук наших шагов.

– На землю! – заорал Шея и, подбежав, ударил сбоку прикладом автомата по лицу ближнего чеченца, того самого, что в норковой шапке. Чеченец взмахнул ногами и кувыркнулся в грязь, его шапка юркнула в кусты. Остальные повалились сами.

Подбегая, я наступаю на голову одному из чичей и едва не падаю, потому что голова его неожиданно глубоко, как в масло, влезла в грязь. Мне даже показалось, что я чувствую, как он пытается мышцами шеи выдержать мой вес. Хотя вряд ли я могу почувствовать это в берцах.

Через минуту подходят наши. Мы обыскиваем чеченцев. Оружия у них нет. Семечки в карманах. С лица чеченца, угодившего под автомат Шеи, обильно течет кровь. Чеченец сжимает скулу в кулаке и безумными глазами смотрит на Шею.

– Чего на заводе надо? – спрашивает Семеныч у чеченцев. От его голоса становится зябко.

– Мы работаем здесь, – отвечает один из них.

Но одновременно с ним другой чеченец говорит:

– Мы в город идем.

Стало тихо.

«Что же они ничего не скажут?..» – думаю я.

Чеченцы переминаются.

Семеныча вызывают по рации пацаны, оставшиеся на чердаке для наблюдения. Он отходит в сторону, отвечает.

Оказывается, что по объездной дороге едет грузовик, в кабине два человека в гражданке, вроде чичи, кузов открытый, пустой.

Одно отделение остается с задержанными чеченцами. Мы бежим к перекрестку, навстречу грузовику. Мнется и ломается под тяжелыми ногами бесцветная сухая чеченская полынь-трава.

Шагов через сорок скатываемся, безжалостно измазывая задницы, ляжки и руки, в кусты, по разные стороны дороги. Пацаны спешно снимают автоматы с предохранителей, патроны давно досланы.

Слышно, что грузовик едет с большой скоростью. Через минуту мы его видим. За рулем действительно кавказцы.

Шея, лежащий рядом с Семенычем, привстает на колени и дает очередь вверх. Грузовик с ревом поддает газку. В ту же секунду по грузовику начинается пальба. Стекло со стороны пассажира летит брызгами. Я тоже даю очередь, запускаю первую порцию свинца в хмурое чеченское небо, но стрелять уже незачем: машина круто останавливается. Из кустов вылетает Плохиш, открывает левую дверь и вытаскивает водителя за шиворот. Он живой, неразборчиво ругается, наверное, по-чеченски. Подходит Хасан, что-то негромко говорит водителю, и тот затихает, удивленно глядя на Хасана.

Пассажира вытаскивают за ноги. Он ударяется головой о подножку. У него прострелена щека, а на груди будто разбита банка с вареньем: черная густая жидкость и налипшее на это месиво стекло с лобовухи. Он мертв.

Пацаны лезут в машину, копошатся в бардачке, поднимают сиденья...

– Нет ни черта!

Хасан ловко запрыгивает в кузов. Топчется там, потом усаживается на кабину и закуривает. Он любит так присесть где-нибудь, чтоб красиво нарисоваться.

Что делать дальше – никто не знает. Семеныч и Шея стоят поодаль, командир что-то приказывает Шее.

– Пошли! – говорит Шея бойцам. – Труп на обочину спихните.

– А что с этим? – спрашивает Саня Скворец, стоящий возле водителя. Тот лежит на животе, накрыв голову руками. Услышав Саню, чеченец поднял голову и, поискав глазами Хасана, крикнул ему:

– Эй, брат, вы что?

– Давай, Сань! – говорит Шея.

Я вижу, как у Скворца трясутся руки. Он поднимает автомат, нажимает на спусковой крючок, но выстрела нет – автомат на предохранителе. Чеченец прытко встает на колени и хватает Санькин автомат за ствол. Санька судорожно выдергивает оружие, но чеченец держится крепко. Все это, впрочем, продолжается не более секунды. Димка Астахов бьет чеченца ногой в подбородок, тот отпускает ствол и заваливается на бок. Димка тут же стреляет ему в лицо одиночным.

Пуля попадает в переносицу. На рожу Плохиша, стоящего возле, как будто махнули сырой малярной кистью: все лицо разом покрыли брызги развороченной глазницы.

– Тьфу, бля! – ругается Плохиш и отирается рукавом. Брезгливо смотрит на рукав и начинает отирать его другим рукавом.

Санька Скворец, отвернувшись, блюет непереваренной килькой.

Быстро уходим.

Плохиш крутится возле машины. Я оборачиваюсь и вижу, как он обливает убитых чеченов бензином из канистры, найденной в грузовике.

Через минуту он, довольный, догоняет меня, в канистре болтаются остатки бензина. Возле грузовика, потрескивая, горят два костра.

...Оставшееся возле корпусов отделение выстроило восемь чеченцев у стены.

– Спросите у своих, кто хочет? – тихо говорит мне и Хасану Шея, кивая на пленных.

Вызываются человек пять. Чеченцы стоят, положив руки на стены. Кажется, что щелчки предохранителей слышны за десятки метров, но нет, они ничего не слышат.

Шея махнул рукой. Я вздрогнул. Стрельба продолжается секунд сорок. Убиваемые шевелятся, вздрагивают плечами, сгибают-раз-гибают ноги, будто впали в дурной сон и вот-вот должны проснуться. Но постепенно движения становятся все слабее и ленивей.

Подбежал Плохиш с канистрой, аккуратно облил расстрелянных.

– А вдруг они не... боевики? – спрашивает Скворец у меня за спиной.

Я молчу. Смотрю на дым. И тут в сапогах расстрелянных начинают взрываться патроны. В сапоги-то мы к ним и не залезли.

Ну вот, и отвечать не надо.

Связавшись с нами по рации, подъехал бэтээр из заводской комендатуры. На броне – солдатики.

– Парни, мяса не хотите? – это, конечно, Язва сказал.

V

С почином вас, ребятаки!
Мы на базе. Все ждут, что Семеныч скажет. Ну, Семеныч, ну, родной...
– Десять бутылок водки на стол.
– Ура, – констатирует Язва спокойно.
– Нас же пятьдесят человек, Семеныч! – это Шея.
– Я пить не буду, – вставляет Амалиев.
– Иди картошку чисть, пацифист, тебе никто не предлагает. Семеныч, может, пятнадцать?
– Десять.
Суедемся, как в первый раз. Лук, консервы, хлеб, картошка... Счастье какое, а?
Водка, чудо мое, девочка. Горькая моя сладкая. Прозрачная душа моя.
Шея бьет ладонью по доньшку бутылки, пробка вылетает, но разбрызгивается горькой разве что несколько капель. Сила удара просчитана, как отцовский подзатыльник.
Семеныч говорит простые слова. Стоим, сжав кружки, фляжки, стаканы, улыбаемся.
Спасибо, Семеныч, все правильно сказал.
Первая. Как парку в желудке поддали. «Протопи ты мне баньку, хозяйюшка...»
Лук хрустит, соль хрустит, поспешно и с трудом сглатывается хлеб, чтоб захохотать во весь розовый рот на очередную дурь из уст товарища.
Вторая... Ай, жарко.
– Братья по оружию и по отсутствию разума! – говорю. Какая разница, что говорю. – Семеныч, отец родной! Плохиш, поджигатель, твою мать! Гриша! Хасан! Родные мои...
И курить.
И обратно.
Водка, конечно, быстро закончилась.
Но раз Семеныч сказал, что десять, значит, так тому и быть. Не девять и не одиннадцать.
Десять. Мы все понимаем. Приказ все-таки...
Еще бы одну – и хорош.
Мы ведь не с пустыми руками из дома приехали. Засовываю пузырь спирта за пазуху и поднимаюсь на второй этаж. Наши пацаны уже ждут. У Хасана – кружка, у Саньки Скворца – луковица. Полный комплект.
Стукаемся кружками. Глот-глот-глот.
Опять стукаемся.
Еще пьем.
...Не надо бы курить. А то мутит уже.
Саня Скворец медленно по стене съезжает вниз, присаживается на корточки.
Глаза тоскливые.
Хасан побрел куда-то. Плохиш побежал за Хасаном и с диким криком прыгнул ему на шею – забавляется.
Съезжаю по стене, сажусь на корточки напротив Саньки.
Все понимаю. Не надо об этом говорить. Мы сегодня лишили жизни восемь человек.
Пойдем-ка, Саня, спать.

Я часто брал Дэзи за голову и пытался пристально посмотреть ей в глаза. Она вырывалась.
Дэзи была умилительно красивой дворнягой. Если заглянуть в глубины памяти – а где, как не там, я смогу увидеть Дэзи, ведь фотографий ее нет, – мне она кажется нежно-голубого

окраса, в черных пятнах, с легкомысленным хвостом, с вислыми ушами спаниеля. Но цвета детства обманчивы. Так что остановимся на том, что она была очаровательна.

Я не ел с ней из одной чашки, она не выказывала чудеса понимания и не спасала мне жизнь, не было ничего такого, что я с удовольствием бы описал, невзирая на то, что кто-то описывал это раньше.

Помню разве что один случай, удививший меня.

У дяди Павла в огороде стояла емкость с водой, куда он запускал карасей. Лениво плавая в емкости, караси дожидались того дня, когда дядя Павел возжелает рыбки. Но рыба стала еженощно исчезать, и дядя Павел, пересчитывавший карасей по утрам, догадался, кто тому виной. Вскоре в поставленный им капкан попал кот.

Так вот, из всех дворовых собак, столпившихся вокруг кота и злобно лающих на него, только Дэзи схватила кота за шиворот и воистину зверски потерзала его, закатившего глаза от ужаса, – другие собаки на это, к моему удивлению, не решились.

«Чего же они бегают за котами, если так боятся их укусить?» – подумал я тогда и зауважал Дэзи. В знак уважения я накормил ее в тот же день колбасой, и когда отец, возвращавшийся с работы, застал меня за этим занятием, он только сказал: «На ужин нам оставь», – и ушел в дом.

Иногда я водил Дэзи купаться. Метрах в ста от нашего дома был чахлый прудик, но Дэзи не шла за мной туда, и поэтому мне приходилось ее заманивать. Я брал дома пакет с печеньем и каждые три-четыре шага бросал печенье Дэзи, подводил свою собаку прямо к реке, а потом спихивал с мостика в воду. Дэзи с трудом выползала на обвисший черными оползающими в воду комьями берег и отряхивалась.

Первый раз она оценилась зимой, мне в ту пору было, думаю, лет пять. Отец мне о судьбе собачьего потомства ничего не сказал, но тетя Аня проболталась: «Дэзи-то ваша щеночков принесла, а они уже все мертвые».

Как выяснилось, наша собачка разродилась на заброшенной полуразваленной даче, неподалеку от дома.

Стояли холода, я почти не выходил из дома. Отец, подняв воротник и куря на ходу, возвращался, когда уже было темно, но я видел в окно его широкоплечую фигуру, его черную шубу, его шапку, над которой вился и тут же рассеивался дымок.

В этот тридцатиградусный мороз наша Дэзи породила несколько щенят, которые через полчаса замерзли, – она была юной и бестолковой собакой и, кроме того, наверное, постеснялась рожать перед нами, вблизи нас – двоих мужчин.

Уже замерзших, она перетаскала щенков на крыльцо нашего дома. Я узнал об этом от тети Ани и сам их, заиндевелых, скукоженных, со слипшимися глазками, к счастью, не видел.

Узнав о гибели щенков, я ужаснулся, в том числе и тому, что у Дэзи больше не будет детишек, но отец успокоил меня. Сказал, что будет, и много.

Странно, но меня совершенно не беспокоил вопрос, откуда они возьмутся. То есть я знал, что их родит Дэзи, но по какой причине и вследствие чего она размножается, меня совершенно не волновало.

Еще раз Дэзи родила, видимо, когда отец в предчувствии очередного запоя отвез меня к деду Сергею. Куда делись щенки, не знаю. Отец бы их топить не стал точно. Может, дядя Павел утопил, он был большой живодер.

Иногда Дэзи убегала. Она пропадала по нескольку дней и всегда возвращалась.

Но однажды ее не было полтора месяца. Пока она отсутствовала, я не плакал, но каждое утро выходил к ее конуре. Тетя Аня сказала, что Дэзи видели на правобережной стороне города. «Кобели за ней увиваются», – добавила тетя Аня, и меня это покорило.

Не знаю, как Дэзи перебиралась через мост: по нему со страшным шумом непрерывно шли трамваи, автобусы и авто, – я никогда не видел, чтобы по мосту бегали собаки. Может быть, она перебиралась по мосту ночью?

Как бы то ни было, она вернулась. У нее была течка.

Мне пришлось оценить степень известности Дэзи в собачьей среде, вернее, среди беспризорных кобелей, проживающих на территории Святого Спаса. Наверное, наша длинношерстная вислоухая сучечка произвела фурор, появившись в «большом городе» – так мы называли правобережье Святого Спаса, где, в отличие от наших тихих районов, были дома-высотки и даже цирк.

Как-то утром, выйдя из дома (по утрам я писал с крыльца – «удобства» у нас были во дворе, идти к ним мне было лень), я обнаружил на улице свору разномастных, как партизаны, собак. Они нерешительно толпились за забором, иные даже вставали на задние лапы, положив передние на поперечную рейку, скрепляющую колья забора. Они могли бы пролезть в щели, забор был весьма условным, но своим животным чутьем кобели, видимо, понимали, что это чужая территория и делать во дворе им нечего.

Дэзи задумчиво смотрела на гостей.

Босиком, ежась от холода, в трусиках и в маечке, я спустился с крыльца, испуганно косясь на собак и одновременно выискивая на земле камушек побольше. Площадка у крыльца была уложена щебнем, и я решил использовать его.

До забора корявые кругляши щебенки едва долетали, но на кобелей это подействовало. Отшатнувшись от забора, они незлобно полаяли и убежали за угол дома. Дэзи, как мне показалось, равнодушно проводила их взглядом.

– Ах ты моя псинка! – сказал я и, немного поразмыслив, как был, босыми ножками, ступая на цыпочки, добежал до конуры. – Они тебя обижают? – спросил я и, не дожидаясь ответа, прижал Дэзи к себе. Вообще такие нежности мне были не свойственны, но тут я что-то расчувствовался.

– Егор, малыш! Ну ты что, мой родной? – позвал меня вышедший из дома отец.

Я вытер ноги о половик и вернулся в кровать. Отчего-то мне было беспокойно, и, быстренько одевшись, я вновь побежал на улицу. Дэзи в конуре не было.

Загрузив в карманы курточки щебень, я пошел спасать мою собаку.

Дойдя до угла дома, я решил, что вооружился плохо, вернулся к забору и вытащил подломанный коллик.

За углом нашего дома проходила полупроселочная серая дорога, поросшая кустами. Чуть дальше она срасталась с асфальтовой, видневшейся за деревьями. Дэзи стояла посередине дороги, ее крыл крупный кобель. Кобель делал свое дело угрюмо и сосредоточенно. Дэзи, повернув голову, смотрела на меня; ее безропотный взгляд и мой, ошеломленный, встретились.

«Как она может позволить так с собой поступать?» – подумал я, открыв рот от возмущения.

– Ах ты гадина! – сказал я вслух, едва не заплакав.

Я размахнулся и кинул в спаривающихся собак камнем. Они дернулись, но не перестали совокупляться.

– Ах ты гадина! – еще раз повторил я. – Блядь! – с остервенением выкрикнул я малознакомое мне слово и, перехватив коллик, побежал к Дэзи и к ее смурному, конвульсивно движущемуся товарищу.

Собаки с трудом отделились друг от друга. Кобель, не оборачиваясь, побежал по дороге, словно по делу, Дэзи осталась стоять, по-прежнему равнодушно глядя на меня. Не добежав до собаки несколько шагов, я остановился. Ударить ее колликом мне было страшно, но обида за то, что она так себя ведет, так вот может делать, раздирала мое детское сердце.

Бросил коллик на землю, путаясь в карманах, достал из курточки щебень и, замахнувшись, бросил в свою собаку. Дэзи взвилась вверх, неестественно изогнулась и увернулась-таки. Встав на четыре лапы, она недоуменно посмотрела на меня, все еще не решаясь убежать.

– Ну что за гадина! – крикнул я уже для нее лично, будто взывая к ее совести, и запустил в Дэзи еще один камень.

Она отбежала, посекудно оглядываясь на меня. Это меня еще больше разозлило. Мне хотелось ее немедленного раскаянья, мне хотелось, чтобы Дэзи кинулась ко мне подлизываться, подметая грешным хвостом землю, а она – натворила и наутек.

Я сунулся в карман, не обнаружил там больше щебенки и побежал за собакой с пустыми руками, выискивая на земле, что бросить в нее. Я подбирал полусырые комья и, спотыкаясь, метил в Дэзи.

Она отбегала, сохраняя расстояние детского броска.

Я гнал ее до стен старых складов, находившихся неподалеку от нашего дома. У стен росли когтистые кривые кусты. Она прошмыгнула в самую их гущу. Царапаясь и корябаясь, я стал пробираться за ней, видя, как терпеливо она ожидает меня. Подобравшись к Дэзи, я обнаружил в ее глазах уже не безропотность или удивление, а отчаянье. Я попытался схватить ее за холку, и тут Дэзи зарычала на меня. Я увидел вблизи мелкий ряд ее зубов, острых и белых, и отдернул руку.

– Ах ты! – еще раз сказал я, кажется, уже понимая, что лишился своей собаки.

В исступлении я стал ломать сук, Дэзи вильнула между кустов. Я побежал за ней, гнал ее до пруда – зачем-то мне хотелось спихнуть собаку в воду, омыть ее. Она послушно добежала прямо до берега, но когда я стал подбегать к ней, злобно, истерично залаяла на меня и, увернувшись от удара палкой, рванула вдоль берега так быстро, что я понял: все, не догнать.

Вечером она вернулась. Я вышел к ней, Дэзи брезгливо посмотрела на меня. С тех пор она только так и смотрела на меня, брезгливо.

«Странно, – думаю я, засыпая, – вот мы, пятьдесят душ, спим в каком-то доме, на пустыре, посреди чужого города. Совсем одни».

Открываю глаза, вижу дневалящего Скворца, задумчиво взирающего в пустоту, обвожу взглядом парней, укутанных в серые одеяла, автоматы висят у кроватей, берцы стоят на полу...

Вспоминаю то, что видел несколько часов назад с крыши: неприветливую землю, и сухие кусты, и помойку, и неясные дома вокруг.

«Кто сказал, что этот город нам подвластен? В разных углах города спим мы, никому не нужные здесь, по утрам выбегаем в улицы, убиваем всех, кого встретим, и снова отсиживаемся...»

И снова смотрю на здоровых мужиков, спящих тепло и спокойно.

Ночью мне приснился Плохиш, который, как картошину, чистил голову мертвого чеченца. Аккуратно снимал ножом кожу, под которой открывался белый череп.

Проснулся, вздрогнув. Открыл глаза. Мрачно смотрятся бойницы на окнах. Саня читает растрепанную книгу. Пацаны мерно дышат. Как в интернате... Только тогда потолок пересекли отсветы фар проезжающих по дороге машин, а здесь – тихая, сладкая на вкус от мужского пота и чуть скисшего запаха отсыревших берцев полутьма. И потрескивание рации...

Поднялся утром в нервозном состоянии. Чувствую, что мне страшно.

По школе всю ночь постреливали, то с одной стороны, то с другой. Наши посты молчат, затаясь, вроде как мы мирные люди.

А я боюсь...

Холодные ладони, и маета, и много без вкуса выкуренных сигарет, и нелепые раздумья, которые неотвязно крутятся в голове.

Так хочется жить. Почему так хочется жить? Почему так же не хочется жить в обычные дни, в мирные? Потому что никто не ограничивает во времени? Живи – не хочу...

Вопросы простые, ответы простые, чувства простые до тошноты. Люди так давно ходят по земле, вряд ли они способны испытать что-то новое. Даже конец света ничего нового не даст...

Амалиев подрядился отрядным писарем, я смотрю ему через плечо, как он заполняет какую-то ведомость, аккуратно вписывая наши фамилии, и, сам от себя неприязненно содрогаясь, прикидываю: «Допустим, убьют каждого третьего, – и прыгаю глазами по списку бойцов: Амалиев, Астахов, Жариков... – Блин, Гришу убьют! – на секунду огорчаюсь и спешу дальше. – Раз, два, три... И Женю Кизякова убьют!..Раз, два три... Скворцов, Суханов... Ташевский. Я – третий», – заключаю про себя таким тоном, каким мой врач сообщил бы мне, что у меня рак мозга. «Ладно, ерунда...» – отмахиваюсь сам от себя. «Чушь какая...» – еще раз говорю себе, поживаясь от внутрисердечного ознобчика, и сдерживаю желание дать подзатыльник корпящему над листком Амалиеву. У него светло-коричневый затылок в складочку и густые черные волосы. Он заполняет каждую ведомость по сорок минут, чтобы изобразить свою необыкновенную занятость. В перерывах между писарством он крутится на кухне, ежеминутно выслушивая ругань Плохиша.

Мы вывесили календарь командировки. Честно отсчитали сорок пять дней и внизу нарисовали борт, затем автобус, полный улыбающихся рож в беретках, и, наконец, в правом нижнем углу – окраины Святого Спаса.

Прошедшие дни командировки обвели в кружочек и зачеркнули красным фломастером. Фломастер висит на веревочке, привязанной к гвоздику, вбитому в угол календаря. Под календарем спит Шея. Каждое утро первым делом Семеныч говорит:

– Сынок, зарисуй!

В это время появляется Плохиш с чаном супа и с дрожью в голосе комментирует:

– Сорок пятый день буду зачеркивать я, последний оставшийся в живых.

Или еще что-нибудь вроде:

– Семеныч! Я компот пока не буду готовить. Компот на поминки...

Сегодня Плохиш пришел в натуральном раздражении. Хлопнул дверью и с порога орет:

– Чего облизываетесь, кобели? Сгущенку в меню увидели? Не будет вам сгущенки! Амалиев ее на броник обменял!

Поначалу никто не поверил.

Плохиш грохнул чан на пол, налил себе супа и стал хмуро поедать его.

– Ну родит же земля таких уродов! – воскликнул он и стукнул ложкой о стол.

– Чего случилось, поваренок? – выразил Шея интерес коллектива.

Плохиш еще раз повторил, что вчера вечером Амалиев обменял у солдатиков, заезжавших к нам, двадцать банок сгущенки на броник.

– А куда он свой дел?

– Да куда, – пояснил Плохиш. – Ему Семеныч вчера сказал, что он тоже на зачистку пойдет, и Амалиев решил, что два броника надежнее, чем один. Идите посмотрите на это чудо, он там по двору ходит. Думает, его из пушки теперь не пробьешь.

Мы вываливаем на улицу.

– О, Анвар... – ласково говорит Язва. – Доброе утро. Ты куда вырядился?

Парни посмеиваются. На низкорослом и нелепом Анваре сфера, два броника: один, плотно затянутый на пухлых телесах нашего товарища, а поверх – другой, с обвисшими распущенными ляжками. На броники натянут бушлат, который Анвар пытается застегнуть хотя бы на одну пуговицу. Тщетность попыток усугубляется тем, что его и так короткие руки совершенно потеряли способность сгибаться в локтях.

Увидев нас, Анвар, подобный большому жуку, разворачивается и удаляется на кухню.

– Ну куда же ты, мимолетное виденье? – зовет его Язва.

– Идите есть! – досадливо приказывает появившийся вслед за нами Семеныч, а сам отправляется в убежище Анвара.

Мы завтракаем без сладкого, вернувшийся Семеныч радуется нас второй зачисткой. Пойдем зачищать несколько сельских домов и хрущевки, торчащих неподалеку от школы.

Иду в туалет покурить, обдумать новость. Стою у раковины, стряхиваю пепел на желтую растрескавшуюся эмаль.

Мысли, конечно, самые бестолковые: вот-де нам на первой зачистке повезло, на второй точно не повезет. А еще если чичи паленые трупы нашли... Теперь наверняка только и дожидаются, когда мы выйдем...

– Аллах акбар! – орет Плохиш, входя в туалет.

– Воистину акбар! – отвечает ему кто-то с толчка.

Плохиш, подскочив, перегибается через железную дверцу, прикрывающую нужник, громко шлепает кого-то по бритой голове ладонью.

– Плохиш, сука, оборзел? – вопрошает ударенный Столяр, узнаю я по голосу.

Пацаны смеются.

«Ну дурак!» – думаю я весело.

Спасибо Плохишу, отвлек.

Вышел из туалета, столкнулся с тем самым чином, что не помню в какой раз уже приезжает. Присматривает, что ли, за нами?

– Кто это? – спрашиваю у Шеи.

– Подполковник, – отвечает он кратко, торопясь мимо меня с рулоном бумаги. У пацанов никак не кончается их расстройство. Бойцы на всякий случай клянут Плохиша. Тот честно соглашается, что мочился в чан со щами, чтоб не скисли.

Чин поднимается на второй этаж с Семенычем, что-то объясняет нашему командиру. Куцый сделал внимательное лицо, хотя я по его виду чувствую, что он сам себе башка. Чин, впрочем, вроде бы приемлемый мужик. Зачем он только дырку провентил для еще одной звезды, непонятно. Может, «комок» с чужого плеча? Но с каких это пор подполковникам камуфляжа не достается? В общем, плевать.

Когда мы построились во дворе, из кухоньки выполз Амалиев и тоже встал в строй, на свое привычное последнее место. Он по-прежнему в двух брониках, только без бушлата. На броники натянута разгрузка. Две гранаты, что топорщатся в нагрудных карманах разгрузки, делают Анвара похожим на пухлую малогрудую свежесбрившуюся тетю. С его круглого плеча все время скатывается «калаш».

– Мы будем зачищать жилые квартиры, – говорит Семеныч. – Детали работы определим на месте. Предупреждаю сразу: в квартирах ничего не брать! Мародерства быть не должно!.. Женщин не трогаем, по этому поводу, думаю, никого предупреждать не надо. Всех мужиков собираем, рассаживаем в «козелки» и ак-ку-рат-но, в полной сохранности довозим сюда. Вопросы есть?

– Амалиев интересуется, можно ли трогать мужиков? – спрашивает Плохиш, чистящий возле своей каморки картошку. Естественно, что Амалиев ничем не интересовался. Шутовство на тему однополой любви – один из самых любимых способов Плохиша доводить Анвара до истерики.

Выходит подпол, прохаживается возле строя, негромко спрашивает у Андрюхи Суханова:

– А почему без бронежилета? Без сферы?

Андрей Суханов по прозвищу Конь, метр девяносто ростом, прокачанный, белотелый, надел камуфляжную куртку на голое тело, через плечи запустил пулеметные ленты, на правое плечо повесил ПКМ. Сферу тоже не стал надевать, положил ее в ноги. Она лежит на битом асфальте двора, как мяч.

– Есть вопрос, Семеныч! – говорит Шея, игнорируя подпола (то есть не испросив у него разрешения обратиться к Куцему). – Может, не будем сферы надевать?

Парни одобрительно загудели.

– И броники тоже! – добавляет Язва.

Семеныч подходит к подполу, перекидывается с ним парой слов.

– По желанию, – громко говорит Семеныч.

Все снимают с себя сферы и броники. Семеныч тоже. Остаемся в камуфляже и в разгрузках.

Только Анвар не снял ни один из своих броников.

До жилого сектора бежим легкой трусцой, Анвар постоянно отстает.

– Анвар, может, мы тебя засыплем ветками, а на обратном пути заберем? – язвит Гриша.

На подходе к жилому кварталу разделяемся на две группы. Семеныч с двумя отделениями уходит на правую сторону улицы. Мы остаемся под руководством Шеи на левой.

В первом же сельского типа доме обнаруживаем вполне пристойную обстановку. Телевизоры, диваны, ковры...

Кто-то тянется к магнитофону.

– Ничего не трогать! – орет Шея.

Все топчутся в нерешительности.

На кухне находим мешок арахиса. Пока Шея не видит, рассыпаем арахис по карманам.

– Мужики, может, отравленный? – сомневается кто-то.

– Давай Амалиева угостим? – предлагает Гриша.

– Да ладно, хватит херней страдать! – говорит Астахов, зачерпывает горсть арахиса и засыпает в рот. Мы сосредоточенно смотрим, как он жует.

– О, а тут еще подвал! – говорит кто-то.

Открываем, светим фонариками. Хасан лезет вниз. За ним Шея.

– Мужики, тут бутылка вина! – кричит Хасан. Мы не успеваем обрадоваться, как раздается короткий чавкающий звук. Нам, нагнувшись вниз, овеивает лица терпкий запах алкоголя.

– Я же сказал: «Ничего не трогать!» – повторяет комвзвода и возвращает автомат с подмоченным прикладом на плечо.

– Мужики, никому не хочется плюнуть на Шею? – предлагает Язва, чья голова в числе прочих склонилась над лазом в подвал.

Шея вылезает первым и выходит на улицу. За ним появляется Хасан, спрашивает глазами: «Ушел?» – и вытаскивает наверх мешок с сушеными фруктами.

Через пару минут вываливаем на улицы, у всех полны рты орехов и прочих вкусностей. Присаживаемся во дворике покурить. Появляется Семеныч с парой ребят.

– Как дела?

– Курим вот.

– Ничего не брали?

– Ты ж сказал, Семеныч!

Молчим. Семеныч смотрит на дома.

– Чего ешь-то? – спрашивает у Язвы.

– Да вот, орешки.

Семеныч подставляет широкую красивую ладонь. Язва щедро отсыпает. Все иронично смотрят на Куцего. Тот жует, потом на мгновение прекращает шевелить челюстями:

– Чего уставились?

– Ничего, – пожимает плечами тот, на ком остановил взгляд Куцый. Все начинают смотреть по сторонам.

Через десять минут оцепляем первые хрущевки. Находим место наблюдателям и снайперу, чтобы смотрели за окнами, проверяем связь – и вперед.

Первый подъезд, первая дверь. Стучим... Тишина. Шея бьет ногой, дверь слетает, как картонная.

Ходим по квартире, будто только что ее купили, – новые наглые хозяева. Везде пусто. На полу валяются какие-то лоскуты. В зале на желтых обоях написано «Русские – свиньи». «Русские» с одним «с».

В следующей квартире открывает дверь женщина. Напугана... или скорей изображает, что напугана. В квартире еще одна женщина, по лицу угадываю, что младшая сестра открывшей. Обе говорят без умолку – они ни при чем, мужья уехали с детьми в Россию, а они сторожат квартиры... Через минуту все перестают их слушать. Разве что Саня Скворец смотрит на женщин с изумлением. Чувствую, что ему хочется успокоить их, сказать, что все будет хорошо. Только он нас, остолопов, стесняется.

Шея деловито лазает по шкафам на кухне.

Амалиев, доселе стоявший у входа, бочком входит и начинает поднимать крышки кастрюль на плите. В кастрюлях суп и каша. Скворец, пошлявшийся по залу, хватается семейный альбом, лежащий за стеклом объемного серванта.

Одна из женщин почему-то начинает плакать.

Скворец часто поднимает на нее глаза и, не глядя, листает альбом.

– Ну-ка, стой! – тормозит бездумное движение его пальцев Язва. – Отлистни-ка страничку!

Парни быстренько сходятся, чтоб посмотреть на заинтересовавшую Язву фотку.

На поляроидной карточке изображена та из сестер, что плачет, в обнимку с каким-то бородатым парнем. Может, муж, может, брат, может, дружок. На плече у него висит «калаш». Морда наглая, ухмыляется.

– Кто это? – спрашивает Гриша.

Женщина начинает плакать еще громче.

Шея берет тетку за локоть и уводит ее в ванную.

Старшая сестра рвется было за ней, но ее усаживают на стул. Она делает еще одну нервную попытку подняться и получает звонкий удар ладонью по лбу.

Скворец в каком-то мандраже начинает открывать двери шкафа. Последняя дверь не сразу поддается, Саня дергает сильнее, и на него вываливается из шкафа человек. Кто-то из наших сдуру щелкает затвором, хотя стрелять явно не в кого: выпавший из шкафа оказывается стариком лет семидесяти.

Его обыскивают, хотя сразу видно, что в обвисших штанах на резинке и до пупа расстегнутой грязно-белой рубаше оружия не спрячешь.

– А чего вы его засунули? – удивляется Хасан, толкая старшую сестру. Она быстро, пережегая русские слова с чеченскими, начинает говорить, что солдаты убивали всех, изнасиловали соседку прямо в подъезде, и деда ее застрелили и бросили из окна, и еще что-то, – полный беспредел творили злые «срочники», даже всех чеченских пацанов перестреляли. И вот за старика, за отца, она тоже боится.

Появившийся из ванной Шея велел забрать обнаруженного старикана с собой.

– А бабу? – предложил Язва.

– Да хули ее тащить, здесь у каждой второй муж воюет... – ответил Шея.

– Может, она и вправду не знает, где он, – добавил он, подумав.

– Вот если ее за ноги подвесить, то она вспомнит где, – отвечает Язва. – Или хотя бы по каким дням он заходит домой за хавкой.

– А где ее подвесить? – спрашивает Шея.

– Да прямо в «почивальне».

– Семеныч не даст.

Непонятно, шутят они или не совсем.

– Не, давай вернемся, – останавливается Язва уже на лестнице. – Пойдем ее... уломаем поговорить на предмет местонахождения супруга, – теревит он Шею. – Я там пассатижи видел. И утюг. Все для ответственной беседы.

– Хорош! – одергивает его взводный.

Другие квартиры в доме пусты. Кое-где стоит старая обычная мебель, раскрытые шкафы с пустыми вешалками, разбитые телевизоры, кресла с выданным нутром.

Останавливаемся покурить на одной из лестничных площадок. И тут Амалиев, оставленный ниже этажом на площадке с начисто вынесенным окном наблюдать за улицей и домами напротив, передает по рации:

– Вижу движение вооруженных людей!

Сыпемся по ступеням к Амалиеву. Шея орет матом, чтоб не грохотали, не суетились, не светились и вообще на хер заглохли все. Комвзвода осторожно присаживается возле бледного Амалиева.

– Где? – спрашивает он почему-то шепотом.

– Вон, на третьем этаже!

Шея приглядывается.

– Может, обстреляем? – шепотом спрашивает взводный.

– Не надо, они уйдут... – говорит Амалиев и оборачивается на парней, чтобы его поддержали.

– Не, надо обстрелять, – задумчиво говорит Шея, глядя в бинокль.

Стоит тяжелая пауза, все щурятся и смотрят на противоположные дома.

– Вот Семеныч руками машет, – продолжает Шея, – сейчас мы его обстреляем...

– Какой Семеныч? – удивляется Амалиев.

– Ты не в артиллерии служил, Анвар? – начинает первым смеяться Язва. – Из тебя бы вышел офигенный наводчик!

Анвар разглядел наших на другой стороне улицы.

Через десять минут мы собираемся возле зачищенного дома. Группа, отправившаяся с Семенычем, задержала двух побитых жизнью чеченцев трудноопределимого возраста. Ну, лет за сорок, наверное, каждому. Рядом с нашими – два в высоту, полтора в плечах – добрыми молодцами чичи смотрятся как шкеты. Спортивные штаны с отвисшими коленями усугубляют вид.

Вызываем с базы приданные нам «козелки», чтобы отвезти добычу.

Усаживаем чеченцев в машины, на задние сиденья: двоих – в один «козелок», задержанного нами старика – во второй. Язва едет старшим.

Я по приказу Шеи усаживаюсь рядом с водителем во втором «козелке». Со мной Скворец, все время поглядывающий на чеченского старика.

Мы трогаемся, проезжаем всего метров сто, и я вдруг понимаю, что у меня разом откатали все органы, что мой рассудок сейчас двинется и покатится, чертыхаясь, назад, к детству, счастливый и дурашливый. В нас стреляют. Откуда я не увидел. Почему-то мне показалось это совершенно неинтересным. Я зачарованно взглянул на дырку в брызнувшей мелким стеклом лобовухе. Потом, неожиданно для себя самого, ловко открыл дверь, вывалился на дорогу, одновременно снимая автомат с предохранителя, и в несколько кувырков скатился к обочине, в кусты.

Оборачиваюсь назад: Санька Скворец сидит за машиной на корточках и вертит головой. Возле машины лежит, поджав ноги, дед-чеченец.

Водителя не видно.

«Козелок», ехавший впереди нас, снесло на противоположную обочину; из парней, бывших в нем, я тоже никого не вижу.

Куцый вызывает по рации меня и Язву. Тянусь к рации, чтобы ответить, и слышу, как Язва отвечает первым, чуть срывающимся голосом:

– На приеме!

– «Семьсот десятый» на связи! – кричу и я.

Семеныч немедленно отвечает:

– Займите позицию и не высовывайтесь! Стреляют из домов впереди вас!

«Займите позицию...» – передразниваю я Куцего и ловлю себя на мысли, что меня все происходящее как-то забавляет, кажется веселым, неестественным. Война началась уже, а я все еще жив! Значит, все замечательно! Все просто чудесно! Только руки дрожат...

Я поворачиваю голову к Скворцу, машу ему рукой.

«Ляг!» – показываю. Он не понимает.

– Саня, ляг!

Чеченцы стреляют очередями откуда-то спереди. Я вижу, как несколько пуль попадает в машину, одна разбивает зеркало заднего вида.

«А если взорвется? – думаю. – В кино машины взрываются...»

Саня, тоже понимая, что в машину стреляют, дергается, не знает, куда деться.

– Давай сюда! – кричу.

Санька привстает на колени и, зажмурившись, в два прыжка летит ко мне.

– Водюк где? – спрашиваю.

– В канаве лежит с той стороны.

Кусты, в которые мы завалились, – негустые: ближний, тот, что справа, дом нам хорошо виден. Он безмолвен.

«А если б стреляли оттуда? – думаю я. – А если сейчас начнут стрелять?»

Смотрю на дом с таким напряжением, что, кажется, вот-вот там лопнет оконное стекло.

– Наблюдай за домом! – говорю Сане. Сам разворачиваюсь в сторону дороги, укладываюсь поудобнее, упираюсь рожком автомата в землю, охватываю цевье. Плечо чувствует приклад, все в порядке.

Поднимаю голову – что там у нас? Откуда стреляют?

Ничего не соображаю, глаза елозят поспешно...

И тут у меня едва затылок не лопається от страха: явственно вижу, что стрельба ведется с чердака дома, находящегося по диагонали, метров за пятьдесят от нас и метров за тридцать от первого «козелка».

Конечно же, я подумал, что стреляют прямо в меня, и ткнулся рожей в землю, блаженно ощутив щекой ее мягкость и сырость. Пролежав несколько секунд, догадываюсь, что нет, стреляли не в меня – палят прямо в «козелок», в котором ехал Язва. С крыши ту машину очень хорошо видно.

Прицеливаюсь. Получается плохо. Даю несколько длинных очередей по дому, по чердаку. Закрываю глаза, пытаюсь унять дикую дрожь в руках, понимаю, что это бесполезно, и снова стреляю.

Кто-то начинает стрелять сзади нас с Санькой. На малую долю секунды я подумал, что – в нас, что – с обеих сторон, что – всё на хер. Так и подумал: «Всё на хер», – и снова голову в землю вжал и укусил ее от страха.

– Наши подошли! – шепчет мне Скворец.

Оборачиваюсь и вижу Куцего, он запрашивает меня по рации, глядя на меня. Вытаскиваю рацию из-под груди.

– Целы?! – кричит Куцый.

– Мы целы! Я и Скворец! Оба! Водитель – не знаю!

Куцый запрашивает Язву:

– Целы?

Язва молчит.

Раздаются один за другим несколько взрывов около дома, из которого палят чичи.

«Пацаны гранаты кидают!» – догадываюсь я.

– Всё нормально, Семеныч! – откликается наконец Язва. – Лежим под забором, как алкаши...

К нам подползает Кеша Фистов, снайпер. Смотрит в прицел на чердак. Я оборачиваюсь на него и вижу его открытый, левый, свободный от прицела глаз, смотрящий куда-то вбок. Кеша косой. Меня очень смешит это зрелище – косой снайпер. Даже сейчас смешит. Стать снайпером ему предложил Язва на общем собрании, еще в Святом Спасе, когда мы выбирали себе медбрата, повара, помощника радиста. Речь зашла и о снайпере, которого в нашем взводе еще не было.

«А пускай Кеша будет снайпером! – задумчиво предложил Язва. – Он даже из-за угла сможет метиться!»

Кеша хоть и не умел целиться из-за угла, но винтовку освоил быстро.

– Ну как, Кеш? – спрашивает подбежавший Семеныч, и одновременно с его вопросом Кеша спускает курок.

– Куда палишь-то? – интересуется Семеныч, привстав на колено, не пригибаясь, и я слышу по его грубому голосу, что он спокоен и не волнуется.

– А в чердак, – отвечает Кеша.

Вместе с Семенычем подбежал Астахов, держит в руках «Муху».

– Дима! – говорит Семеныч Астахову. – Давай. Надо только, чтобы пацаны от дома отползли.

Семеныч вызывает Язву:

– Гриша, давай отходи к нам, мы прикроем!

Мы непрерывно лупим по чердаку, по дому, по окнам и по соседним домам тоже.

Пацаны с другой стороны дороги стреляют по диагонали, в дом, где засели чичи. Жестко, серьезно бьет ПКМ Андрюхи Коня. Прицельно стреляет улегшийся рядом со мной Женя Кизяков. Я замечаю, что у него совершенно не дрожат руки.

– Пацаны у нас! – передает Шея с той стороны дороги.

– Всё? – спрашивает Семеныч.

– Всё! И Язва со своими, и водюк из второго «козелка» тоже!

– Давай, Дим! – Семеныч пропускает вперед себя Астахова, сам отодвигается вбок, чтобы «трубой» не опалило.

Астахов встает рядом со мной на колено, кладет трубу на плечо, прилаживается.

– Ну-ка уйди, – пинаю я Скворца, лежащего позади Астахова, – а то морда сгорит!

Раздается выстрел, заряд бьет в край чердака, все покрывается дымом.

Когда дым рассеивается, мы видим напрочь снесенный угол чердака, его темное пустое нутро.

– Как ломом по челюсти, – говорит Астахов.

С другой стороны дороги наш гранатометчик бьет во второй дом. Первый раз мимо, куда-то по садам, второй – попадает. Мы лежим еще пару минут в тишине. Никто не стреляет.

– Выдвигаемся к домам! – командует Семеныч.

Бежим вдоль домов двумя группами по разные стороны дороги. Нас прикрывают Андрюха-Конь и еще кто-то, запуская короткие очереди в чердаки.

Перескакиваем через забор, рассыпаемся вокруг дома, встаем у окон.

Стрельба прекращается, и я слышу дыхание стоящих рядом со мной.

Семеныч бьет ногой в дверь и тут же встает справа от косяка, прижавшись спиной к стене.

Раздается характерный щелчок, в доме гроыхает взрыв. Лопается несколько стекол.

Саня, стоящий возле окна (плечо в стеклянной пудре), вопросительно смотрит на меня.

– Растяжку поставили, а сами через чердак сбежали! – говорю.
Семеныч и еще пара человек вбегают в дом. Я иду четвертым.

Дом однокомнатный, стол, стулья валяются, на полу битая посуда. В правом углу – лестница на чердак. Лаз наверх открыт.

– Посмотри, – кивает мне Семеныч.

Делаю два пружинящих прыжка по лестнице, поднимаюсь нарочито быстро, зная, что, если я остановлюсь, мне станет невыносимо страшно. Выдергиваю чеку, кидаю в лаз, в бок чердака, гранату, эргээнку. Спрыгиваю вниз, инстинктивно дергаюсь от грохота, вижу, как сверху сыплется мусор, будто наверху кто-то подметал пол, а потом резко ссыпал сметенное в лаз.

Снова поднимаюсь по лестнице, высовываю мгновенно покрывшуюся холодным потом голову на чердак, предельно уверенный, что сейчас мне ее отстрелят. Кручу головой – пустота.

Поднимаюсь. Подхожу к проему, развороченному выстрелом Астахова, – здесь было окошко, из которого палили чичи. Вижу, как из дома напротив мне машет Язва. Они тоже влезли наверх.

В противоположной стороне чердака выломано несколько досок.

– Вот здесь он выпрыгнул! – говорит Астахов.

В прогал видны хилые сады, постройки. Дима дает туда длинную очередь.

– Вдогон тебе, блядина!

Пацаны в доме напротив дергаются, Язва приседает. Я машу им рукой – спокойно, мол.

– Дима! Хорош на хрен палить! – орет Семеныч, в лазе чердака появляется его круглая голова. – Пошли!

– А у нас тут мертвяк! – встречает нас Язва во дворе дома напротив.

– Боевик? – спрашивает Астахов.

Гриша ухмыляется, ничего не отвечает.

– Мы его вниз с чердака сбросили, – говорит он Семенычу.

Мы подходим, от вида трупа я невольно дергаюсь.

Чувствую, что мне в глотку провалился хвост тухлой рыбы и мне его необходимо изрыгнуть. Отворачиваюсь и закуриваю.

В глазах стоит дошлое, будто прокопченное тельце со скрюченными пальцами рук, с отсутствующей, вспузырившейся половиной лица, где в красном месиве белеют дробленые кости.

Астахов подходит в упор к трупу, присаживается возле того, что было головой, разглядывает. Я вижу это боковым зрением.

– Дим, ты поройся, может, у него зубы золотые были, – предлагает Астахову Язва, улыбаясь.

– Мужики, это ж пацан! – восклицает Астахов. – Ему лет четырнадцать!

– Все собрались? – оглядывает парней Семеныч. – Шея! Костя! Не расслабляйтесь, выставьте наблюдателей... Ну что, все целы? Никого не задели?

Мы возвращаемся к машинам.

В первом «козелке» с вдрызг разбитой лобовухой сидят два чеченца – те самые, которых мы везли на базу. Оба мертвые. Вся кабина в крови, задние сиденья сплошь залиты.

У второго «козелка» все на том же месте валяется старичок, живот щедро замазан красным; остывает уже.

– Четыре – ноль, – смеется Язва.

– Вот бы так всегда воевать, чтоб чичи сами друг друга расхерачивали! – говорит Астахов.

– Сплюньте! – отвечает им Семеныч.

VI

Чищу автомат, нравится чистить автомат. Нет занятия более умиротворяющего.

Отсоединяю рожок, передергиваю затвор – нет ли патрона в патроннике. Знаю, что нет, но, однажды забыв проверить, можно угробить товарища. В каждой армейской части наверняка хоть раз случалось подобное. «Халатное обращение с оружием» – заключит комиссия по поводу того, что твой однополчанин дембельнулся чуть раньше положенного и уже отбыл в гробу на свою Тамбовщину или Смоленщину с дыркой во лбу.

Любовно раскладываю принадлежности пенала: протирку, ершик, отвертку и выколотку. Что-то есть неизъяснимо нежное в этих словах – уменьшительные суффиксы, видимо, влияют. Вытаскиваю шомпол. Рву ветошь.

Снимаю крышку ствольной коробки, аккуратно кладу на стол. Нажимаю на возвратную пружину, извлекаю ее из пазов. Затворная рама с газовым поршнем расстается с затвором. Следом ложатся на стол газовая трубка и цевье. Скручиваю пламегаситель. Автомат становится гол, легок и беззащитен.

«Скелетик мой...» – думаю ласково.

Поднимаю его вверх, смотрю в ствол.

«Ну ничего... Бывает и хуже».

Кладу автомат и решаю, с чего начать. Верчу в руках затворную раму, пламегаситель, возвратную пружину... Всё грязное.

Приспускаю возвратную пружину, снимаю шляпку с двух тонких грязных жил, мягко отпускаю пружину. Разобрать возвратный механизм, а потом легко его собрать – особый солдатский шик. Можно, конечно, и спусковой механизм извлечь, сделать полную разборку, но сегодня я делать этого не буду.

Большим куском ветоши, щедро обмакнув его в масло, прохожусь по всем частям автомата. Я даже себя так не мою.

В отверстие в шомполе продеваю кусочек ветоши, аккуратно, как портянкой, обкручиваю кончик белой тканью. Лезу в ствол. Шомпол застревает: много накрутил ткани. Переворачиваю ствол, бью концом шомпола, застрявшим в стволе, об пол. Он туго вылезает с другой стороны ствола, на его конце, как флаг баррикады, висит оборванная черная ветошь...

Автомат можно чистить очень долго, к примеру, весь световой день. Когда надоест, можно на спор найти в автомате товарища грязный уголок, ветошью, насаженной на шомпол, ткнувшись туда, где черный налет трудно истребим, в какие-нибудь закоулки спускового...

Пацаны, как всегда, смеются чему-то, переругиваются.

Язва, хорошо пострелявший, покидал все донельзя грязные механизмы автомата прямо в банку с маслом. Задумчиво копошась ветошью в «калаше», прикрикивает на дурящих пацанов:

– Не мешайте мне грязь равномерно по автомату размазывать...

Кто-то из пацанов, устав копошиться с ершиками и выколотками, делает на прикладе зарубку. Дима Астахов делает две зарубки.

– Хорош, эй!.. – говорю я. – Сейчас вам Семеныч сделает зарубки на задницах... Автоматы казенные.

Женя Кизяков аккуратно вырисовывает ручкой на эрдэшке жирную надпись: «До последнего чечена!»

– А вы знаете, какая кликуха у нашего куратора? – говорит Плохиш.

– Какая?

– Черная Метка. Он куда ни попадет, там обязательно что-то случается. То в окружение отряд угодит, то в плен, то под обстрел. Все гибнут, – заключает Плохиш и обводит парней беспредельно грустным взглядом. – Ему одному хоть бы хны.

Плохиш затеял разговор не случайно – завтра наш отряд снимается на сопровождение колонны, чин едет с нами. Тут остаются лишь Плохиш с Амалиевым, начштаба и ровно столько бойцов, чтоб хватило выставить посты на воротах и на крыше.

Десять машин уже стоят во дворе. Десять водил ночуют у нас.

Собираем рюкзаки: доехав, дай-то Бог, до Владикавказа, ночь мы должны переждать там.

Парни, несмотря на новости от Плохиша, оживлены. Почему хорошие мужики так любят куда-нибудь собираться?

На улице полил бешеный дождище, и посту с крыши пришлось спрятаться в здание – переждать. Но через полчаса Семеныч заставил пацанов вернуться обратно на крышу и отмокать там.

Полночи лило.

Наутро мы – Язва, Скворец, Кизя, Астахов, Тельман, я и двое саперов – встаем раньше остальных, в полпятого утра. Надо дорогу проверить – вдруг ее заминировали за ночь. Черная Метка приказал, будь он неладен.

Хмурые, оделись мы, вышли в коридор. Филя, весело размахивающий хвостом, был взят в компанию. Каждый, кроме Язвы, посчитал важным потрепать пса по холке.

– Вы куда собрались-то? – интересуется Костя Столяр, его взвод дежурит на крыше.

Никто не отвечает. Хочется состричь, но настроения нет.

Костя посмотрел на саперов с миноискателями, увешанных крюками и веревками – для извлечения мин, и сам все понял.

– Одурели, что ли? – спрашивает Костя. – Пятнадцать минут назад стреляли.

– Откуда? – спрашиваем.

– Из хрущевок, откуда.

Подтянутый, появляется Черная Метка.

– Готовы? – интересуется.

– Темно на улице... – говорит сапер Федя Старичков. – Я собаку свою не увижу!

Филя крутится у ног Феде, словно подтверждая правоту хозяина.

Черная Метка смотрит на часы, хотя наверняка только что видел, что там со стрелками.

– Колонна должна выйти через пятьдесят пять минут, – отвечает он.

– И стреляли недавно... – говорит Астахов.

Черная Метка, не глядя на Астахова, говорит Язве как старшему:

– Давай, прапорщик, не тяни.

– Сейчас перекурим и пойдем, – отвечает Язва.

Пацаны молча дымят. Я тоже курю, глубоко затягиваясь.

Открываем дверь, вглядываемся в слаборазбавленную темень.

Идем к воротам с таким ощущением, словно там, дальше, – обрыв. И мы туда сейчас попадаем.

За воротами расходимся по трое в разные стороны дороги, поближе к деревьям, растущим вдоль нее.

Двое саперов остаются стоять посреди дороги возле наполнившихся за ночь водой канав и выбоин. Лениво поводят миноискателями.

Филя, получив команду, дважды обегает вокруг самой большой лужи, но в воду, конечно, не лезет.

Прижимаюсь спиной к дереву, поглядывая то на саперов, то в сторону хрущевок.

«Что я буду делать, если сейчас начнут стрелять?.. лягу около дерева...»

Дальше не думаю. Не думается.

Один из саперов, подзвав Скворца, отдает ему свои веревки с крюками и, шепотом выругавшись, медленно вступает в лужу.

Внимательно смотрю на происходящее. Ей-богу, это забавляет.

Сапер ходит по луже, нагоняя мягкие волны.

Тихонько передвигаясь, прячусь за дерево.

Сделав несколько кругов по луже, сапер, хлюпя ботинками, выходит из воды и вступает в следующую лужу.

Касаюсь ладонью ствола дерева, чуть поглаживаю, поцарапываю его.

Слабо веет растревоженной корой.

Пацаны стоят возле деревьев, словно пристывшие.

Саперы, еле слышно плеская густо-грязной водой, ходят в темноте по лужам, как тихо помешанные мороки.

Противотанковые мины таким вот образом, шляясь по лужам, найти можно, и они не взорвутся: вес человека слишком мал. Что касается противопехотных мин, то даже не знаю, что по этому поводу думают саперы. Наверное, вовсе стараются не думать.

Ворота базы уже далеко, и с каждым шагом становится все более жутко. Может быть, мы передвигаемся на прицеле людей, с удивлением наблюдающих за нами?

Последние лужи возле начинающегося асфальта саперы осматривают спешно, несколько нервозно.

– Всё! – говорит кто-то из них, и мы почти бегом возвращаемся.

Скрипят ворота, шмыгаем в проем. Переводим дух, улыбаясь. Тискаем очень довольного Филю.

Блаженно выкуриваем в школе по сигарете. Пацаны уже поднялись и собираются.

Переталкиваясь, получаем пищу, завтракаем.

Подтягиваем берцы и разгрузки. Черная Метка подгоняет нас.

Плохиш, похожий одновременно на бодрого деда и на школьника-второгодника, сидя на лавочке у школы, дурит.

– Саня! – зовет он выходящего Скворцова. – Может, исповедуешься Монаху?

– Я безгрешен, – буркает Скворец.

– Ну конечно... – строго смотрит Плохиш. – А кто рукоблудием ночью занимался? Ну-ка быстро руки покажи!

– Да пошел ты...

– Ладно, брат, до встречи! – примирительно говорит Плохиш. – Все там будем!

Следом за Саней выходит Дима Астахов.

– До встречи, брат! – говорит Плохиш и ему.

За Димкой топают братья-близнецы Чертковы – Степан и Валентин.

– Давайте, братки, аккуратней. Смотрите, не перепутайтесь...

– Берегите спирт, дядя Юр! – напутствует Плохиш и нашего доктора, и всех идущих за ним, говорит, улыбаясь: – До встречи! До свидания, братки!.. А ты, Семеныч, – прощай...

– Тьфу, дурак! – говорит Семеныч без особого зла и три раза плюет через плечо.

...Машины прогревают моторы, водители суетятся, поправляют броники, висящие на дверях.

Наши пацаны рассаживаются по одному в кабины. Оставшиеся – на броню пригнанных бэтээров.

Выбираю себе место на броне ровно посередине, спиной к башне.

«Если расположиться полулежа, то сидящие с боков в случае чего прикроют меня», – цинично думаю я.

Приходит Шея, сгоняет меня и усаживается на мое место. Огрызаясь, перемещаюсь к краю.

Солнышко начинает пригревать, доброе такое солнышко.

Семеныч лезет на наш бэтээр, мы пойдем замыкающими.

На первом бэтээре сидит Черная Метка, его, как выяснилось, Андрей Георгиевич зовут. Внимательно смотрит на пацанов.

Открываются ворота, бойцы, стоящие на воротах, салютуют нам, ласково ухмыляясь. Урча, выползает первый бэтээр, следом вырывают машины. Мягко ухая в лужи, колонна выбирается на трассу...

Я уже люблю этот город.

«Первые руины Третьей мировой источают тепло...» – шепчу я, впад в лирическое замешательство. Птиц в самом городе нет. Наверное, здесь очень чистые памятники. Если они еще остались...

Ближе к выезду из Грозного начинаются сельские постройки. За деревянными некрашеными заборами стоят деревья, подрагивают ветки. Как, интересно, чувствуют себя деревья во время войны?

Задумываюсь о чем-то... Прихожу в себя, обнаружив, что неотрывно смотрю на Монаха, сидящего неподалеку. Так неприятно, что он едет с нами!.. Вот Саня Скворец рядом, это хорошо. Андрюха Конь держит в лапах пулемет. Женя Кизяков, Степка Чертков – один из братьев-близнецов (Шея до сих пор Степку путает с Валькой, поэтому отправил Валю в кабину одной из машин), Слава Тельман – охранник Семеныча, Кеша Фистов косит себе, Дима Астахов «Муху» гладит... все такие родные. Семеныч опять же, доктор дядя Юра... и тут Монах. На кой хрен он поехал в командировку?

«А чего я взелся на него? – думаю тут же. – Может, он... может, он меня от смерти спасет». Ну чего я еще могу подумать.

Трасса лежит посреди полей. Поля вызывают умиротворенные чувства – здесь негде спрятаться тем, кому вздумалось бы стрелять в нас.

Какое-то время я смотрю на одинокое дерево посреди поля, почему-то мне кажется, что там, на дереве, сидит снайпер. Пытаюсь его высмотреть.

«Что за дурь, – смеюсь про себя. – Так вот он и сидит в чистом поле на дереве, как Соловей-разбойник...»

Хочу прикурить, но колонна идет быстро, ветер тушит первую спичку, и я откладываю перекур на потом.

Поля сменяются холмами. Мы выезжаем на мост.

– Это Терек? – спрашивает у Хасана Женя Кизяков.

– Сунжа, – отвечает Хасан. – Терек далеко, – и неопределенно машет рукой.

Сунжа медленно и мутно течет. До воды не доплунуть. Повертев слюну во рту, сплевываю на дорогу. Плевков уносит ветром.

«Еще будет высыхать моя слюна на дороге, а я уже буду мертв и холоден», – думаю я. Постоянно такие глупости приходят в голову. Самому же дурнотно от собственных размышлений, хочется провести рукой по голове, по лицу, как-то смахнуть эту ересь... Морщу лоб, хочу еще раз плюнуть, но передумываю.

Солнце стоит слева. Кончается асфальт, начинается проселочная дорога, выложенная по краям щебнем.

Скворец толкает меня в плечо: впереди горы. Надвигаются на нас, смурных, поглаживающих оружие. Даже не горы, а очень большие холмы, покрытые жухлой травкой.

Наверху одного из холмов вырыты окопы, они видны отсюда, с дороги. Кто вырыл их? Наши? Чичи? Для чего? Чтобы контролировать дорогу, наверное. Все эти вопросы могут свестись к одному: был ли здесь бой, стреляли или нет из окопов в людей – таких же людей, как мы, так же проезжавших мимо.

«Нет, вряд ли засада может выглядеть так, – решаю про себя, – окопы на самом виду... А с другой стороны – ну сидят в тех окопах человек пять, сейчас они дадут каждый по несколько очередей и убегут. Что мы, на холм полезем за ними? До этих окопов метров двести...»

Окопы между тем кончаются. Все пристально глядят на горы. Каждый хочет первым увидеть того, кто будет смотреть на нас в прицел винтовки, выстрелит...

К общей тайной радости горы вскоре сходят на нет. Снова начинаются равнины. Иногда мы проезжаем тихие малолюдные села. Дорога однообразна. Становится теплей.

Спустя пару часов минуем знак «Чечня», перечеркнутый красным. Пацаны оживляются.

Останавливаемся у рыночка, покупаем пиво, я еще и воблу. Здесь такая хорошая сладкая вобла. Измазываясь пахучим маслом, рву рыбу на части, отделяю от нее большой красный кус икры, сочащиеся ребра, голову выбрасываю. Заливаю в глотку половину бутылки пива. Еще не отняв пузырь ото рта, понимаю, что бутылки мне будет мало, разворачиваюсь, иду к лотку, покупаю еще пузырь. Наскоро куснув мяса с рыбьего хвоста и пригубив икры, допиваю первую бутылку и открываю вторую. Уж вот ее-то потяну, понежусь с ней.

Лезем на броню. Нет, на ходу пить будет неудобно. Допиваю и вторую, отбрасываю. Хорошо, что мочевого пузырь крепкий, до следующего перекура досижу. Рыба остается в кармане. Не брезгую ни карманом, способным испачкать рыбу, ни рыбой, пачкающей карман.

Догладываю хвост уже во Владикавказе, куда мы благополучно прибыли.

Мирный город, черт побери, бывает же такое.

Первым делом идем в кафе. Суетимся возле единственного меню на барной стойке – все голодные. Хасану очень хочется показать, какая кухня на Кавказе, – он рекомендует, что попробовать. Покупаем суп харчо, манты. Хасан перешептывается с Семенычем, тот кивает. В итоге на столах каждого взвода появляется еще и по бутылке водки.

– Как суп? – спрашивает Хасан жмурясь.

– Чудесный суп, – отвечаю, отдуваясь обожженным специями ртом.

Разгрузкой и загрузкой машин занимаемся сами. В машинах – мешки. Что в мешках – неясно. Пацаны, скинув куртки, оставшись в тельниках, работают. Закатанные рукава, вздувающиеся мышцами и жилами руки. Красивые вы мои, белотелые...

Хасан опять куда-то сбежал, хитрая морда.

Выхожу на улицу перекурить. По двору складов выгуливает себя незнакомый хмурый подполковник.

Выбредает откуда-то Хасан, хитро шурясь, громко спрашивает у Семеныча, стоящего неподалеку от меня:

– Разрешите обратиться, товарищ полковник!

На Семеныче надет серый рабочий бушлат без знаков различия. Семеныч в ответ Хасану улыбается одними глазами. Хмурый подполковник, услышав обращение Хасана, тут же куда-то уходит. Семеныч довольно смеется на Хасанову шутку.

Ночевали в каком-то поезде на запасных путях.

Я лежал на верхней полке, разглядывал полированный, в трещинах, потолок. Вот бы ночью на вокзале перепутали составы и отправили наш поезд домой. Раздерем поутру глаза – а там Святой Спас звонит в колокола. Здравствуй, Даша, я вернулся! Семеныча накажут, конечно, за то, что увез отряд с позиций, зато с нас спрос маленький. Мы сразу по домам разбежимся. Все живые останутся, хорошо...

Разбудил меня Андрюха Суханов – вроде легонько толкнул в плечо, но рука у него такая тяжелая, что хоть сдачи давай. Моя очередь идти на улицу, дежурить. С закрытыми глазами кряхтя сполз вниз, долго искал свои берцы, как их опознать в темноте, не нюхать же.

Ночь оказалась обширной, теплой, ароматной, как чан с супом.

Стоял и облизывался на нее.

«Хоть бы завтра что-нибудь случилось, и мы бы в Грозный не поехали... – подумал. – Раз уж не угнали состав в Святой Спас, хоть здесь поживем денек».

Три раза обошел поезд.

Ночь меня так и не насытила.

Разбудил смену и снова улегся.

«Даша, Дашенька...»

– Вылезай, конечная! Выход через переднюю дверь – проверка билетов!

Открываю глаза. Язва идет мимо с полотенцем, перекинутым через сухое плечо, голосит неприятно и скрипуче.

Пацаны жмурят рожи – солнечно. Умылись, загрузились, завелись и двинулись.

Где-то посередине города зачем-то встали. И здесь мы впервые увидели вблизи девушку, в юбке чуть ниже колен, в короткой курточке, беленькую, очень милостивую, с черной папачкой. Так все и застыли, на нее глядя.

– Я бы ее сейчас облизал всю, – сказал тихо, но все услышали, Дима Астахов.

В его словах не было никакой пошлости.

Девушка обернулась и взмахнула нам, русским парням, красивой ручкой с изящными пальчиками.

Некоторое время я физически чувствовал, как ее взмах осеняет нас, сидящих на броне.

За городом подул ветер, и все пропало.

Но когда долго едешь и ничего не случается, это успокаивает. Как же что-то может случиться, если все так хорошо?

Остановились на том же рыночке, что и по дороге во Владикавказ. Пацаны сразу разбрелись кто куда.

Я пошел на запах шашлыков. Девушка торгует, сонные глаза, пухлые ненакрашенные губы.

«Поесть шашлычков?» – думаю.

– Сколько стоят?.. Дорого...

Закурив, решаю философский вопрос: «С одной стороны, дорого. С другой – может, меня сейчас убьют на перевале, и я шашлыков не поем. С третьей – если меня убьют, чего тратиться на шашлык? С четвертой...»

– Чего смотришь? – спрашивает девушка-продавец. – Скоро твои глаза не будут смотреть... Да-да, не будут, – речь ее серьезна, голос тих, но внятен.

Улыбаюсь ей, достаю деньги, покупаю шампур с шашлыком.

Не верю ей. Она врет мне.

Вкусное мясо досталось мне, и тело мое ликует.

Хватаю здоровый горячий кус зубами, одновременно отдуваюсь, чтоб не обжечься. Жадно жую, не жалея челюсти.

Девушка так и смотрит на меня, но мне не важно ничего, когда так вкусно всё.

В середине шампура попадается особенно большой кусок. Попробовал откусить – не получается: он жилист. Сдвинул его к краю шампура, изловчившись, цапнул сразу весь, начал жевать. Долго жую, жилу никак не могу раскусить. Скулы начинают ныть так, что отдается в висках. Решаю проглотить кусок, не выплевывать же. Делаю глотательное движение, и мясо застревает у меня в горле. Пытаюсь усилием горловых мышц втянуть его в себя и не могу. Смотрю обезумевшими глазами вокруг: что делать? Я даже закричать не могу. В голове начинает душно, дурно мутиться. Сейчас сдохну, а...

Лезу пальцами в рот, хватаю торчащую из глотки, не проглоченную до конца мясную жилистую мякоть, тащу. Спустя мгновение держу в руке изжеванное мясо, длинный, изукрашенный голыми жилами ломоть. Отбрасываю его в пыль. На глазах – слезы.

Так дышать хорошо, Боже ты мой. Очень приятно дышать. Какой славный воздух... Как славно чадит бэтээр, как чудесно пахнут выхлопные газы машин...

Забравшись на броню, пою про себя вчерашнюю кабацкую ересь, под которую заснул...

На подъезде к горам настигаем автобус с детьми. Он еле едет, качаясь с боку на бок. Чеченята смотрят в заднее стекло и, кажется, кривляются.

– Семеныч, давай за автобусом держаться? – предлагает кто-то. – Не будут же чичи стрелять в колонну, когда тут их чада поблизости.

Семеныч молчит, жадно глядя на автобус, но по радиации с первым бэтээром не связывается. «Надо в заложники их взять! – думаю я. – Что же Семеныч медлит...»

Не отрываю глаз от автобуса, едва тянущегося впереди первого бэтэера. Пацаны тоже смотрят туда же. Горы уже близко, зачем же их не срыли до сих пор...

Уже началась песчаная, выложенная по краям щебнем дорога. В этом щебне легко прятать мины. Мы будем спрыгивать с горящих машин, кувыркаясь, лететь на обочину, и там из-под наших ног, упрятанных в берцы, будут рваться клочья огня. А сверху нас будут бить в бритые русые головы, в сухие кричащие рты, в безумные, голубые, звереющие глаза.

По обеим сторонам дороги вновь расплзлись жутким солнцем освещенные холмы. Пацаны вперили взоры в овражки и неровности холмов, но в самом краю зрачка многих из нас благословенно белел, как путеводная звезда, автобус.

«Всё...» – подумал я, когда автобус свернул вправо, на одну из проселочных веток.

Оглядываю пацанов: кто-то смотрит автобусу вслед, Семеныч уставился на первый бэтээр, Женя Кизяков – на горы, причем с таким видом, будто никакого автобуса и не было.

Солнце печет. Я задираю черную шапочку, открывая чуть вспотевший лоб. Несмотря на то что автобус свернул, освободил дорогу, колонна все равно еле тянется. Одна из сопровождаемых нами машин едет очень медленно. Из-за нее бэтээр и один грузовичок, идущие во главе колонны, отрываются метров на пятьдесят.

– «Восемьсот первый»! – раздраженно кричит Семеныч по радиации, вызывая Черную Метку. – Назад посмотри!

Первый бэтээр сбавляет ход.

Дышим пылью, взметаемой едущими впереди. Слышно, как натужно ревет мотор третьей, замедляющей ход колонны машины.

Переносу руку на предохранитель, аккуратно щелкаю, перевожу вниз; еще щелчок, упор – теперь, если я нажму на спусковой крючок своего «калаша», он даст злую, хотя, скорей всего, бестолковую очередь. Кладу палец на скобу, чтобы на ухабе случайно не выстрелить. Упираюсь левой ногой в железный изгиб бэтэера, чтоб было легче спрыгнуть.

Как долго... Едем долго как... Хочется слезть с бэтэера и веселой шумной мускулистой оравой затолкать машину на холм. Хочется петь и кричать, чтобы отпугнуть, рассмешить духов смерти. Кому вздумается стрелять в нас – таких веселых и живых?

Третья машина наконец взбирается на пригорок, вниз ей катиться полегче. Уже виден мост. А окопы-то на холмах я просмотрел... С другой стороны ехал потому что.

В Грозном всем становится легко и радостно.

– Не расслабляйтесь, ребята! – говорит Семеныч, хотя по нему видно, что он сам повеселел.

Въезжаем на какую-то разгрузочную базу, грузовики там остаются, мы на бэтэерах с ветерком катим домой. С трудом сдерживаюсь от того, чтоб не прочесть вслух какой-нибудь стих...

Подъезжаем к базе, а там нечаянная радость – маленький рынок открылся, прямо возле школы. Дородные чеченки, числом около десяти, жарят шашлык, золотишко разложили на лотках, пиво баночное розовыми боками на солнце отсвечивает.

– Мужики, мир! Торговля началась! – возвестил кто-то из бойцов.

Бэтэеры притормозили.

– Водка! Вобла! Во, бля! – шумят пацаны.

Возле торговки начштаба шляется с двумя бойцами, виновато на Семеныча смотрит, переживает, что не успел в школу спрятаться до нашего приезда, засветился на рынке.

Солдатики подъехали, наверное, с Заводской комендатуры, водкой закупаются.

– На рынок пока никто не идет! – приказывает Семеныч на базе.

Занимались только друг другом.

Выросший вне женщин, я воспринимал ее как яркое и редкое новогоднее украшение, трепетно держал в руках. И помыслить не мог – как бывает с избалованными чадами, легко разламывающими в глупой любознательности игрушки, – о внутреннем устройстве этого украшения, воспринимал как целостную, дарованную мне благодать.

Вели себя беззаботно. Беззаботность раздражает окружающих. Нас, бестолковых, порицали прохожие тетушки, когда мы целовались на трамвайных остановках, впрочем, целовались мы не нарочито, а всегда где-нибудь в уголке, таясь.

Трогали, пощипывали, покусывали друг друга беспрестанно, пробуждая обезьянью пра-память.

Стоя на нижней подножке автобуса, спиной к раздолбанным, позвякивающим и побрякивающим дверям, я гладил Дашу, стоящую выше, ко мне лицом, касающуюся своей большой грудью моего лица, – гладил мою девочку, скажем так, по белым брючкам. Она задумчиво, как ни в чем не бывало, смотрела через мое плечо – на тяжелые крылья витрин, взмахивающие нам вслед, на храм в лесах, на строительные краны, на набережную, на реку, на белые парходы, еще оставшиеся на причалах Святого Спаса. Покачиваясь во время переключения скоростей, я видел мужчину, сидевшего у противоположного окна, напротив нас, он держал в руках газету. В газету он не смотрел, он мучительно и предельно недовольно косился на мои руки или скорей на то, чего эти руки касались.

Сидели в парках на траве, покупали на рынке ягоды, просили рыбаков на пляже фотографировать нас. И потом, проявив в ателье, разглядывали эти фотографии, удивляясь неизвестно чему – своей нестерпимой юности.

Любящие – дикари, если судить по тому, как они радуются своим амулетам.

Дикари, знающие и берегущие свое дикарство, мы не ходили в кинотеатры, телеви не включали, не читали газет. Мы обучались в некоем университете, на последних курсах, но и занятия посещали крайне редко.

Дурашливо гуляли и возвращались домой. Выходили из квартиры, держась за руки, а обратно возвращались бегом – нагулявшие жадность друг к другу.

Ее уютный дом, с тихим двориком, где не сидели шумные и гадкие пьяницы и не валялись, пуская розовую пену передозировки, наркоманы; с булочной на востоке и с громяющим железными костями трамваем на западе; на запад выходили окна на кухне, и, когда я курил там весенними и летними утрами, мне часто казалось, что трамвай въезжает к нам в окно.

Иногда от грохота начинали тихо осыпаться комочки побелки за обоями.

В некоторых местах обои были исцарапаны редкого обаяния котенком, являвшим собой помесь сиамского кота нашего соседа сверху с рыжей беспородной кошкой соседки снизу. Он появился в доме Даши вместе со мной. Котенка Даша назвала Тоша, в честь меня.

Часто мы лежали поперек кровати и смотрели на то, как Тоша забавляется с привязанной к ножке кресла резинкой, увенчанной пластмассовым шариком.

Иногда он отвлекался от шарика и с самыми злостными намерениями бежал к углу стены возле батареи, где лохмотьями свисали обои.

– Брысь! – кричала Даша. – Брысь, стервец!

Я стучал по полу уже разлинованной когтями котенка рукой, чтобы спугнуть Тошу. Он оборачивался и с удовольствием отвлекался на то, чтобылизать свой розовый живот.

– Обрати внимание, – говорила мне Даша, притулившись грудью у меня на спине и проводя ладонью мне по темени, – кошки и собаки могут лизать свои половые органы. А человек – нет. Выходит, что Бог специально подталкивает людей к запретным ласкам...

– Едва ли, имея возможность, я стал бы забавляться сам с собой подобным образом, – отвечал я, блаженно ежась всем телом.

Даша при мне иногда читала вечерами – мне всегда казалось, что из хулиганства. Я старался отвлечь ее.

– Как книга? – спрашивал я Дашу.

– Мысли короче, чем предложения. Мысли одеты не по росту, рукава причастных оборотов висят, как у Пьеро.

И снова начинала читать. Ложилась на живот. Она так играла. Ждала, что я ей помешаю.

Подлезал ладонями под ее животик, находил верхнюю пуговицу джинсиков, медленно расстегивал молнию. Крепко цеплял пальцами джинсы, тянул на себя, и она приподнималась, помогая мне.

Я снимал с нее сразу все и чувствовал, что ее одежда, черный кружевной невесомый лоскут, и даже внутренность джинсиков чуть-чуть пропитались ею, ее готовностью.

Поднимал ее, просунув ей ладонь между ножек, поддерживал под животик, чувствуя мягкость ладони горячие завитки. Мне открывалась прекраснейшая из земных картин, упоительная география, разрезанный плод цвета мякоти киви...

Засыпая, я чувствовал, как во мне продолжает колыхаться и подрагивать все то, что произошло в течение дня.

Я помню, как она просыпалась, очень многими утрами, – и совсем не помню, как она засыпала. Наверное, я всегда засыпал первым.

Лишь однажды, уже заснув, я открыл глаза – и сразу встретился с ней глазами. Она смотрела на меня. В полной темноте ее глаза жили словно бы отдельно от тела. Что-то было в этом темное, тайное, удивительное, словно я на мгновение стал незванным соглядатаем, проник в нору, где встретился неведомо с кем. Впрочем, удивление быстро замешалось с сонной вялостью, и я заснул.

– Мне иногда кажется, что жизнь – это как качели, – сказала она на другой день.

– Потому что то взлет, то...

– Не знаю... – задумчиво сказала Даша и засмеялась. – Может, потому, что тошнит и захватывает дух одновременно?

Я внимательно смотрел на нее, вспоминая свое ночное пробуждение, почему-то не решаясь спросить, почему, зачем она смотрела в мое спящее лицо.

– Нет, правда, я, когда что-то вспоминаю, пытаюсь вспомнить, чувствую, будто я на качелях: все мелькает, такое разноцветное... и бестолковое. Счастье... – еще неопределенной добавила она.

Мы выходили на кухню – выпить горячего чая, Даша – с вареньем моего изготовления, она ела его из гордости за то, что варенье приготовил я, а я – с закупленными Дашей впрок лазурными печеньями, потому что варенье я уже ел, а такого печенья еще не пробовал. Я сметал крошки в ладонь и засыпал их в рот.

В «козелке» по городу ездить безопаснее, чем, скажем, в сопровождении двух бэтээров. На «козелок», в котором непонятно кто едет, чичи, возможно, и внимания не обратят. Обстрелять, конечно, могут, мы на себе эту вероятность опробовали, но все-таки бэтээры обстреливают чаще. Чины из главного штаба уже пересели на «козелки» и катаются по городу на больших скоростях в полном одиночестве, ну, с охраной, конечно, – из таких же белолобых молодцов, как мы, но безо всяких украшенных крупнокалиберными инструментами кортежей. Главный штаб – законодатель, так сказать, местных мод.

Наш капитан Кашкин, взяв водителем Васю Лебедева, добродушного бугая, часто катается по поручениям Семеныча – в основном в штаб округа. Поначалу с ним ездил Хасан – как знающий город, но потом Вася быстро сориентировался, что да как, кроме того, начштаба где-

то карту города раздобыл, так что кататься стали все подряд – кого Семеныч пошлет, тот и едет. Посылал он обычно кого-то из командиров отделений плюс один боец.

В первую же поездку я с собой Саню позвал, Скворца. В отделении моем есть пацаны посылней и позлее Сани, тот же Кизяков с его неистребимой невозмутимостью или Андрюха Суханов, громила с пулеметом. Да все хороши, разве что Монах... хотя что Монах, тоже человек... но мне вот с Саней хочется ехать, и даже не хочу разбираться, почему.

Сажусь на переднее сиденье не без удовольствия – это из детства, наверное. Тогда впереди только взрослые садились. А теперь мы сами выросли настолько, что нам даже автомат железный дали. Вася Лебедев хлопает капотом, руки протирает ветошью, садится, ухмыляясь, за руль. Вот тоже чудо, а не парень, с хорошим настроением по жизни.

Из школы выходит маленький, сутулый начштаба с черной папкой. Усаживается на заднее сиденье рядом со Скворцом. Чувствуется, что весит капитан Кашкин не больше, чем обычный восьмиклассник.

«Зачем таких в спецназ берут?» – думаю, имея в виду не только физические данные начштаба, но и его слабохарактерность. Это Семеныч мутит: специально таких замов себе подбирает, чтоб не подсидели.

– Открывай калитку, служивый! – кричит, приоткрыв дверь и высунувшись, Вася пригорюнившимся на воротах Монаху. – Фрукт какой... – без зла добавляет он, хлопнув дверью, и, вырвав за ворота, спрашивает у меня: – Ну, вы там выяснили, за кого Бог-то?

– Бог, – говорю, – за всех. Он всех любит.

– Ага. Учтем, – смеется Вася.

Солнце высвечивает размытые грязные потеки на лобовом стекле, в зеркальце заднего вида я вижу бесцветное лицо Монаха, захлопывающего ворота.

Прилаживаю на колени автомат, поглаживаю два рожка, перепоясанные синей изоляцией, один вставленный в автомат, другой – запасной.

Вася аккуратно объезжает лужи у ворот, проезжая правыми колесами по тому месту, где был и местами сохранился тротуар.

Чеченки потихоньку собираются на рынок, расставляют свои лотки.

Семеныч разрешил пацанам выходить на рынок только по двое. «Внимание, внимание и еще раз внимание!» – предупредил Куцый. Водку, конечно, употреблять запрещено. А пиво можно.

Выяснилось, что уличная торговля – привычное тут дело. Стрельба стрельбой, а деньги нужны. Возле Главного окружного штаба уже неделю рынок работает. Никого пока не отравили.

Пацаны соскучились по сладкому да по мясистому – Плохиш всех достал макаронами с тушенкой: на рынке постоянно кто-то из наших крутится, иногда из соседних комендатур приезжают ребята, «собры» порой бухают у нас – от большого начальства подальше.

...Выруливаем налево, поднимаемся на трассу, еще один поворот налево. Вася, притормозив, привычно накренья корпусом к рулю, взглядывает направо – нет ли транспорта.

– Чисто, – говорю.

Едем в аэропорт, как начштаба попросил – язык не поворачивается сказать о нем «велел» или «приказал». Вася жмет педаль на полную, поворачивает на такой скорости, что меня валит к дверям. Начштаба покашливает – по кашлю слышно, что он беспокоится насчет быстрой скорости, но замечаний Васе не делает.

Вася спокойно держит тяжелые руки на руле, кажется, если он их напряжет да ухватится покрепче, то сможет руль вырвать с корнем.

В километре от аэропорта город заканчивается, трасса идет меж полей и негустой посадки. На подъезде к аэропорту стоит блокпост.

Вася гонит машину, из блокпоста выскакивает офицер, сердито машет рукой. Солдатик с грязным лицом, в грязном бушлате и в грязных сапогах лениво вскидывает автомат. Вася жмет на тормоз, машина останавливается в метре от офицера, тот, неприязненно глядя на лобовуху «козелка», в самую последнюю секунду делает шаг назад. Видимо, оттого, что не выдержал характер, отшатнулся, офицер приходит в раздражение. Подойдя со стороны начштаба, он грубо спрашивает у него документы. «Корочки», которые капитан Кашкин торопливо извлекает из внутреннего кармана «комка», в порядке.

– У нас есть способ останавливать таких вот... летунов... – говорит офицер, отдавая документы, глядя мимо Кашкина на Васю. Вася смотрит в лобовуху, чувствует взгляд, но головы не поворачивает и спокойно улыбается. Я знаю, что его добродушный вид обманчив. Скажи офицер что лишнее, Васе будет не в падлу выйти и дать ему в лицо. Хотя офицер, конечно, прав.

Солнышко распекает, я даже прикладываю руки к потеплевшей лобовухе и незаметно для себя улыбаюсь.

Вася, набравший было скорость, на подъезде к аэропорту начинает притормаживать и, увидев что-то, произносит нараспев:

– Вот так да, блядь...

Сквозь растопыренные на теплой и грязноватой лобовухе пальцы я вижу людей, лежащих на асфальте... и мне не хочется отнимать рук от стекла.

Вася резко бьет по тормозам, глушит недовольно дрогнувшую машину и выходит первый, даже не закрыв дверь. От толчка во время торможения я стукаюсь лбом о горбушку левой руки, распластанной на стекле, и, не отнимая головы, продолжаю сквозь пальцы и мутно-белесое стекло смотреть.

Боже ты мой...

На заасфальтированной площадке возле аэропорта суетятся военные и врачи.

По краю площадки ровно в ряд уложены несколько десятков тел.

Солдатики... Посмертное построение и команда «смирно» понята буквально. Только вот руки у мертвых по швам не опущены...

Как же набраться сил выйти... Может, закурить сначала? При мысли о сигаретах меня начинает тошнить. Отгалкиваюсь руками от стекла. Нащупываю теплой ладонью холодную металлическую ручку двери, гну ее вниз.

Первый же лежащий с краю труп тянет ко мне корявые пальцы, я иду на эти пальцы, видя только их. Ногтей нет или пальцы так обгорели? Нет, не обгорели – руки розовые от солнца. Колечко «неделька» на безымянном. Два ногтя стоят дыбом. Куда ты, парень, хотел закопаться? За чью глотку хватался?..

Дранный рукав колышется на ветру, на шее ссохшаяся корка вокруг грязной дыры. Ухо, забитое грязью, скулы, намертво запечатавшие сизые, истончившиеся от смерти губы, открытые глаза засыпаны пылью, волосы дыбом. Голова зависла над землей – как раз под затылком парня кончается асфальт, начинается травка, но на травку голова не ложится, вмерзла в плечи.

Никак не вижу мертвого целиком, ухо вижу его, пальцы со вздыбившимися ногтями, дранный рукав, волосы дыбом, ширинку расстегнутую, одного сапога нет, белые пальцы ноги с катышками грязи между. Глаза боятся объять его целиком, скользят суетно.

Родной ты мой, как же тебя домой повезут?..

Где рука-то твоя вторая?..

Делаю осторожный шаг вбок, на травку, с трудом ступаю на мягкую землю и, проверив ногой ее подозрительную мягкость, переношу вторую ногу на траву, обхожу убитого. Забываю найти, высмотреть его левую руку, смотрю на следующий труп.

Рот раскрыт, и лошадиные зубы животно оскалены, будто мертвый просит кусочек сахара, готов взять его губами. Глаза будто покрыты слоем жира, подобного тому, что остается

на невымытой и оставленной на ночь сковороде. Руки мертвеца вцеплены в пах, где лоскутья тельника и штанов вздыбились и затвердели ссохшейся кровью.

Третий поднял, согнув в локте, руку с дырой в ладони, в которую можно вставить палец. Лоб, в грязно-алых потеках, сморщен, смят, наверное, от ужаса, рот, как у готовящегося заплакать ребенка, раскрыт, и во рту, как пенек, стоит язык с откушенным кончиком.

Наверное, этот откушенный кончик уже затащили в свой муравейник придорожные муравьи, а парень вот лежит здесь, и куда его убили, я никак не найду.

Четвертого убили, кажется, в лоб. Лицо разворочено, словно кто-то с маху пытался разрубить его топором. Обе руки его уперты локтями в землю, и ладони, окруженные частоколом растопыренных пальцев, подставлены небу. В ладонях хранятся полные горсти неразлитой, сохлой крови.

И пятого угробили в лоб.

И шестого, с неровно отрезанными ушами, с изразцами ушных раковин, делающих мертвую, лишенную ушей голову беззащитной и странной.

Да нет, Егорушка, не в лоб они убиты... В лоб их добивали.

Скрюченный юный мальчик лежит на боку, поджав острые колени к животу. Хилый беззащитный зад его гол, штанов на мертвом нет. Кто-то, не выдержав, накидывает на худые белые бедра мертвого ветошь.

Обгоревшее лицо еще одного мертвеца смотрит спокойно. Так, наверное, смотрит в мир дерево. И нагота мертвеца спокойна, не терзает никого, не требует одежды. И недогоревшие сапоги на черном теле смотрятся будто так и должно быть. И железная бляха ремня, впечатанная в расплавившийся живот...

– Уголовное дело надо заводить! – орет полковник, проходя мимо мертвого строя. – Ах, мрази! Дембелей отправили безоружной колонной, на всех – четыре снаряженных автомата! Без прикрытия шли! Их же подставили! Их же в упор убивали пять часов! Ах, мать моя женщина!

Полковник пьян. Его уводят какие-то офицеры.

Появляется еще один полковник, трезвый.

– Какого хуя вы их тут разложили? – орет он. – Кино снимать хотите? Немедленно всех убрать!

– Восемьдесят шесть, – говорит Вася Лебедев. Он шел мне навстречу с другой стороны. Я разворачиваюсь и иду к машине. В затылок будто вцеплены пальцы мертвого солдата, лежащего с краю.

– Пахнет... – беспомощно говорит Скворец, так и не отошедший от «козелка».

Влезаем с Васей в машину, одновременно хлопнув дверьми.

– Вась, может, развернешь машину? – просит Скворец.

– Они колонной шли... в тот же день, когда мы с Владика возвращались, только с восточной стороны города, – говорит мне Вася, будто не слыша Скворца. – Дембеля... Их уже разоружили. Дали бэтээры в прикрытие... Снаряженные автоматы были только у офицеров... Слышал, что «полкан» говорит? Подставили, говорит. Стуканул кто-то...

– Вась, разверни машину, – еще раз просит Скворец.

– А ты глазыньки закрой.

– Не закрываются, – отвечает Саня.

VII

В первые дни, выйдя на рынок, мы еще глазели по сторонам. Потом, конечно, расслабились, стали себя вести посвободнее. На сельские постройки, да на дома у дороги, да на далекие хрущевки никто уже не смотрел. Дома как дома, чего на них смотреть. Тем более что на крыше школы четыре поста.

Смуглые грузные чеченки спокойно стоят за прилавками, расставленными вдоль дороги. Не шумят, не торгуются, называют цену и ни рубля не сбавляют. Неиспуганные, сытые, усатые, красивого лица не встретишь. Торгует одна, вроде ничего, миловидная, да и то скорей полукровка, с русским замесом. Это Хасан нам сказал, ему видней. Возле этой девушки постоянно стоят наши пацаны, говорят что-то, смеются. У девушки лицо при этом брезгливое.

Хасан, как-то отправившись на рынок – мы называем это «в город», – попал в дурную ситуацию: купил пивка, побрел неспешно на базу и тут услышал, как за спиной торговка с соседкой переговаривается по-чеченски:

– А это ведь наш парень. Он в школе с моим учился...

Хасан сказал об этом Семенычу. Командир запретил Хасану в город выходить.

– Теперь твои яйца стоят по тысяче долларов! – кричит Хасану, внося чан с супом, Плохиш. – Все твои одноклассники соберутся... – кричит Плохиш, устанавливая чан на скамейку, – с бо-о-ольшими кинжалами...

Хасан хитро улыбается.

– Я бы за две штуки себе яйца сам отрезал, – задумчиво говорит Вася Лебедев. У него вечно грязные, будто проржавевшие, руки. Белые, атласные, новые карты, которые он держит в своих заскорузлых лапах, смотрятся незащитно и трогательно. Есть ощущение, что даме, на груди которой лежит окаймленный черной полоской ноготь Васи, очень страшно. Вместе с Васей играют Саня Скворцов и Слава Тельман. Слава их постоянно обыгрывает. Вася матерится, Скворец улыбается и, похоже, думает о другом.

– Есть маза прокрутить выгодную сделку, – задумчиво продолжает поднятую Плохишом тему Язва. – Хасан! Говорят, это совершенно безболезненно...

Хасан все ухмыляется.

– Я беру на себя самую тяжелую часть операции, – продолжает Язва. – Собственно, прости за тавтологию, операцию. Покупателя ты сам найдешь. Позвони по старым телефонам, может, среди твоих друзей по двору есть какой-нибудь завалящий полевой командир. Торговаться пойдет Тельман. И – две штуки наши. Или четыре, а, Тельман?

Язvu внезапно увлекает новая, назревшая в его голове шутка. Он подходит к играющим.

– Парни, смотрите, какой непорядок. Саня у нас Скворцов, Вася – Лебедев, а Слава – какой-то Тельман. Слава, давай ты будешь... Вальдшнеп?

Вася Лебедев довольно смеется. Саня смотрит на Язvu удивленно, такое ощущение, что он даже не понял, о чем речь. Слава недовольно молчит.

– Отстань, Гриша, я уже говорил, что я русский, – выговаривает он.

– А я тувинец! – хуже прежнего смеется грязно-рыжий Вася, шуря южно-русские глаза с бесцветными ресницами.

Парни рассаживаются обедать. Режут лук. Никогда мужики не едят столько лука и чеснока, как на войне.

Семеныча по рации вызывают в штаб. Он кличет Васю Лебедева и Славу Тельмана. Слава сразу встает, сбрасывает с тарелки недоеденные макароны в чан для отходов, берет автомат и выходит. Вася давится, ложку за ложкой набивает рот недоеденным. От выхода возвращается, берет кусок хлеба и луковицу.

После обеда мы с Саней выходим на улицу покурить. Бездумно обходя школьный двор, я заглядываю в каморку к Плохишу. Эта скотина там водку в уголке разливает. Астахов и Женя Кизяков стоят со стаканами наготове.

– А, сволочи! – кричу.

– Тихо! – зло шипит Плохиш. – Шей там нет? А начштаба?

– Будешь? – предлагает мне Женя Кизяков.

– Ща, я Саньку позову, – я выглядываю на улицу. – Санек! Давай сюда.

Мы быстро выпиваем. Закусываем луком. Опять выпиваем. Разливаем остатки... Плохиш засовывает пузырь в щель меж полами. Бутылка звякает, видимо, там уже таятся ей подобные, опустошенные.

– Плохиш, ты весь энзэ пропьешь! – смеюсь я.

Выходим на улицу. Закуриваем. Сладко туманит голову. Санька все никак не развеселится.

– Ты чего такой, Сань? – спрашиваю.

– А?

– Ты где?

– Как где?

Я смеюсь.

– Девочку хочу, – вдруг говорит Саня.

– К ужину? – глупо шучу я и, понимая это, продолжаю: – Чего это вдруг? Только вторая неделя пошла.

– Ты представляешь, Егор, – вдруг говорит мне Саня, – я вот что подумал: это ведь ужас, что на земле есть девушки... тонкие, нежные...

– Чего ж тут плохого? – спрашиваю, чуть вздрагивая от неожиданной Саниной искренности.

– Егор, ты пойми, вот ходят все эти существа, на них трусики надеты, тряпочки всякие... груди свои девочки несут... попки... и у каждой из них, подумай только, у каждой – ни одного исключения нет – между ног вот это розовое... серое... прячется, – Саша сглотнул слюну. – Это ведь божий дар, то, что у них это есть. Не у всех, конечно, божий дар... У многих – так, просто орган... Но у некоторых – это божий дар. А девушки, Егор, все девушки им торгуют. Балуются им – этим даром. Не так торгуют, чтоб блядовать, а просто разменивают... как дикари... на всякие побрякушки. Я пока пацаном был, в школе пока учился, думал, что нормальные девочки все недотроги. Ну, не так чтоб никогда и никому... но, по крайней мере, серьезно это делают, отчет себе отдают. Со шлюхами всё понятно, а вот если есть у девушки голова, она же понимает, что всякие прелести ей не просто так даны. Как думаешь, Егор? – не оставив ни секунды мне на ответ, Саня заговорил дальше: – Я до нашего спецназа три работы сменил. В разных конторах работал, у меня ведь отец буржуй, он меня пристраивал.

– Кем работал? – зачем-то спрашиваю я.

– Да какая разница, кем... Черт знает кем. Там полно было девушек, самых разных возрастов. Малолетки были – после школы, первый курс какого-нибудь юрфака... лет двадцати-двадцати двух были, которым замуж пора... замужние были, пару-тройку лет в браке... О разведенках вообще молчу... Не скажу, чтоб я там их всех перехапал. Было, конечно. Дело не в этом. Дело в том, что они с самого начала собой торгуют. Устроится такая девочка на работу, улыбается, заигрывает немного, но все красиво... пристойно... А потом, когда поближе познакомимся все... Восьмое марта, скажем, отметим... Вот тут надо только момент уловить, чтоб, как на рыбалке, подсечь. Выпила она чуть больше, развеселилась – ты ее рассмешил, заставил ее хохотать, всех девочек и не девочек тоже заставил смеяться... А потом вы курить выходите, и ты ее, пока она гордится перед подругами, что ты ее, а не их курить позвал, ты ее сразу – цап... Или другой вариант: ее парень обидел. Девочки обычно в этот день задумчивые приходят на работу, раздраженные даже... Главное, с менструацией этот день не перепутать. Вот ее

парень обидел, а тут ты наготове. Ти-ли, ти-ли, заливаешь ей... изображаешь из себя такого внимательного, понимающего, всепрощающего... И веселого. Девушкам ведь нужны всего три вещи: чтоб их смешили, чтоб их баловали и чтоб их жалели. Я имею в виду, для того чтобы... они могли поделиться своим даром... Всего ничего им надо. И не дают они некоторым вовсе не из чувства собственного достоинства, а потому что тот, кто добивается, все условности необходимые не соблюдает. Сделай как надо, и всё будет как хочешь. Я это десятки раз видел. И сам пробовал. Иногда прямо на работе, в кабинете... Можно домой ее к себе позвать. Можно к ней в гости зайти. Или в гостинице. Погостил в ней и – до свидания... Я почему-то сразу никогда не понимаю всего бесстыдства происходящего. Зато сейчас очень хорошо понимаю... Ты подумай, Егор, мужики – они лопухи. Но в них, в хороших мужиках, нет этого бесстыдства. Они тоже, конечно, бывают хороши. Но у них, у мужиков, Егор, божьего дара-то нет. Хер себе и хер. Висит. Какой это божий дар? И самое главное, это не парни девочек снимают, а наоборот. Всегда наоборот. Есть, конечно, кобели. Но их мало. А все остальные мужики – простые существа, немудреные. Их самих девушки снимают. Я серьезно... Слабый, щекотный ток от них идет, от девочек: рассмеши меня, покатай меня на машине, купи мне что-нибудь... чулочки... пожалей меня, когда мне грустно... и всё!.. Ты представь, Егор! – Саня повернулся ко мне. – Он ведь совершенно чужой ей человек, этот мужик, парень, пацан. Никто ей. Она его едва знает. И она, девочка, совсем голая, ложится с ним вместе. В рот себе берет его... мясо. Из любопытства, что ли? Никогда не поверю, что случайному человеку это приятно делать! Ножки забрасывает ему... Куролесит, как заполошная... Он ее мнет всю... В троллейбусах, в трамваях все девочки сидят как подобает, никто на голове не стоит. Попробуй тронь там, в троллейбусе, девушку, погладь ее – тебе устроят. А вот если ты сделал какой-то набор действий, самый простой, – она сразу на всё готова. Она знает-то тебя на одну пару чулков и на четыре глупые шутки больше, чем соседка в трамвае. И уже готова от тебя зачать ребенка! Даже если у нее сто спиралей стоит, она все равно готова зачать! Чего они такие дуры?

Я молчу.

– Ты как думаешь, Егор, их Бог наказывает?

– Наверное, Бог всех наказывает. Всех без исключения.

Мы бросили бычки в урну.

– Чего-то меня мутит, – говорит Сашка.

– Надо еще выпить, – предлагаю я.

– Надо, – соглашается Сашка.

Мы отпрашиваемся у начштаба и отправляемся на рынок. Саня сразу прется к девушке-полукровке.

– Куда ты, Сань? У нее водки нет! – смеюсь я.

Саня меня не слышит. Я думаю о том, что Саня сказал.

«Не буду об этом разговаривать», – решаю для себя. Сам не замечаю, как покупаю водку. Вижу, что купил, уже отойдя от прилавка. Глядя на бутылку, вспоминаю, что вроде денег дал торговке много, а сдачи она дала совсем ничего. Торговка копошится в своем товаре.

«Чего я ей скажу? – думаю. – “Где моя сдача?” А с чего сдача? Сколько я денег-то ей дал?»

Саня все около полукровки топчется. В том, как они стоят друг напротив друга, – что-то неестественное. Подхожу к ним и вижу: Саня уперто смотрит на девушку, в лицо ей. А она на него и что-то говорит при этом.

– Зачем вы приехали? – спрашивает она Саню, когда я подхожу. – Кто вас звал? Вы моих детей убили. Ваши дети будут наказаны за это.

– Пойдем, Санек, – я тронул его за рукав.

На рыночке уже кто-то соорудил столик, две лавочки рядом поставлены.

– Давай посидим здесь, покурим? – предлагает он мне.

– Чего ты на нее смотрел?

Саня неопределенно машет рукой.

Подъезжает бэтээр. На броне сидят десанты.

– Здорово, парни! – кричат нам с брони. – Вы откуда?

– Со Святого Спаса! – откликаюсь я.

Прямо на броне у десантов расстелен персидский ковер. Весь затоптанный, в черных иероглифах берцовских подошв, но все равно красивый. На башне – красный флаг. Я люблюсь пацанами, их бэтээр, ковром, знаменем. Случайно цепляю взглядом торговку, на которую Саня смотрел.

– Санёк, глянь, как она ненавидит, – говорю, откупоривая пузырь.

Торговка смотрит на бэтээр, глаза ее источают животное презрение. Так смотрит собака, сука, если ее ударишь в живот. Саня не оборачивается.

Десанты идут к прилавкам, но деньгами они явно не богаты. Смотрят на товары, держа руки в карманах.

На рынок подъезжают грузовик и «козелок» с солдатами – с пехотой. Неумытая пацанва в замызанной форме. Они вообще не вылезают из машин, только разглядывают пиво и консервы.

Пока десанты выглядывают товар на рынке и лениво, но постепенно озлобляясь, торгуются с чеченками, их бэтээр начинает разворачиваться. Он плавно въезжает передними колесами в огромную лужу метрах в десяти от ворот нашей базы, я смотрю, как грязные, густые волны с шумом выползают на пыльную сушь вокруг дороги. Снова перевожу взгляд на полукровку и вижу, как в лицо ей бьют резкие брызги. Санька летит со скамейки. Десанты крутят головами, кто-то присел и тащит с плеча автомат. Раздаются длинные и какие-то далекие очереди... бэтээр наехал на мину в луже – вот что случилось.

Кувыркаюсь с лавки, в ужасе оглядывая окрестность: куда себя деть.

«Мамочка! – зову я про себя женщину, которую не помню. – Куда мне спрятаться?!»

Нет, это не дикий страх, это что-то другое – некая ошпаренная суматошность.

Ползу куда-то в кусты, оборачиваюсь и вижу, что десанты вообще никуда не прячутся, а сидят на корточках возле бэтэера. Некоторые даже курят. Обстрелянные пацаны, сразу видно. У бэтэера одно колесо смотрит вбок, шина висит лохмотьями.

Солдатики выпрыгивали из «козелка» и грузовичка и, не теряя времени даром, тащат в машины пиво и консервы с прилавков. Торговки вроде и не сопротивляются, лишь поспешно убирают под одежды лоточки с припиленным к черному бархату золотом – кольцами, серьгами, цепочками.

Очереди раздаются все ближе. Такое ощущение, что сначала кто-то стрелял вверх (за горелыми постройками? или со стороны асфальтовой дороги?), после начал палить по-над головами, а теперь уже норовит проредить весь рынок. Чеченские бабы, покидав в баулы оставшийся товар, побежали в сторону хрущевок. Полукровка, уродливо хромая, побежала за ними, оставив товар на прилавке. Потом передумала, вернулась. С ее лотка два солдата сгребают пиво, засовывая банки за шиворот. Подбежав, она берет банку шпрот и бьет ближайшего из солдат по лицу. Тот, весело взглянув на девушку, хватается за руку; я жду, что он ее сейчас ударит или грубо вывернет кисть, но солдат ловко забирает из пальцев девушки шпроты и бегом возвращается к машине.

Суетно зыркаю по сторонам. Слышу, как меня окликают по имени, оборачиваюсь на голос так резко, что кажется – шея слетает с резьбы: Семеныч присел возле дороги, у поваленных прилавков. Рядом Вася Лебедев.

– Егор, давай на базу!

Я встаю, но медлю. Семеныч подбегает ко мне, хватается меня чуть ли не за шиворот, толкает впереди себя:

– Давай, Егор, быстрее!

Подбегаю к бэтээру, сажусь у колеса, с левой стороны, так, чтоб меня не было видно с асфальтовой дороги. Десанты, почувствовав, что запахло паленым, сгрудились у бэтээра, влезли под него, прямо в лужу. Стреляют куда-то – кто куда.

– Какого вы здесь лежите? – кричит на десантов Семеныч и тут же мне: – Егор, открой ворота! Ты с кем был?

Вдруг вспоминаю, что со мной был Скворец. Не знаю, что сказать. Семеныч имеет полное право застрелить меня здесь же – я потерял подчиненного.

– Со мной! – отзывается Скворец из-под бэтээра.

– Ворота откройте! – кричит Семеныч.

Привстаю и теменем чувствую, как над головой пролетают пули, они действительно сви-
стят.

«Если бы я был выше, я бы уже умер», – понимаю. И снова, дергаясь, присаживаюсь, опускаю зад, как баба, присевшая помочиться. Я не в силах бежать к воротам. Но Саня уже сорвался, он уже у ворот, уже открывает их. Утопая в луже, я плюхаю – медленно! медленно! медленно! едва не плача – к воротам. Подбегая, падаю на железо ворот, толкаю.

Во двор базы сразу влетают объехавшие бэтээр «козелок» и грузовик. Бегут десанты.

Наконец вспоминаю, что у меня есть автомат, присаживаюсь у ворот, стреляю – вперед стрелять страшно, там вроде наши бегают, да и не видно из-за бэтээра: бью влево, через низину, в сторону асфальтовой дороги, где стоят нежилые здания. Представления не имею, откуда бьют по нам.

Осматриваю опустевший рынок, ежесекундно ожидая, что увижу чей-нибудь труп. Но нет, трупов нет. Вообще никого нет. На земле валяется банка консервов, оброненная одним из солдатиков. А вот и наш пузырь, я его выронил, сам не заметил как. Половина уже вытекла. У меня возникает острое сожаление.

– Егор, не стреляй! – слышу.

Из кустов вылезает Слава Тельман.

– На базу все! – орет Семеныч. Рядом с ним сидит Вася Лебедев, по рации запрашивает пост на крыше, просит, чтобы они нас прикрыли как следует.

– Пусть повнимательнее работают! – говорит Васе Семеныч.

Кто-то открывает двери школы настезь, туда устремляются десанты и солдатики. Следом, пригибаясь, бежит Саня Скворец.

У ворот остаются Семеныч с Васей и мы с Тельманом, несколько десантов.

Семеныч замечает Тельмана.

– Ты здесь? – говорит он недовольно. – Давай на базу.

Слава, упершись автоматом в бок, бежит к школе, давая длинные очереди в сторону асфальтовой дороги. В один прыжок через пять ступеней влетает в двери школы. Я бегу следом за ним. Мне хочется сделать всё так же красиво, как Слава: автомат в бок, длинные очереди на бегу. Но автомат у меня почему-то стоит на одиночных (когда я успел переставить предохранитель?), и поэтому вместо роскошных трелей своего «калаша» я слышу редкие хлопки, сопровождающиеся ощутимой отдачей приклада в живот. Бежать и стрелять одиночными неудобно, я перестаю дергать спусковой крючок и, прижав автомат к груди, со счастливой улыбкой вбегаю на базу. В коридоре толпою стоят наши, встречают. Лица у всех возбужденные. Я даже с кем-то обнялся, вбежав, и пожал руку кому-то, и улыбнулся.

За мной вбегает десант. У дверей школы, вижу я, остановился еще один десант и самозабвенно палит в сторону асфальтовой дороги. Кто-то из стоящих рядом позвал его по имени – хорош, мол, давай двигай в школу, но тот, взбрыкнув, падает. В голове его, будто сделанной из розового пластилина, выше надбровья образовалась вмятина. Такое ощущение, что кто-то ткнул туда пальцем, и палец вошел почти целиком.

Все оцепенели.

К десанту подбежали Семеныч с Васей, схватили его за руки – за ноги и втащили в школу.
– Док где? – орет Семеныч.

Подбегает наш док, дядя Юра. Садится возле парня, берет его руку за запястье...

– Мужики, у него дочка вчера родилась! – говорит кто-то из десантов, будто прося: ну давайте, делайте что-нибудь, оживляйте парня, он ведь свою дочку еще не видел.

Пощупав пульс, потрогав шею десанта, док делает едва заметный жест, как бы бессильно раскрывая ладони; смысл движения этого прост и ясен – парень убит.

Семеныч сгоняет всех в «почивальню», приказав никому не высовываться. Сам, взяв Кашкина, собирается идти на крышу. Уже переступая порог, разворачивается, увидев Славу Тельмана, обтирающего грязные штаны.

– Ты чего же меня бросил, боевик херов? – спрашивает Семеныч у Славы. – Почему меня Вася Лебедев прикрывал?

– Семеныч, я в другую сторону из машины выпрыгнул... – начинает рассказывать Слава, но Семеныч уже вышел, долбанув дверью.

– Каждая Божия тварь печальна после соития, – произносила Даша слова одного русского страдальца; мы лежали в ее комнатке с синими обоями, и она гладила мою бритую голову, – каждая Божия тварь печальна после соития... а ты печален и до, и после.

– Я люблю тебя, – говорил я.

– И я тебя, – легко отвечала она.

– Нет... Я люблю тебя патологически. Я истерически тебя люблю...

– Там, где кончается равнодушие, начинается патология, – улыбалась она.

Ей нравилось, что кровотоцит.

В те дни у меня начались припадки. Я заболел.

Я шел к ее дому, и мне очень нравилась эта дорога. С улицы, где чадили разномастные авто, я сворачивал во дворик. В подвальчике с торца дома, мимо которого я проходил, располагалась какая-то база, и туда с подъезжавшей «Газели» ежеутренне сгружали лотки с фруктами и овощами.

«Газель» стояла у входа в подвальчик. В кузове топтался водитель, подающий лотки. Из подвала выбегал юноша в распахнутой куртке, расстегнутой рубашке, потный, ребристый, на голове ежик. Он хватал лоток и топал по ступеням вниз. Тем временем водитель пододвигал к краю кузова еще один лоток и шел в дальний конец кузова за следующим. Я как раз проходил мимо, в узкий прогал между «Газелью» и входом в подвал, и не упускал случая прихватить в горсть три-четыре сливы или пару помидорок. Так, из баловства.

Во дворе дома стояла клетка метра два высотой, достаточно широкая. Там жили колли, мальчик и девочка. Их легко было различить – сучечку и кобеля. Он был поджар, в его осанке было что-то бойцовское, гордое, львиное. Она была грациозна и чуть ленива. Он всегда первым подскакивал к прутьям клетки, завидев меня, и раза два незлобно глухо тьявкал. Она тоже привставала, смотрела на меня строго, но спокойно, глубоко уверенная в своей безопасности. Изредка она все-таки лаяла, и что-то было в их лае семейное; они звучали в одной октаве, только его голос был ниже.

Но однажды сучка пропала. В очередной раз я повернул за угол дома, вытирая персик о рукав, слыша за спиной невнятный, небогатый мат водителя, и увидел, что кобель в клетке один.

Он метался возле прутьев и, увидев меня, залаял злобно и немелодично.

– Ма-альчик мой, – протянул я и тихо направился к клетке, – а где твоя принцесса? – спросил я его, подойдя в упор. Он заливался невротическим лаем.

Зайдя сбоку, я заглянул в их как бы двухместную, широкую конуру и там сучки не обнаружил.

– Ну, тихо-тихо! – сказал я ему и пошел дальше, удивленный. Они были хорошей парой. Следующим домом была общага, из ее раскрытых до первых заморозков окон доносились звуки отвратительной музыки.

Возле нашего дома стояли два мусорных контейнера, в которых мирно, как колорадский жук, копошился бомж. Приметив меня, он обычно отходил от контейнера, делал вид, что кого-то ждет или просто травку ковыряет стоптанным ботинком. В нашем дворе водились на удивление мирные и предупредительные бомжи. От них исходил спокойный, умиротворенный запах затхлости, в сумках нежно позвякивали бутылки.

Возле квартирki моей Дашеньки стоял большой деревянный ящик, почти сундук, невесть откуда взявшийся. Подходя к ее квартире, я каждый раз не в силах был нажать звонок и присаживался на ящик.

Я говорил слова, подобные тем, что произносила мне воспитательница в интернате: «Раз, два-а, три-и... – затем торжественно, – больше! – с понижением на полтона, – не! – и, наконец, иронично-нежно, – пла-ачем!»

Сидя на ящике, я повторял себе: «Раз! Два! Три! Думаем о другом!»

О другом не получалось.

Я бежал вниз по лестнице и, вспугнув грохотом железной двери по-прежнему копошащегося в помойке бомжа, выходил из подъезда.

«Ну зачем она? А? Зачем она так? Что она? Что она, не могла, что ли, как-нибудь подружому? Господи мой, не могу я! Дай мне что-нибудь мое! Только мое!»

Я бормотал и плавил лбом стекло маршрутки, уезжая от ее дома, я брел по привокзальной площади и сдерживал слезы безобразной мужской ревности. Мне было стыдно, тошно, дурно.

«Истерик, успокойся! – орал я на себя. – Придурок! Урод!»

Ругая себя, я отгонял духов ее прошлого, преследовавших меня. Мужчин, бывших с моей любимой. Я сам развел этих духов, как нерадивые хозяева разводят мух, не убирая со стола вчерашний арбуз, очистки, скорлупу... Я вызвал их бесконечными размышлениями о ее, моей Даши, прошлом.

К тому времени, когда мой разум заселили духи, я досконально изучил ее тело. Духи слетались на тело моей любимой, тем самым терзая меня, совершенно беззащитного...

Печаль свою, лелеемую и раскормленную, до дома своего, находившегося в пригороде Святого Спаса, я не довозил. По ошибке я садился в электричку, мчащуюся в противоположную сторону. Остановки через две я замечал совершенно неожиданные пейзажи, роскошные особняки за окном.

«Когда их успели понастроить? – удивлялся я. – Почему я их не видел? Может быть, я все время в другую сторону смотрел? Скажем, в Святой Спас я ехал слева, а обратно – справа? И в итоге всегда видел одну сторону... Чушь...»

– Куда электричка едет, не скажете?..

«Ну вот, я так и думал... Ну что за мудака, а?»

Я вставал и направлялся к выходу, и тут, конечно же, навстречу мне заходили контролеры. Строгие лица, синие одежды. Несколько минут я с ними препирался, доказывая, что сел не в ту сторону, потом отдавал все деньги, которых все равно не хватало на штраф, в итоге квитанцию я не получал и выдворялся на пустынный полустанок, стылый, продуваемый, лишенный лавочек, как и все полустанки России. Подъезжала еще одна электричка, но там (о, постоянство невезенья!) контролеры стояли прямо на входе и проверяли билеты у всех пассажиров. Опережая полубомжового вида мужчину с подростком лет семи, я подходил к дверям вагона, хватал подростка под руки, якобы помогая ему забраться, и под прикрытием своей ноши проникал в вагон.

– Билетик где? – шумела проводница-контролер, злобная тетка лет сорока пяти, похожая на замороженную рыбу.

– Дайте ребенка-то внести! – огрызнулся я, обходил ее, ставил лицом к ней мальчика и, пока она недоуменно разглядывала «корочки» мужика полубомжового вида, я бежал в другой вагон.

Я выходил на вокзале Святого Спаса отчего-то повеселевший и пешком добирался до Дашиного дома. Заходил в ее квартиру и ничего ей не говорил.

Семеныч еще не успокоился после вчерашнего – Слава Тельман сидит на своей койке хмурый: Семеныч уезжал вместе с десантами, убитого отвозил, Славу с собой не взял, а тут еще одно злоключение – Вася Лебедев кинул гранату в окно.

Семеныч как раз вернулся. Мы стоим возле входа в школу, обсуждаем случившееся. При появлении командира, конечно, все замолчали.

– Проверяйте посты, чтоб не спали, – мимоходом говорит Семеныч Шее и Столяру. – Поменьше тут мельтешите. Сидите в здании.

Шея заходит за Семенычем, кивает из-за плеча командира дневальному – докладывай, мол.

– Товарищ майор, за время вашего отсутствия произошло чрезвычайное происшествие: боец Лебедев бросил гранату в окно.

– Пострадавшие есть? – быстро спрашивает Семеныч.

– Нет.

– Лебедева ко мне.

Лебедев, впрочем, вовсе не виноват. Старичков, сапер наш, когда-то вытащил чеку из эргээнки, наверное, на одной из зачисток, но бросать гранату не стал. Обкрутил, прижав рычаг, гранату клейкой лентой и так и носил в кармане разгрузки. Сегодня утром, пока Семеныча не было, Старичков хорошо выпил – наверное, Плохиш, поганец, поднес. Пьяный Старичков пришел в спортзал и со словами: «На! Твоя...» – дал Васе Лебедеву гранату. Лебедев взял гранату, сел на кровати, повертел эргээнку в руках и стал снимать с нее клейкую ленту. Когда лента кончилась, раздался щелчок – сработал запал. У Васи было полторы секунды.

В спортзале на кроватях валялись пацаны, никто, к слову, даже не заметил, что произошло. Я видел Васю краем зрения, я читал в это время. Вася двумя легкими шагами достиг бойницы и кинул гранату. Ниже этажом ухнуло.

– Вася, ты что, охренел? – закричал Костя Столяр, подбегая к Лебедеву, все еще стоящему у окна.

В общем, обошлось.

– Вы представляете, что такое ехать с гробом к матери? – Семеныч зло смотрит на нас, собравшихся в актовом зале, и совершенно не смотрит на Старичкова, который понуро, как ученик, стоит перед парнями справа от Семеныча. Рядом с Семенычем сидит неизменно строгий Андрей Георгиевич – Черная Метка.

– Вы представляете, что такое приехать и сказать матери, что ее сын погиб не героем в бою, а его угробил какой-то мудака? Ты знал, что граната без чеки?

– Знал, – отвечает Старичков.

– Зачем ты дал ее Лебедеву?

– Я не думал, что он будет ее раскручивать.

– Федь, ну как я мог подумать, что ты мне гранату дашь без чеки и ничего не скажешь? – спросил Лебедев с места.

– Я готов искупить кровью, – тихо говорит Старичков.

– «Готов искупить»? – передразнивает его Семеныч. – Вы еще войны не видели! – обращается он ко всем. – Это я вам говорю. Не видели! Вообще не знаете, что это за война такая! Вот когда, на хрен, клюнет жареный петух, – Семеныч снова обращается к Старичкову, но не смотрит на него, – я посмотрю, как ты будешь «искупать»! Домой поедешь! – безо всякого

перехода говорит Семеныч и впервые брезгливо оборачивается к провинившемуся. – А здесь пацаны будут за тебя искупать. Собирай вещи.

– Сергей Семеныч... – говорит Старичков.

– Всё, свободен.

Сопровождать Старичкова в аэропорт поехали начштаба и мы со Скворцом. Вася Лебедев напросился в водилы. По дороге я избегал со Старичковым разговаривать, да и у него желания с нами общаться явно не было. Вася все порывался его развеселить, но тот не откликался.

«Странно, – думал я, – Вася, который чуть не взорвался и к тому же остается здесь, успокаивает Старичкова, который вечером будет у жены под мышками руки греть... или Старичков не женат?»

Федя, как казалось, равнодушно смотрел в окно, но уже в аэропорту, выходя из машины, я увидел, что он плачет.

«Повезло ему или нет? – думаю я. – Вот если бы меня отправили, я бы огорчился? Все-таки домой бы приехал, к Даше...»

Втайне понимаю, что мне никак не хотелось бы, чтобы меня отправили домой. Это было бы неправильно – так уехать, одному. И кажется, все бойцы только так и рассуждают. Со Старичковым даже никто не попрощался. Не потому, что вот его все вдруг презирали, а оттого, что он отныне отчужден. Да и сам Федя, чувствуя свое отчуждение, только Филю, пса своего, обнял. Филя и не понял, что хозяин уезжает.

Начштаба пошел в аэропорт.

На крыше аэропорта стоят буквы: «Г», «Р», «О», «З», «Н», «Ы», «Й».

Слева от аэропорта плац, маршируют солдатики. На них неистово кричит офицер, требуя, чтоб «Левой! Левой! Левой!»

«Им, может, умирать завтра, а их маршировать заставляют. Что-то тут неправильно...» – думаю.

Старичков следом за начштаба выходит из «козелка», вытаскивает свой рюкзак. Взяв за лямки, волочит его по асфальту в сторону автовокзала. Вася выскакивает, окликает Старичкова – куда, мол, но тот не отзывается.

Вася, пожав плечами, садится в машину.

Проходящий мимо усатый майор строго смотрит на Старичкова. Тот останавливается, не дойдя до аэропорта.

– Санёк, хочешь домой? – спрашиваю я Скворца.

– Нет, – отвечает.

Появляется наш начштаба, молча проходит мимо Старичкова, идет к «козелку».

– Рейс отменили, – говорит начштаба. – Чего делать-то?

«Тоже мне капитан, – думаю, – совета спрашивает».

– Давай его до Рязани подбросим? – весело предлагает Вася и в знак полной готовности хватает обеими руками руль.

– До Рязани далеко... – говорит начштаба серьезно. «Интересно, – думаю, – он действительно тупой или просто такой вот человек?»

Начштаба раздумывает, вызвать ли ему Семеныча по рации, на запасной волне, чтобы спросить, что делать, и сомневается – не покажется ли он при этом слишком бестолковым.

– Поехали на базу, – насмешливо говорит Лебедев, – завтра отвезем.

Начштаба неопределенно кивает, и Лебедев, как мне кажется, даже не заметив этого кивка, высовывается из машины и зовет Старичкова. Тот оборачивается, кивком спрашивает, что надо, но Вася, не ответив, заводит машину. Старичков нехотя идет к «козелку». Открывает дверь и молча смотрит на нас. Такое его поведение начинает раздражать.

«Он что, презирает нас всех теперь?» – думаю.

– Садись, – говорит Вася. – Твой самолет улетел.

– Чего такое? – цедит сквозь зубы Старичков.

– Садись, говорю.

На базе Старичков хмуро вытащил рюкзак и молча прошел мимо курящих на входе пацанов. У каждого были сведены скрытой насмешкой скулы. Я, улыбаясь, побрел вслед за Старичковым в «почивальню».

– Не раздевайся, – говорит мне Шея.

– А чего?

Шея, не отвечая, приглядывается к пацанам и выкликает поименно Хасана, Диму Астахова и Женю Кизякова. Отправляемся в кабинет Черной Метки.

– Чего случилось, взводный? – интересуется Астахов по дороге.

– Попросили собрать пять надежных ребят. За неимением надежных остановился на вас, – на серьезке говорит Шея, открывая дверь в кабинет. Нас молча ждут Андрей Георгиевич и Семеныч.

– Хасан, знаешь дом шесть по улице Советской? – спрашивает Черная Метка, когда мы рассаживаемся.

– Знаю, – говорит Хасан.

– Точно помнишь, где он? Ты ведь давно в Грозном не был? – спрашивает Семеныч.

– Я здесь жил. Я помню, – отвечает Хасан.

Черная Метка пишет на листочке цифры – «6» и «36».

– Это номер дома и номер квартиры. Здесь живет Аслан Рамзаев. По оперативным данным, он находится в городе, приходит ночью домой. Надо его аккуратно взять и привести сюда. Ночью или утром. Выбирайте, когда удобней.

«Вот ты, бля...» – думаю ошалело.

– Насколько аккуратно? – спрашивает Шея.

– Без пулевых ранений в голову, – говорит Семеныч.

Мне кажется, что Семеныч заговорил лишь затем, чтобы показать, кто все-таки здесь начальник.

Решаем выйти вечером, в двадцать ноль-ноль. Город начинают обстреливать ближе к полуночи, есть смысл отправиться пораньше. По поводу обратной дороги никто даже не задумывается.

«Ну почему вот я стесняюсь забиться под кровать и сказать, что у меня болит сердце и колики в легком? – думаю я в “почивальне”. – Что за стыд такой глупый? Ведь убьют, и все... Откуда они могут знать, что этот Рамзаев один придет? А вдруг он с целой бандой приходит? А мы будем в подъезде сидеть, как идиоты. Кому это только в голову пришло...»

Не найдя ответа ни на один из своих вопросов, я кисну, как творог. Беру книгу, но она оказывается на удивление невнятной.

«Как можно какие-то буквы писать, когда живого человека гонят на погибель. Да и какой смысл их читать? Глупость несусветная...»

Я ушел курить и курил целый час. Вернулся – Шея носок зашивает.

«Видимо, он намеревается вернуться», – подумал я презрительно. Послonyaлся между кроватей, пацаны предложили мне в карты поиграть, я неприятно содрогнулся.

«В карты, бляха-муха...» – передразнил мысленно.

Хасан лежал на койке с закрытыми глазами. Я опять вышел на улицу. По дороге встретил Женю Кизякова, идущего из сортира.

– Последний раз облегчился, – сообщил мне Женя, улыбаясь.

– Да ладно! – ответил я Кизе.

Это меня немного успокоило. Хоть один нормальный человек есть. А то носки зашивают.

Ну, естественно, пока я одевался, Плохиш предложил мне помыться, чтобы потом было меньше возни с трупом.

– Вы куда? – спрашивают у нас пацаны с поста на воротах.

– За грибами, – говорит Астахов.

Выходим и, пригибаясь, бежим прочь от почти уже родного дома, от теплой, пропахшей человеком «почивальни»...

«Куда мы? Куда нас?..»

Присели, дышим.

– Хасан, может, ты адрес забыл? – улыбаясь, шепотом спрашивает Кизя, в смысле «хорошо бы, если б ты дорогу забыл», и, не дождавшись ответа, обращается к Шею: – Взводный, давай в кустах пересидим, а сами скажем, что он не пришел?

Я по голосу слышу, что Кизя придуряется. Если бы мне вздумалось сказать то же самое, это прозвучало бы слишком честно. Кизя смелый.

«Наверное, смелей меня», – с огорчением решаю я.

Шея молчит.

Отойдя метров на сто от школы, сбавляем ход.

«Куда нам теперь торопиться?» – думаю иронично.

Хасан идет первым. Договорились, что, если кто окликнет, он ответит сначала по-русски, а потом по-чеченски. Мы одеты в черные вязаные шапочки, разгрузки забиты гранатами, броников на нас, естественно, нет.

Смотрю по сторонам. Мягко обходим лужи. Шея тихонько догоняет Хасана, останавливает его, шепотом делает замечание. Хасан подтягивает разгрузку – видимо, что-то звякало, я не слышал.

Начинаются сельские дома, заглядываю в то окно, где мы видели труп на первой зачистке.

«Если труп по ночам встает и ловит случайных путников, это все равно не так страшно, как сидеть в подъезде...» – думаю.

Вытаскиваю из кармана упаковку жвачки, кидаю пару пропитанных ароматной кислотой кубиков в рот. Сбоку тянется рука нагнавшего меня Кизи. Поленившись выдавливать кубики жвачки, кидаю на ладонь ему всю пачку.

Из темноты встает полуразрушенная хрущевка, сереет боком. Неожиданно вспыхивает огонек в одном из окон на втором этаже. Мы присаживаемся, я, чертыхнувшись, падаю чуть ли не на четвереньки. Огонек тут же гаснет.

Шея машет рукой: пошли, мол. Кизя трогает ладонью землю – жвачку мою потерял.

Медленно отходим, огибаем дом с другой стороны. Движемся вдоль стены по асфальтовой дорожке. Хрустит под ногами битое стекло. Хасан поднимает руку, останавливаемся. Прижимаюсь спиной к стене, чувствую бритым теплым затылком холод кирпича. Оборачиваюсь на Кизю, он жует – нашел-таки. Кизя делает шаг вбок, на землю возле асфальта, видимо, пытаюсь обойти стекло, и, резко отдернув ногу, произносит:

– Ёбс!

Смотрю на него.

– Дерьмо! – произносит Кизя с необычайным отвращением. Слышится резкий запах. Видимо, в доме прорвало канализацию.

Астахов, идущий позади Кизи, хмыкает. Кизя бьет каблуком по асфальту. Шея недовольно оборачивается:

– Женя, ты что, танцуешь?

– В дерьмо вляпался, – поясняю я.

Идем дворами мимо то деревянных, то железных заборчиков, лавочек у подъездов, мусорных куч. Лицо задевают ветви дворовых деревьев. Останавливаемся на углах, перебегаем промежутки между домами, снова недолго осматриваемся. Хасан уверенно ведет нас.

Как здесь все похоже на российские городки, на пыльные дворики Святого Спаса. Сейчас вот подойдем к этой трехэтажке, а там Даша половички вытрясает – в белых кроссовочках,

в голубеньких шортах, в короткой маечке, и виден открытый загорелый пупок, и тяжелая ее грудь, когда она половичком взмахивает... Ага, Даша...

Хасан, повернув за угол, лоб в лоб сталкивается с женщиной, здоровой чернявой бабой в платке, в кожаной расстегнутой на груди куртке, в юбке, в резиновых сапогах. Некоторое время все молчат.

– Напугалась... – говорит она спокойно и чуть улыбаясь – это слышно по голосу.

Хасан отвечает что-то нечленораздельное, но по-русски. Приветливый набор звуков, произнесенный Хасаном, должен, по его замыслу, выразить то, что мы тоже немного напугались, но все, как видим, обошлось благополучно, мы вот тут прогуливаемся с ребятами и сейчас разойдемся мирно по сторонам. Чуть склонив голову, женщина тихо проходит мимо нас, мы стоим недвижимо, как манекены, глядя вперед.

Обойдя замыкающего Астахова, женщина заходит в подъезд, дверь громко и неприятно скрипит и зависает в полуоткрытом состоянии.

Шея оборачивается на нас, Астахов коротко и многозначительно кивает вслед женщине. Шея раздумывает секунду, потом говорит:

– Идем!

Чувствую, что Астахов недоволен. А я? Не знаю. Чего, убить ее, что ли, надо было? Взять бабу и зарезать? Как корову... Ну что за дурь.

«Сейчас она позовет своих абреков, – думаю, – и они нас самих перережут как телят».

Покрепче перехватываю ствол. Сжимаю зубы.

«С-с-час, перережут. Да хрен им».

Останавливаемся у корявых кустов. Присаживаемся на корточки. Смотрим назад, в сторону того дома, от которого отошли: появится кто-то вслед за нами или нет. Ломаю веточку, верчу в руках, бросаю. Где-то далеко раздаются автоматные очереди. А здесь тихо. Совсем уже стемнело...

Поднимаемся и движемся дальше.

Как мы пружинисто и цепко идем, какие мы молодые и здоровые...

Все, наш дом, приплыли. Пятиэтажное здание серого цвета, хрущевка, второй подъезд. Напротив дома, видимо, была детская площадка. В темноте виднеются заборчик, качели, похожие на скелет динозавра, и беседка как черепашка...

Шея тычет в меня пальцем и затем указывает на дальний угол дома.

– Глянь и вернись, – говорит он тихо, когда я прохожу мимо него.

Как все-таки плохо идти одному... Чувствую себя неуютно и нервно. Неприязненно кошусь на окна: разбитое, целое, разбитое, потрескавшееся... Вот было бы замечательно увидеть там лицо, прижавшееся к стеклу, расплывшиеся губы, нос, бесноватые глаза. Даже вздрагиваю от представленного. Угол. Выглядываю и вижу помойку, много тряпья и стекла. Долго смотрю в темноту. Опять где-то раздаются выстрелы. Дергаюсь, прячусь за угол.

«Ну чего ты дергаешься, – думаю, – чего? Черт знает где стреляют, а ты дергаешься».

Возвращаюсь к своим, не глядя на окна. Хасан и Шея уже вошли в подъезд, Астахов держит дверь, ждет меня. Вхожу, Димка медленно, по сантиметру, прикрывает дверь, но она всё равно выдает такой длинный, витиеватый скрип, что у меня начинается резь в животе.

Поднимаемся на второй этаж. Смотрю вверх, в узкий пролет. Естественно, ничего не вижу. Шея щелкает зажигалкой перед одной из дверей – только на секунду, прикрыв ее ладонью, при вспышке озаряется цифра «36».

«Надо же, – думаю, – номер сохранился. А чего бы ему не сохраниться. Кому он нужен...»

Мы быстро, стараясь не шуметь, поднимаемся выше этажом. Прислушиваемся.

«Бля, куда мы забрели», – думаю.

Чувствую мутный страх, странную душевную духоту, словно все сдавлено в грудной клетке.

– Чего будем делать? – спрашивает Астахов.

– Если перекроют выход, попробуем выбить любую дверь, – отвечает Шея. – Может быть, через окна удастся уйти.

Распределяемся: Женя Кизяков, Дима Астахов и я усаживаемся возле окна на площадке между вторым и третьим этажами – смотрим на улицы, поглядываем на двери, чтобы кто-нибудь нежданный не выскочил с пулеметом. Хасан и Шея стоят-сидят на лесенке чуть ниже нас.

Вижу качели на детской площадке. При слабом порыве ветра дзенькает стекло ниже этажом... Крона дерева как будто бурлит на слабом огне... Кто-то когда-то сидел под деревом, целовался на скамеечке. Чеченский парень с чеченской девушкой... Или у них это не принято – так себя вести? У Хасана надо спросить: принято у них под деревьями в детских садах целоваться было или это вообще немислимо.

Куда все-таки нас, меня занесло? Сидим посреди чужого города, совсем одни, как на дне океана. Что бы Даша подумала, узнай она, где я сейчас?..

На какое-то время в подъезде воцаряется тишина. Потом Дима тихонько кашляет в кулак. Чувствую, что у меня затекла нога, меняю положение тела, громко шаркая берцем. От ботинок Кизи веет тяжелым, едким запахом...

– Кизя, может, ты снимешь ботинок и положишь его за пазуху? – предлагает Астахов шепотом. – Я сейчас в обморок упаду.

Я чувствую, как Кизя улыбается в темноте. Он необидчивый. Даже как-то радостно реагирует, когда над ним шутят. И от этого едкость любой шутки совершенно растворяется.

Хасан поправляет ремень, что-то звякает о ствол. Шея стоит недвижимо, спиной к стене, полузакрыв глаза. Вдалеке снова раздаются автоматные очереди.

«А что если я сейчас заору дурным голосом: “Темна-я ночь! Только пули свистят по степи...” – что будет?» – думаю я. И сам неприязненно хмурюсь. Какое-то время не могу отвязаться от этой шальной мысли. Чтобы отогнать беса сумасшествия, тихонько, одними губами напеваю эту песню.

– Ташевский молится, – констатирует Астахов.

– Цыть! – говорит Шея.

Замолкаем. Все время хочется сесть как-то иначе, ноги затекают. Еле терплю. Смотрю на пацанов, никто не шевелится. Терплю дальше. Наконец Астахов пересаживается иначе, следом Кизя вытягивает ногу в обгаженном ботинке и ставит ее на каблук рядом с Астаховым, под шумок и я меняю положение.

– Как куры, блядь, – говорит без зла Шея.

– Кизя, тварь такая, уберит ботинок, – просит Астахов.

Кизя молчит. Астахов наклоняется над берцем Кизи, пускает длинную слюну – сейчас, мол, плюну прямо на ногу.

– ...и платочком протри, – советует Кизя.

Астахов сплевывает в сторону и отворачивается к окну. Смотрим вместе в темноту. Качели иногда скрипят. Крона все бурлит.

– Пойдем на качелях покачаемся? – предлагаю я Димке, пытаюсь разогнать муторную тоску.

Молчит.

«Забавно было бы... Выйти, гогоча, и, громко отталкиваясь берцами от земли, высоко раскататься... Как тут все удивились бы...»

Оттого что я вспоминаю чеченцев, мне становится еще хуже. «Они ведь близко... Где-то здесь, вокруг нас. Может быть, в этом подъезде... Мама моя родная...»

Метрах в тридцати раздается пистолетный выстрел. Бессмысленно перехватываю автомат.

«О, наш идет, – думаю иронично, пытаюсь себя отвлечь, – возвращается домой и от страха палит в воздух». Начинаю мелко дрожать. «От холода...» – успокаиваю себя. Дую на озябшие руки.

Резко скрипит входная дверь, и меня окатывает тошнотворная волна. Рассудок подпрыгивает, как рыба на суше. Не знаю, что делать. Кизя медленно встает. Астахов уже стоит. Шея поднимает руку с открытой ладонью – «Тихо!» Слышны спокойные шаги. Один человек будто бы... Да, один.

«Один, один, один, один...» – повторяю я в такт сердцу, быстро. Медленно снимаю предохранитель, встаю на колени, направляю ствол между прутьев поручня. Появляется мужская голова, спина, зад.

– Аслан Рамзаев? – спрашивает Шея, шагнув навстречу поднимающемуся мужчине.

Мужчина делает еще один, последний шаг и встает на площадке напротив Шеи. Автомат Шеи висит сбоку, дулом вниз, отмечаю я. Шея стоит вполборота к подошедшему, расслабленно опустив руки.

– Да, – слышу я ответ чечена, чувствуя мягкотью согнутого пальца холод спускового крючка.

Шея очень легким, почти не зафиксированным мной движением бьет чечена боковым ударом в висок. В падении чечен ударяется головой о каменный выступ возле двери собственной квартиры. Я смотрю на его тело. Тело недвижимо. Шея хлопает чечена по карманам. Подбегает Хасан, помогает Шее...

Я расслабляю палец, тупо зависший над спусковым крючком. Кошусь на Кизякова, тот смотрит на двери третьего этажа, держа ствол наперевес. Астахова не вижу, он у меня за спиной.

– Как там на улице? – спрашивает Шея тихо, глядя вверх меня. Какой у него голос спокойный, а?

– Пусто, – отвечает Астахов.

Шея рывком переворачивает чечена, ловко связывает припасенной веревкой руки. Извлекает из разгрузки пластырь. Откусив сантиметров двадцать ленты, залепляет чеченцу рот. Перевешивает автомат на левое плечо. Взяв чечена за брюки и за шиворот, вскидывает на правое плечо, головой назад.

– Хасан, Егор, посмотрите... – просит Шея на первом этаже.

Выходим, обойдя взводного с его поклажей, на улицу. Вглядываемся в темноту детской площадки. Расходимся в разные стороны. Я добегаю до конца дома, смотрю за угол. Сдерживаю дыхание, прислушиваюсь. Необычайно ясная луна возникла над городом Грозным. Помойка, расположившаяся за домом, источает слабые запахи тлена. Возвращаюсь, нагоняю уже вышедших из подъезда своих. Хасан чуть торопится. Постоянно уходит вперед, потом, присев и оглядываясь на нас, поджидает.

«Домой, домой, домой...» – повторяю я ритмично и лихорадочно.

– Гэй! – кричит кто-то рядом.

Останавливаемся.

«Сейчас начнется!» – понимаю я.

– Гэй-гэй-гэй! – повторяют явно нам: то ли с крыши, то ли из одного из окон...

Все присаживаются. Шея сбрасывает чечена с плеча, тот внезапно вскакивает, Шея хватает его за горло, валит на землю, прижимает головой к земле.

Несколько мгновений мы всматриваемся в темноту, пытаюсь понять, откуда кричат.

– Я тебе, сука, голову отрежу, – говорит Шея внятным шепотом своей оклемавшейся ноше. – Понял?

– Пошли! Бегом! – командует Шея.

Вскакиваем, я сразу догоняю Шею, потому что чеченец впереди него бежит не очень быстро. Шея хватает его за шиворот, дергает так, что трещит и рвется куртка. Подбегаем к дому, жмемся к стенам, сворачиваем за угол.

– Еще бросок!

Добегаем до следующего дома. Чеченец крутит головой, таращит глаза, оглядывается.

– Давай, порезвей работай клешнями... – говорит Шея чечену, пропуская его вперед.

– Егор, веди его, – приказывает мне взводный и отходит назад к углу дома. Вместе с Астаховым они вслушиваются в темноту, которую мы миновали.

Я толкаю чечена, он делает несколько шагов, споткнувшись, падает, я подцепляю его за ремень, он смешно встает на четыре конечности и от того, что я все еще судорожно тяну его за ремень вверх, не может никак встать. Нас догоняет Шея, хватая чечена за волосы и резко поднимает вверх.

«Почему не стреляют?» – думаю я.

Пробегаем еще квартал. Садимся с Астаховым к стене, отплеываемся. Чеченец быстро дышит носом. Он морщит скулы и мышцы лица, я понимаю, что ему хочется отлепить пластырь. Я мягко бью ему пальцами левой руки по лбу, чтоб перестал. Шея стоит на углу дома.

– Тихо... – говорит он, подойдя к нам. – Вроде тихо.

Мы бежим дальше, чеченец часто спотыкается.

Шея связывается с базой, предупреждает, что мы близко.

Метров за пятьдесят до базы становится легко. Уже дома. Почти уже дома. Совсем уже дома. Мы входим во двор и начинаем смеяться.

– «Гэй-гэй-гэй!» – пародирует неизвестного, окликавшего нас, Астахов, заливаясь. Я тоже хохочу.

– «Гэй! – повторяю я. – Гэй-гэй-гэй!»

В ночном Грозном раздается наш смех.

– Кизя, мы не скажем парням, что ты боты обгадил от страха! – смеется Астахов, и Кизя тоже смеется.

– Ну что, аксакал, поскакали дальше? – спрашивает гыгыкающий Шея у чеченца, хмуро смотрящего куда-то вбок. И мы снова хохочем.

Нас встречают улыбающийся Семеныч и начштаба. Семеныч кажется родным, хочется броситься ему на шею.

«И начштаба – отличный мужик!» – думаю я.

Чеченца сразу уводят в кабинет Черной Метки.

Мы входим в «почивальню», посмеиваясь. Пацаны дрыхнут.

– «Гэй-гэй-гэй!» – повторяем мы, улыбаясь, уже на исходе здорового мужского хохота.

Скворец поднимает заспанную голову, нежно улыбается, щурит глаза.

«Гэй-гэй-гэй...» Что может быть забавнее...

VIII

Потихоньку излечившись от своих телесных расстройств, пацаны начали разъедаться. После завтрака, сопровождаемого добродушными напутствиями от Плохиша, уже в полдень мы собираемся душевной компанией: Хасан, Скворец, Димка Астахов, Андрюха Конь, Кизя... Открываем по банке кильки в томатном соусе, каждый режет себе по луковичке, и за милую душу все это уминаем.

Спустя пару часов подходит время обеда, все с отличным аппетитом хлебают щи, или гороховый суп, или, куда чаще, опять рыбный, из кильки, но ничего страшного, рыба – вещь полезная.

Однажды Костя Столяр, все время поругивающий Плохиша за разгильдяйское отношение к поварским обязанностям, самолично изготовил украинский борщ, выгнав поваренка из его кухоньки, чтоб не мешал. Борщ получился бесподобный, Вася Лебедев не постеснялся хлебушком протереть чан, что послужило побуждением Плохишу предложить Васе зачистить еще и ведро для отходов на кухне.

Ближе к ужину мы встречаемся за столом еще разок, на этот раз почаевничать. Все скромно, разве что между делом банку-другую тушенки съедим. Пацаны, конечно же, были бы не прочь выпить пива, но Семеныч запретил пить пиво до девяти вечера. Причем после наступления заветного срока могут выпить только те, кто не заступает на посты.

Ну естественно, чаем сыт не будешь, так что к ужину опять все голодные. В полвосьмого Плохиша, привычно дремлющего на койке, на втором ярусе, все уже гонят из «почивальни» – иди, поваренок, обед грей.

– Холодное пожрете, скоты ненасытные, – отругивается Плохиш и накрывается одеялом с головой.

– Ударь его копытом, – просит Язва нашего Коня: у Андрюхи Суханова койка расположена ярусом ниже лежанки Плохиша. Андрюха Конь послушно бьет ногой в то место, где сетка кровати особенно провисает под телом Плохиша – предположительно по задку поваренка.

– А-а, по почкам! – блажит Плохиш.

Андрюха бьет еще раз.

– А-а, по придаткам! – еще громче завывает поваренок и слезает-таки вниз.

– Сено будешь жрать, лошадь, – обещает он Андрюхе. – Бант тебе на хвост и золотую подкову на копыта.

«Как я их люблю всех... – думаю я. – И ведь не скажешь этим уродам ничего... И боюсь за них...» – еще думаю я.

«Как погиб этот пацан? – думаю следом, вспоминая десантника. – Отчего он погиб? Может, смерть приходила к кому-то из нас, искала кого-то, а зацепила его? Как это нелепо... Приехал на рынок, глазел на торговков чеченок, приценивался к консервам... Стрельба началась – даже не очень испугался, закурил... Не собирался ведь умирать. Потом побежал и упал. И нет его. Зачем он тогда приценивался? Консервы, что ли, ему были нужны? Чего курил? Мог бы и не курить. Мог бы и не жить совсем... Дочь у него родилась – за этим жил? Одна будет расти девочка, без отца».

Семеныч приехал из ГУОШа очень озабоченный и даже поддатый. Отозвав Шею и Столяра, негромко распорядился выставить на стол спиртное. По две бутылки на взвод. Но у нас на такие приказы слух наметанный, все сразу приятно оживились.

– Вчера было некогда... – говорит Семеныч за столом. – Сначала... – тут он смотрит на Федю Старичкова, который так и не уехал, – никуда не поедешь, – обрывает Семеныч начатое предложение, потому что и так все поняли, что речь шла о происшествии с гранатой, – будешь тут искупать, – жестко заканчивает он, и у меня сразу появляются неприятные пред-

чувствия. – Потом вот ребята ушли... за добычей, – Семеныч смотрит на Шею, на Хасана, мне хочется, чтобы Семеныч посмотрел и на меня, и он останавливается взглядом на мне и даже кивает, вот, мол, и Шея, и Хасан, и Кизяков, и Астахов, и Егор – эти ребята ходили за добычей. – Знатного волка поймали, – продолжает Семеныч. – От лица комсостава вам... – Здесь Семеныч снова обрывает начатое, но мы и так понимаем, что нам от усатого лица комсостава благодарность. – Вчера было недосуг, – говорит Семеныч, – а сегодня надо помянуть пацана, десанничка. Смерть к нам заглянула. Мы должны помнить о ней.

Первую пьем за наше здоровье. Вторую – за тех, кто нас ждет. Третью – молча и не чокаясь.

«Давай, браток... Пусть пухом...»

После третьей глаза заблестели и даже от души отлегло – все-таки нехорошо, когда душа человеческая не помянута. Но особенно развеселиться нам Семеныч не дал.

– Так, ребята, – сказал он, – томиться я один не хочу, скрывать от вас ничего не желаю. Завтра мы выезжаем за город, будем брать селение Пионерское. Или Комсомольское... Без разницы какое... Главное вот что... В селе, согласно данным разведки, находится группа боевиков... И будет большой удачей, если каждый второй из нас вернется хотя бы раненым.

Так все и онемели. Ну, Семеныч, мать твою, видно, ты немало выпил...

– Всем привести себя в порядок, – продолжает Семеныч. – Больные есть?

Я смотрю на пацанов. Многие сидят, чуть прикрыв глаза, будто смотрят внутрь себя, перебирая, как на базаре, органы: так, печенка... нет, печенка не болит; селезенка... и селезенка работает; желчный пузырь... в порядке; сердечко... сердечко что-то пошаливает... да и в желудке беспокойно... Но в общем здоровья хоть отбавляй, будь оно неладно.

– Больных нет, – заключает Семеныч. – Командиры взводов могут по своему усмотрению изменить график заступления дневальных или заменить кого-то из дежурящих на крыше, на тот случай, если больные все-таки обнаружатся. Вопросы есть?

– Мы что, одни будем штурмовать? – спрашивает Хасан.

– Нет, скорей всего, не одни. Точно ничего не знаю. Не докладываются генералы. Все пойдем на месте.

Пацаны еще вяло пожевали. Что делать теперь? Курить, конечно.

– Вот так ни хера себе, – говорит Хасан. – Одно дело – мы одни побежим деревню брать, а другое...

– А другое дело – туда сначала стопудовую бомбу кинут, – заканчивает его мысль Плохиш.

Хасан не отвечает. Все молчат.

– Ну дела... – наконец произносит кто-то.

Бычком по очереди сигареты в умывальнике, лениво бредем по ступеням в «почивальню».

«Ну что, сейчас начнешь думать, как тебе жить хочется? – ерничаю я сам над собой, пытаюсь отогнать тоску. – Ну и что? – отвечаю сам себе. – Хочется. Очень хочется».

«Все, что было до сегодняшнего дня, – такая ерунда, – думаю я. – Ну зачистки, подумаешь... А завтра кого-нибудь убьют наверняка. Мама родная, может, меня не станет? Чего я делать-то буду?»

Бодрясь, доели ужин, допили початое и пошли спать. Анвар Амалиев повертелся на кровати, поохал и, вижу, к доктору пошел; сейчас скажет, что ему таблетки нужны «от сердца». Получил таблетки, пьет, стуча зубами о стакан.

Переворачиваюсь на бок, прижимаясь лбом к стене. Как же мне тошно... «Завтра бой». Где-то я слышал эти слова. Ничего в них особенного никогда не находил. А каким они смыслом наполнены неиссякаемым... Сколько сотен лет лежали так мужские особи на боку, слушая тяжелое уханье собственного сердца, помня о том, что завтра бой, и в этих словах заключались

все детские, беспорядочные, смешные воспоминания, старые хвостатые игрушки с висящими на длинных нитях, оторванными в забавах конечностями, майские утра, лай собаки, родительские руки, блаженство дышать, думать... Даша... – и все это как бульдозером заваливает и задавливает то, что завтра.

«Может быть, не спать и думать всю ночь? Жизнь будет длиннее – на сколько там? – на восемь часов, наверное, уже не на восемь, остается все меньше и меньше, вот сейчас уже несколько секунд прошло, а пока думал, что прошло несколько секунд, – еще несколько, и пока говорил “еще несколько” – еще... Может, что-то надо сделать? Может, выйти сейчас из “почивальни”, будто помочиться захотел, стукнуть дневального по плечу, дескать, сиди, браток, слушай рацию, схожу вот, помочусь... На улицу выйти и направиться к воротам... А там все, допустим, спят. Выйти за ворота, делая вид, что не слышишь, как тебя кличут с крыши, и пойти, пойти, потом побежать через город, до самой Сунжи, до моста... Прячась в подъездах, таясь в кустах, подрагивая всем телом, кому я нужен – один, без оружия, беззащитный дезертир. Через мост переберусь, там нет блокпоста, и ночью пойду, побегу дальше, может быть, заплачу от стыда, это ничего, от этого не умирают... Так до самой границы и добегу... А в Дагестане сяду в поезд и буду ехать, пока меня контролеры не выловят. Тогда сяду на следующий поезд. А потом еще... И приеду в деревню деда Сергея, сниму там избушку какую-нибудь, заведу собаку... Устроюсь сторожем в... чего там осталось-то – колхоз или совхоз?... ни того ни другого вроде уже не осталось... устроюсь сторожить чего-нибудь... пугалом устроюсь на огород... буду в шляпе стоять и в старом пальто, руки расставив... в зубы мне вставят милицкий свисток, буду свистеть, когда вороны слетятся... Приедет комиссия: “Нет ли у вас тут дезертира Ташевского?” Надвину шляпу на глаза – никто не узнает... Да никто и не приедет... Так и буду всю жизнь стоять на огороде... Счастье-то какое – дыши, думай, никто не мешает. Совсем не будет скучно. Кто вообще эту глупость придумал – что бывает скучно? Ерунда какая. Ничего нет скучнее, чем умирать. А жить так весело... Из сельсовета Даше позвоню, она приедет в деревню... Не узнает меня сначала. “Что это за пугало?” А это герой чеченской войны Егор Ташевский. Да уж, герой... Разнюнился... Занюнился... Вынюнился...»

Что поделаешь с ним, а? Плохиш даже в это утро заорал, в четыре часа. Нервоз, накопленный в невыспавшихся головах бойцов, мог бы привести к тому, что Плохиша наконец изуродовали б, принеся в жертву богам войны, но тот, прокричавшись, сказал:

– Не ссыте, пацаны. Я с вами пойду. Всю ночь думал, веришь, Семеныч?

Я разлепляю глаза и понимаю, что Плохиш врет про свою бессонницу, рожа его – розовая и отоспавшаяся.

– Решился, – продолжает Плохиш. – Первым пойду. Шашка наголо и на коне. Конь! – Плохиш берет подушку и бьет ею по голове Андриюху Суханова. – Слышишь меня? На тебе поедем, – здесь Плохиш обрывает себя. – Seriously, Семеныч! Вон, сердечник жратву готовит, – Плохиш кивает на Амалиева, и я вижу лежащего будто при смерти Анвара с обмотанной полотенцем головой.

Я против воли хохочу, и те, кто поднимают хмурые головы от подушек, тоже начинают смеяться, видя Амалиева. Анвар, наконец поняв, в чем дело, снимает полотенце и засовывает его под матрас. Вот Анвар-то уж точно не спал.

«Ну как, Егор, чувствуете себя? – интересуюсь я мысленно. – Нормально, – несколько грубо отвечаю себе, – не беспокойся...»

Спрыгиваю с кровати, влезаю в берцы, беру свои щетки и пасты, помещающиеся в волглом полиэтиленовом пакете, и бреду к умывальникам неспешным шагом спокойного, даже вроде напевающего что-то молодого человека.

Возле умывальника извлекаю из пакета зубную щетку, она вся сырая, в мыле, держать в руках ее неприятно. Рефлекторно провожу языком по зубам, и тут же мое выпестованное сном настроение сходит на нет. Я вспоминаю челюсть одного из убитых, виденных мной возле

аэропорта, – оскаленные, мертвые, белые зубы, частоколом торчащие из разодранной пасти. Сжимаю свою щетку, глядя на себя в зеркало. Я даже боюсь открыть рот, ощериться, потому что на лице моем, кажется, сразу проступят костяные щеки и околелый подбородок того парня.

Плюю кислой ночной слюной в рукомойник, и слюна виснет на моих почему-то холодных губах.

Меня отгискивают от умывальника. Не осознавая, что делаю, давлю из тюбика пасту, но не могу попасть на щетку, и белая субстанция с резким неживым мятным запахом сочно падает на сырой и грязный пол.

Кое-как почистив зубы, тяну себя, хватаясь за железные прутья перил, на второй этаж.

До выхода еще полчаса. Чем заниматься-то все это время?

Заглядываю в «почивальню» и вижу, как пацаны собираются, суетятся.

«Куда собираемся?» – хочется мне крикнуть. Вместо этого я боком прохожу к своей кровати, вытаскиваю из рюкзака сигареты и снова спускаюсь вниз, на ходу прикуривая. Дохожу до умывальни, затягиваюсь, глядя на конец сигареты, мягко обвисающий пеплом.

«Нет, покурить я еще успею, – думаю, – покурить время будет».

Бросаю непотушенную сигарету на пол, озабоченно решая, куда идти.

Из сортира слышны громкие звуки.

«Жизнь», – думаю я.

Вижу, как Плохиш с Амалиевым несут наверх чан с дымящимся супом. Иду за ними, как собака, привлеченная запахом. С радостью отмечаю, что голоден.

«Вот что надо сделать, – определяюсь я, – надо супчику отведать».

Поедаю суп, не замечая вкуса, старательно жуя большими ломтями откусываемый хлеб – мне кажется, что, двигая скулами, я не думаю, не думаю, ни о чем не думаю.

Увидев дно тарелки, понимаю, что нисколько не голоден, вообще не хотел есть, не знаю даже, зачем ел. Присаживаюсь на кровать Сани Скворца и старательно, накрепко перешнуровываю берцы. С самого начала командировки я сплю в одежде, поэтому надевать мне больше нечего, кроме разгрузки, но ее пока рано.

Покачиваюсь на кровати Саньки, смотрю на затылки парней, приступивших к поеданию макарон.

«Нет, макарон не хочу. Тушенки не хочу. Хочу чая. Чая нет. Хочу компот».

Иду с кружкой к Плохишу, он наливает мне компот. С бульканием падает в стакан какой-то склизкий фрукт, похожий на выдавленный глаз. Молча выливаю содержимое стакана обратно в чан.

– Чего, стаканчик всполоснул? – невозмутимо спрашивает Плохиш. – А ты и руки там помой теперь.

– Мне без фруктов, – говорю я.

В три глотка выпиваю компот, снова иду курить.

Привалившись спиной к мешкам с песком, наваленным у окон, курю в туалете. Все уже облегчилось, туалет пуст.

– Ташевский! – кричит Шея. – Построение! Отделение будешь свое собирать?

«Бля, у меня еще и отделение. На хер бы оно мне нужно, это отделение», – думаю я, не двигаясь с места и пытаясь увидеть кончик докуриваемой сигареты.

Держа сигарету в зубах, я щелкаю по ней указательным пальцем, привычным движением, именуемым в народе «щелобан»: когда согнутый указательный палец мгновение придерживается большим и затем с разгоном выскальзывает из-под него. Сигарета, к моему удивлению, не взлетает, сделав под потолком нужника красивый круг, а внезапно бьет мне в глаз еще дымящимся концом.

Господи, как больно! Мамочки, я выжег себе глаз! Какой стыд! Что я скажу Семенычу?

Натыкаясь на стены, я бегу к умывальнику, глаз щиплет, будто его посыпали солью с перцем и все это залили кипятком.

Врубаю воду, набираю в горсть и начинаю омыwać свой сощуренный от боли и ужаса зрак.

– Ташевский! – орет Шея.

После шестой горсти воды, прижатой к лицу, глаз начинает разлепляться.

«Видит!» – несказанно радуюсь я.

Ресницы будто вымазаны клеем.

«Я успел его закрыть, мой глазик, – понимаю я. – Как же я успел его закрыть? А? Сигарета летела сотую долю мгновения, а он успел закрыться! Что было бы, если бы она впиалась мне прямо в зрачок горящим концом? Ослеп бы?»

Еще несколько раз умываюсь, пальцами раздираю ресницы и спешу на второй этаж.

Радость, что зрение мое сохранено, настолько велика, что я бодро пихаю в бока идущих мне навстречу товарищей. Накидываю разгрузку, надеваю на бритый череп вязаную шапочку, цепляю на плечо автомат, довольно ощущая его славную и такую привычную тяжесть. Подпрыгиваю на месте: все ли нормально лежит в разгрузке, не вываливаются ли гранаты из кармашков.

Пацаны почти все уже вышли, только Монах копошит в рюкзаке.

– Давай, Монах, не тяни, – говорю я грубовато.

Он не реагирует.

Толкаясь, строимся на улице.

Смотрю на свое отделение: все тут, стоят в два ряда, ломцы хмурые. Встаю в строй – мне оставили место.

Выходит Семеныч. Провожает мрачным взглядом неспешно выбредающего из школы Монаха, взгляд профессионального военного привычно оценивает начищенность его ботинок, недовольство в глазах Семеныча сменяет безразличность, но и она тут же исчезает – не до этого...

Смотрю на Семеныча с надеждой. Мне кажется, что все так смотрят на командира. Семеныч, отец родной...

– Бойцы! Мы не знаем, что там будет, – говорит он. – Но, надеюсь, нам дадут время, чтобы мы определились, как будем работать.

Мне очень нравится это слово – «работать». Хорошо, что он так говорит.

– Первый зарок: поддерживать связь. Рации у всех заряжены? Не будет связи – всё. Слушайте рацию! Второй зарок: бойцы смотрят на командиров, командиры делают то, что говорю я. Никакой бравады. «За мной, в атаку!» не звать. Третий зарок: не кучковаться. Толпой не так страшно, но стреляют всегда по толпе.

От слова «стреляют» по строю пробегает легкий озноб. Все-таки мы будем «работать», а в нас будут стрелять.

– Кто первый обнаруживает огневые точки противника – немедленно связывайтесь со мной. Командиры взводов всегда должны знать, где у них гранатометчики и пулеметчики, чтобы координировать огонь.

Рядом с Семенычем стоит начштаба, но он не пойдет с нами. «И хорошо, что не пойдет», – думаю я. У капитана Кашкина вид виноватый. Чуть поодаль перетаптывается дядя Юра, взгляд его задумчив и бестолков одновременно, как у пингвина.

«Дядя Юра, – думаю с нежностью, – может быть, будешь меня вытаскивать с поля боя... Легкораненого. В мякоть ноги... “Кость не задета”... И – домой».

– Лопатки все взяли?.. Через пятнадцать минут по трассе пойдет колонна, мы загружаемся в грузовики, – заканчивает Семеныч.

Выходим за ворота. Оглядываюсь на школу. Из кухоньки появляется Амалиев, но тут же прячется.

– Удачи, мужики! – слышу я в рации голос кого-то из пацанов, оставшихся на крыше.

На обочине трассы курящие сразу закуривают. С минуту все стоят, выглядывая, не едет ли колонна. Потом бойцы по одному начинают присаживаться на корточки, а кто и прямо на зад.

– Не расслабляйтесь! – говорит Семеныч. – Костя! Сынок! Организуйте наблюдение...

«Чего тут может быть страшного? – думаю я о городе, который еще недавно пугал меня всем своим видом, каждым домом, любым окном. – Такие тихие места...»

Докуриваю и только сейчас вспоминаю, что я себе едва не сжег глаз. Трогаю его тихими, недоверяющими пальцами, как слепой. Глаз на месте, не гноится, не косит, все в порядке, смотрит по сторонам, как настоящий; второй, здоровый, за ним поспекает.

Еще издали слышим колонну. Все встают с мест, хотя машины еще не видны.

– А танков нет... – говорит Язва задумчиво, определяя машины по звуку.

Мы ждем еще и наконец видим колонну – три бэтэра, три грузовичка. У пацанов заметно портится настроение.

На первом бэтэре среди нескольких солдат, нахохлившись, сидит Черная Метка.

Колонна подъезжает, Черная Метка спрыгивает с бэтэра, отряхивается и, подождав, пока водитель заглушит бэтэр, говорит:

– Здорово, мужики!

Бойцы молчат. Только Саня Скворец отвечает: «Здорово», – и это его приветствие в наступившей тишине кажется особенно нелепым. Черная Метка, будто ничего не заметив, отводит Семеныча в сторону.

– А где танки? – интересуется кто-то из парней.

Ему шепотом отвечают где.

– И так... По данным разведки, в селе находится группа боевиков, от десяти до пятидесяти человек, – объясняет вернувшийся Семеныч.

– Чё, пятьдесят на пятьдесят? – спрашивает Плохиш.

– Будет сопровождение, два танка, – говорит Семеныч, не обращая внимания на Плохиша – но он и не обращать внимания умеет так, что сразу понимаешь: лучше заткнуться. – Мы следом за танками входим в деревню. Ну, и бэтэры... – Семеныч оглядывает машины с солдатами. Солдатики смотрят на нас, ищут в нас, более взрослых, чистых, здоровых, успокоение.

– Живем! – говорит Шея и весьма ощутимо хлопает Монаха по спине. – Не дрейфь, архимандрит! – смеется он своей нелепой шутке.

Никто, кроме Шеи, особенно не радуется. Подумаешь, танки. В танках, наверное, не страшно, зато на каждого из нас хватит одной маленькой пульки.

«Неужели нельзя взять село усилиями одних танков? – думаю я. – Подъехать на страшной железной машине и сказать: “Сдавайтесь!” Чего они сделают, ироды, против танков? А, убегут... Мы для того, чтоб их ловить».

Я снова закуриваю, мне не хочется, но я курю, и во рту создается ощущение, будто пожевал ваты. И еще будто этой ватой обложили все внутренности головы – ярко-розовый мозг, мишуру артерий, – как елочные игрушки.

Дают команду грузиться. Пацаны легко запрыгивают в крытые брезентом кузова.

«Какие у меня крепкие, жесткие мышцы», – думаю я с горечью, забравшись в кузов.

Меня немного лихорадит. «Истерика», – определяю мысленно.

Кажется, кто-то высасывает внутренности – паук с бесцветными рыбьими глазами, постепенно наливающимися моей кровью.

Трогается машина.

«Нас везут на убой».

Пытаюсь отвлечься на что-то, разглядываю бойцов, но взгляд никак не может закрепиться на чем-либо. Небритые скулы, чей-то почему-то вспотевший лоб, ствол автомата, берцы

с разлохматившимся охвостом шнура, потерявшего наконечник. Мысленно я засовываю это охвосте в дырочку для шнурков в берцах – обычно из разлохматившегося шнура извлекается одна нитка, эту нитку нужно просунуть в дырочку, а с другой стороны прихватить ее двумя пальцами и потянуть – так вытаскивается шнурок.

Начинают ныть ногти, мне кажется, я их давно не стриг, я даже ощущаю, как они отвратительно скользнут друг по другу, когда нитка выскочит из пальцев. Меня начинает мутить. Закрываю глаза. Во рту блуждает язык, напуганный, дряблый, то складывающийся лодочкой, собирающей слюну, то снова распрямляющийся, выгибающийся, тыкающийся в изнанку щеки, где так и не зажила со вчерашнего дня ранка, когда я, вернувшись с поста, жадно ел и цапнул зубами мягкую и болезненную кожу, мгновенно раскровенившуюся и пропитавшую соленым вкусом хлеб, кильку в томатном соусе, только луку было ничего не страшно, его вкус даже кровь не перебивала, разве что щипало от него во рту, в том месте, где, как мне казалось, дряблыми лохмотками свисала закушенная щека.

«Странно, что вчера вечером я, когда мы поминали десантника, эту ранку не замечал. Наверное, сегодня язык ее растревожил...»

Наконец и язык успокоился и повалился лягушачьим брюшком на дно рта, ткнувшись кончиком в зубы и проехавшись напоследок по черному от курева налету на зубах.

Пытаюсь задремать. На брезентовое покрытие кузова голову не положишь – трясет. Расставляю ноги, с силой упираюсь в ляжки локтями, кладу лоб на горизонтально сложенные руки. Так тоже качает. И еще сильнее тошнит. Сажусь прямо, закрываю глаза. На долю секунды открываю их, фиксирую пацанов и разглядываю потом, уже закрыв глаза. Успеваю рассмотреть только нескольких – задумчивого Шею, бледного Кешу Фистова с эсвэдэшкой между ног, с силой сжавшего зубы, так что выступили челюсти, будто сдерживающего матерную ругань Диму Астахова... Остальные расплываются. Еще раз открывать глаза мне лень, тяжело, не хочется, неинтересно – из перечисленных причин можно выбрать любую, и каждая подойдет. Чтобы отвлечься, начинаю считать. «Один, два, три, четыре...»

Мне почему-то кажется, что я считаю наших пацанов, отмеряю их жизни, как на счетах, и поэтому испуганно прекращаю это занятие и начинаю снова уже с пятидесяти.

«Пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре...»

Язык лежит, как сонная лягушка в иле.

«Сто сорок, сто сорок один, сто сорок два...»

На ухабах зрачки метаются под веками, как плотва.

«Четыреста одиннадцать, четыреста... какое число было только что?»

Пахнет деревьями, ветками, землей. Значит, выехали из города. Нет, не буду глаза открывать.

«Тысяча семьсот девяносто... Тысяча семьсот девяносто пять... Может, я не о том думаю? Может, нужно что-то решить с этой жизнью? А чего ты можешь решить? И кому ты скажешь о своем решении? И кому оно интересно? Тысяча семьсот девяносто семь... или шесть? Или семь?»

Машины останавливаются. Открываю глаза. Минимум пейзажа – голая земля, почему-то отсыревшая.

Кто-то из сидящих ближе к краю высовывается из кузова.

– Чего там? Чего? – спрашивают сразу несколько человек.

Пацаны, шевеля затекшими конечностями, поднимаются и, согнувшись, толпятся у края кузова, но Семеныч уже вызвал по рации Шею и Столяра и, даже не дождавшись их ответов, приказывает всем оставаться на местах.

– Курить-то можно? – спрашивает кто-то у Шеи.

Шея молчит, я закуриваю; после первой затяжки сладостно жую – будто ем дым. Сладкий, вкусный дым, нравится... Опять нравится...

Шея смотрит на меня недовольно. Не только потому, что я закурил без разрешения, но потому, что он дым не любит – некурящий у нас взводный. А машина, хоть и кузов, – все-таки помещение, надо и честь знать. Делаю несколько жадных затяжек и бычкую сигарету о пятку берца. Машина трогается. Ищу, куда бросить окурочок, и, не найдя места, роняю его на пол. Некоторое время смотрю, как он катается по полу, пачкая мухоморного окраса фильтр.

На ухабах машины переваливаются, пацаны с трудом держатся кто за что может.

«...Какая тягомотина, скорей бы уж...»

Смотрю на улицу, там появляются деревья, не знаю их названия. Какие-то деревья, из тех, что растут только в Чечне. По крайней мере, в Святом Спасе они точно не растут. Впрочем, я и тех деревьев, что растут в Святом Спасе, по названиям не знаю. Береза, дуб, клен и все. А, еще рябина... «Ой, рябина кудря-я-вая...» И калина. Калина – это дерево? Я не успеваю додумать. Машины снова останавливаются, моторы глушатся; какое-то время гудит бэтээр – тот, что шел первым, но вскоре и он смолкает.

Все сидят молча.

Смотрю на улицу, вижу кабину грузовика, шедшего за нами, лицо шофера. Не могу понять его настроения, черты лица расплываются. Зато появляется лицо Семеныча – он подошел к борту нашего кузова, заглядывает внутрь, командирским нюхом оценивая состояние коллектива.

– Разомните косточки, ребятки... – говорит Куцый, видимо, оценивший наше состояние как нормальное.

Все с готовностью вскакивают с мест, и поэтому долго приходится стоять согнувшись, дожидаясь, пока ближние к краю выпрыгнут из машины; карманы разгрузки, отягощенные гранатами, тяжело свисают, мышцы спины и шеи начинают ныть. Наконец подходит моя очередь. Спрыгиваю не очень удачно, потому что приземляюсь на пятки («Чему тебя учили?» – злюсь), боль бьет в мозг и теряется там.

Осматриваюсь по сторонам. Бродят люди, каждый о своем молится. Вижу нескольких мужиков в танкистской форме, а где танки? А, вот стоят...

Холмистая местность, никаких признаков жилья. Быть может, за тем холмом?

– За тем холмом... – доносится обрывок разговора.

Оборачиваюсь на голос. Стоят Черная Метка, Семеныч и танкист без знаков отличия, но сразу видно – служивый никак не меньше капитана. Вояка указывает на холм рукой. По-детски хочется их подслушать. Мне кажется, они говорят друг другу правду, какую нам постесняются открыть. Что-то вроде: «Пятью-шестью бойцами придется пожертвовать, а что делать...» Но я не двигаюсь с места и даже отворачиваюсь от командиров.

Семеныч объявляет построение.

– Вот за тем холмом находится село... Совершаем бросок. Рассредоточиваемся на холме, у взгорья, выше не забираемся, не светимся. Как только мы достигнем обозначенного рубежа, двинутся танки в объезд холма. Дождаемся, когда они выйдут на прямую, и делаем рывок следом. До села триста или чуть более метров.

«А почему сначала мы побежим, а танки потом? – думаю я. – Танки быстро пойдут, и мы за ними не поспеем – километра полтора жилы рвать, поэтому сначала мы, – отвечаю сам себе. – Тем более что они вверх не полезут, а за ними бежать – круг давать... На полянке же наши железные машины в полный дух попрут. И мы за ними. Остается только уповать, чтобы чечены спали, пока танки не выйдут на прямую. Если чечены, конечно, уже не проснулись. Наверняка ведь не спят, ждут. И еще вчера вечером пристрелялись к полянке. И мин там поставили, и противотанковых, и противопехотных, и мин-лягушек, которые скачут, и мин-липушек, которые липнут, и еще особенных мин, которые реагируют только на отдельных невротиков. Бляха-муха, какой ужас... Может, разбежаться и вдариться головой о кузов? Потом скажу, что у меня было минутное помешательство...»

– В нескольких, предположительно четырех ближних к поляне домах и амбарах располагаются боевики, – продолжает Семеныч. – Возможно, они есть и в селе, но в селе живут и мирные люди, поэтому...

– Поэтому аккуратно, – вставляет Черная Метка.

– Ну щас, «аккуратно», – передразнивает его шепотом Астахов, – надо было с «вертушек» расхерачить это село...

– Что мы, пехота? – буркает кто-то недовольно неподалеку от меня.

– А что, спецназ? – спрашивает Астахов.

– Да, спецназ.

– Хотел, чтобы солдатики село взяли, а ты там зачисткой занимался? – зло говорит Астахов.

– Разговорчики, – обрываю я парней.

– При подходе, если не начнется бой, блокируем дворы, где предположительно находятся боевики, и дальше – по обстоятельствам. Если бой начнется раньше, окапываемся, подавляем огневые точки противника.

– Может быть, лучше подкоп под село сделать? – говорит Язва тихо. – Вылезем, как кроты, из земли... «А вот и мы!»

– Кони не живут под землей, – отвечает Плохиш, кивая на Суханова. – И для этого мерина нору надо рыть огромную.

– Зато прикинь, как удивятся чечены, когда из-под земли вылезет целая лошадь, – говорит Язва.

– Выходим через пять минут, – заканчивает Семеныч.

Пацаны неспешно расходятся.

– Сергей! – говорит Язва, столкнувшись лицом к лицу с Монахом.

– Чего? – отзывается Монах неприязненно.

– Держи хрен бодрей, – зло отвечает Язва.

«Помолиться, что ли? – думаю. – Ни одной молитвы не знаю.

Господи-Господи-Господи-Господи...»

Подхожу к машине, прислоняюсь плечом к борту. Хочется лечь. Внутренности уже высосаны, пустое нутро ноет, где-то на дне живота, как холодец, подрагивает отвалившийся ломоть мяса.

«Мое тело, славное мое тело...» – я пытаюсь почувствовать свои руки и сначала чувствую автомат, его холод, а потом, кажется, свои куда более холодные пальцы; еще я хочу почувствовать кожу, соски и узнаю их, сморщенные, как у старика, болезненно потершись о тельник.

«Мое тело», – еще раз повторяю я.

Пытаюсь согнуть и разогнуть окоченелые пальцы, они не поддаются.

– Егор, строй своих к броску.

«Чей это голос? Кажется, взводный что-то сказал...»

Выискиваю взглядом Кизю... Монаха... Степку Черткова... Скворца... Андрюха Конь стоит, расставив ноги, держит пулемет наперевес...

«Надо же, я еще людей узнаю...» – удивляюсь себе.

Открываю рот, хочу что-то сказать, но раздается нечленораздельный, сиплый звук. Озираюсь по сторонам: не заметил, не услышал ли кто... Говорю несколько слов шепотом: «Егор... из-за леса, из-за гор... Егор... едет дедушка Егор... сам на коровке... детки на лошадаках... внуки на козлятах... а жена на сивом мерине...» Нет, дар речи еще при мне.

– Строимся, братцы!

До того как мы взберемся на холм, нас, наверное, не убьют.

Построившись повзводно, нерешительно топчемся.

– С Богом, родные... – говорит Семеныч по рации.

Хватаю ртом воздух, ноги уже бегут. Легко бежать, кажется, толкнусь сейчас и взлечу... Рассыпаемся по взгорью, между бойцами – пять-семь метров, я первый, пацаны чуть поодаль. Слышатся топот и мерная тряска чего-то железного в карманах. В голове ни одной мысли, они высыпались во время бега. На голове шапочка, в руках автомат. Все на месте.

Подъем становится круче, сбавляем ход. Еще десять шагов, еще пятнадцать, еще пять... Так бы и взбираться на этот холм бесконечно.

«Сейчас выползем наверх, а там – море... И в море Дашенька», – неожиданно проносится в голове, как испуганная птица, одна мысль.

– Стой! – глухо говорит Шея.

Падаем на землю: ноги расставлены широко, левая рука, при-согнутая в локте, выбрасывается вперед, в правой – ствол; при падении основной упор приходится на левую руку.

Семеныч, Шея и Столяр уползают выше, у всех троих бинокли. Замечаю, что они ползут к нескольким людям, уже пришедшим и разместившимся на холме до нас.

«Разведка, смотри-ка ты...»

Позади раздается ровное мощное гуденье.

«Танки».

Смотрю в упор на землю. Рация подо мной.

«Не услышу».

Ложусь на бок.

– Выдвигаемся, – слышится тут же чей-то голос в динамике.

«Как быстро», – успеваю подумать я.

– Пошли! – говорит Язва.

Гудение все ближе.

Выбегаем на холм, отчего-то пригибаясь.

Селение подставляет солнцу бока ладных, высоких домов. Много деревьев. Глаза елозят туда-обратно, ищут те самые четыре дома, которые нам нужны...

«Где? Где? Где? Да вот же они!» – понимаю я.

Одновременно выезжают, взрыхляя землю, два танка, выворачивают напрямую. А за ними и бэтээры. Солдатики, приехавшие на броне, спрыгивают, спотыкаясь. Мы стремимся к машинам, как цыплята. Немного путаемся – одно отделение с другим.

Шея орет на Хасана:

– За бэтээром выстраивайтесь, за бэтээром!

«Ага, нам танк достался!» – думаю я.

Каждое отделение встает за своей машиной.

«А ведь нехерово быть командиром, – думаю я, догоняя чуть сбавивший ход танк и глядя на его монументальную тушу, подрагивающую в двадцати шагах от меня, – я ближе всех к этой махине...»

Выпрыгиваю из колеи танка, беру в беге немного влево, пытаюсь разглядеть село.

«Ну на хрен, – решаю для себя, – вдруг там и правда мины... Приедут куда надо...»

Смотрю направо: Язва сосредоточенно бежит рядом. Его нагоняет Андрюха Суханов с пулеметом. Тяжело такую железяку тащить, наверное. Но на то он и Конь.

Почему не стреляют? Ну стреляйте же... А мы по вам из танка. Узнаете тогда, как в Егорку метиться.

Оглядываюсь на пацанов. Лица сосредоточенные, мокрые. Только сейчас понимаю, что и по моему лицу стекает горячий пот... Облизываю губы, касаясь языком щетины над губой, и чувствую соленый и пыльный вкус...

Близко, мы все ближе. Сгущается страх – в моих запыхавшихся всхлипах и в дыхании бегущих рядом, в самом воздухе. Вот сейчас нас разделит на живых и неживых пулеметная

очередь, и небо для кого-то яростно вспыхнет, а для кого-то – погаснет. И кто-нибудь перешагнет через меня и побежит дальше.

Ноги, кажется, могут согнуться в любую сторону, настолько они стали безвольными. Или я просто устал? Кошусь налево, пытаюсь увидеть Шею, где он? Сразу же вижу – он бежит с отделением Хасана, машет мне рукой, держа у лица рацию. Слышу его голос.

– Ваш дом – второй справа. Второй справа.

– Наш дом – второй справа! – говорю Язве. Он никак не отвечает.

«У него же у самого рация», – догадываюсь я.

Танк резко встает, будто уперся в скалу. Обегая его, слышу, как за спиной кто-то дышит уже со всхлипами, будто плачет. Не хочу смотреть кто.

Дом весь расплзается перед глазами, у меня никак не получается заглянуть в окно, присмотреться – не видно ли там что-нибудь.

Чердак... Чердак закрыт. И забор, где тут калитка в этом отсыревшем частоколе? Перепрыгивать?

Андрюха Конь, видимо, тоже не нашедший калитки, с разбегу бьет в забор ногой, сразу разломив верхнюю поперечную рейку. Хватает колья руками и вытягивает их из земли, крушит крепкое дерево. Стоит такой треск, будто он рвет забор на части. Андрюха проходит в ошетилившийся гвоздями и щепьем прогал. Следом, рванув зацепившийся за что-то рукав, вбегаю я, неотрывно глядя в окно, находящееся ровно напротив прогала. Окно отражает солнце, вставшее за нашей спиной. В два прыжка долетаю до стены, встаю у окна. Язва пробегает ко входу в дом, который расположен с правого бока, я успел заметить этот вход – угадал по приступкам.

Пацаны впрыгивают во двор один за другим.

– Окружаем! – говорю я пацанам и делаю при этом круговое движение указательным пальцем. – Гранаты приготовьте.

Разворачиваюсь к окну, пытаюсь заглянуть в него сбоку и тычу в стекло наискосок нацеленным в нутро дома стволом. Ничего не вижу, отсвечивает... Кусок грязной стены в желтых, кажется, обоях... А вдруг там кто-то стоит посреди комнаты с базуккой в руках и целит в нас?

Вижу боковым зрением, как Женя Кизяков чуть левей от пролома пытается перелезть через забор, неловко усаживается наверху и прыгает на ноги с двухметровой высоты возле небольшого сарайчика.

– Степа! – зову я Черткова. – Давай к Кизе!

Степка подбегает к Кизе, тот что-то показывает ему знаками. Степка кивает. Кизя поднимает автомат, упирает приклад в плечо, наводит ствол прямо на закрытую дверь сарайчика. Степа, стоя сбоку, в правой вертикально держа автомат, левой рукой открывает дверь, тут же прячась за косяк. Кизя, не опуская автомата, заглядывает внутрь. Пинает что-то ногой. Раздается звон.

Бухает взрыв в соседнем доме, там трудится отделение Хасана. Где-то раздается автоматная очередь. Сейчас меня стошнит. Сейчас я осыплюсь, развалюсь на мелкие куски. И язык лягвой упрыгает в траву. И мозг свернется ежом и закатится в ямку.

«Чего делать? Дом окружили, что делать? Стрелять по нему? Хрен я полезу внутрь...»

С другой стороны окна встает Степка Чертков.

Бегу к Язве, нырнув под окном возле двери.

– Будем гранаты кидать? – спрашиваю у Язвы, глядя на его мокрый затылок – он держит на прицеле дверь.

Язва быстро поворачивается ко мне, кивает. Щеки у него совсем серые, но взгляд сосредоточенный, ясный.

«Своих угробим, что на той стороне дома, – думаю, – у Скворца есть рация».

Вызываю его.

– Будем гранаты кидать в дом. Понял? – говорю.

– Все понял.

Семеныч запрашивает Шею, но я не слушаю их переговоры. Вытаскиваю эргээнку, выдергиваю чеку. Андрюха Конь с размахом бьет локтем в одностворчатое окно. Бросаю гранату и, отдергивая руку, режусь о край стекла. Перед взрывом успеваю подумать: «Не взрывается», – и испугаться, что гранату сейчас выбросят обратно, прямо нам под ноги.

Прыгающими руками достаю еще одну эргээнку. По пальцам обильно течет кровь. Слышу, что Язву вызывает Шея.

Бросаю еще гранату, окропив стекло красным. Всю лапу себе распахал...

– Как дела? – бодро интересуется взводный, назвав позывной Язвы.

– Пока никак, – отвечает Язва.

– В доме есть кто?

– Еще минуту... – неопределенно говорит Язва.

Только сейчас замечаю, что на двери висит замок.

– Там нет, наверное, никого, – говорю Язве, кивая на замок.

– Отойдем, – говорит он.

Метров с десяти даем три длинных очереди по двери, метаясь в замок. Подходит, не таясь окон, Кизя, тоже дает очередь по двери, ему не терпится пострелять.

Скворец выкликает меня по рации – волнуется, видимо.

– Всё хорошо, Сань. Дверь открываем.

Изуродованный замок отлетел. Толкаем дверь, прячась за косяки. Она мирно и долго скрипит.

Заглядываю внутрь – там оседает пыль. Держа палец на спусковом крючке, вхожу, поводя автоматом по углам... Прихожая, ведро воды стоит на столике. Из простреленного ведра бьют два фонтанчика воды, растекаясь на столе, покрытом белой клеенкой. На полу тряпье, валяется кружка. Вхожу в комнату – она пуста, обои висят лохмотьями. Весь потолок выщерблен осколками. По полу вдоль стен лежат матрасы, усыпанные стеклом и известкой. На полу валяется несколько использованных шприцев, кусок кровавого бинта.

– Они же тут были... – говорю, хотя это и так понятно и Язве, и Кизе, и Андрюхе Коню.

– Кололись, что ли? – ни к кому не обращаясь, говорит Кизя.

Выглядываю в окошко – Саня, прижавшийся к стене, вздрагивает от неожиданности. Его автомат нацелен мне прямо в рот. Нежно отодвигаю ствол двумя пальцами. Улыбаюсь, хочу что-то сказать, но никак не придумаю что.

«Как хорошо, что никого здесь нет...» – думаю, стряхивая и слизывая обильную кровь с порезанной руки. Неприязненно плюю красным на землю.

Язву снова вызывает Шея.

– Пусто... – отвечает Язва. – Видимо, недавно ушли.

– Выдвигаемся дальше, – говорит Шея.

«Не может быть, что там кто-то есть...» – успокаиваю сам себя, глядя на стоящие чуть в отдалении дома. Извлекаю из кармана бинт (постоянно ношу с собой, используя вместо носового платка), обматываю руку.

– Сань, завяжи, – прошу подошедшего Скворца.

Саня по-девичьи аккуратно завязывает бинт.

«Какой он все-таки славный парень», – думаю с нежностью. Смотрю на часы – только восемь утра с копейками... Весь день впереди. Я уверен, что ничего больше не произойдет. Ничего. Все будет хорошо.

Подходит отделение Хасана, все пружинистые, бодрые. За ними, одноцветные, маячат солдатики. К нам топает Шея.

– В селении две параллельные улицы, – говорит он. – Семеныч со взводом Столяра пошел по одной... Мы пойдем туда... – Шея указывает пальцем на ряд домов. – Стучим в дверь,

никому не хамим, спрашиваем, нет ли случайно в доме боевиков. Здесь в обуви не принято в дом лезть, разуваться мы, конечно, не будем, но ножки при входе надо вытирать.

– Подмываться не надо возле каждого дома? – спрашивает Астахов.

– Чего у тебя с рукой? – обращается ко мне Шея, не отвечая.

– Порезался, – говорю я, глядя, как неприязненно смотрит Монах на Астахова.

– Да – с того края села, оказывается, вояки стоят, – говорит Шея. – Увидите людей в форме – не пальните случайно.

– Чего ж они так херово блокировали село? – спрашивает Язва; тон у него такой, что кажется, ответ ему как бы и неинтересен. Может быть, он в глубине сердца тоже рад, что заблокировали херово. А то бы... Понятно что.

Разделяемся на две группы. Шея с Хасаном идут по левой стороне, мы – по правой.

В первом же доме никто не открывает.

– Чего делать-то? – спрашивает Шею Язва.

– Эдак у нас гранат не хватит... – говорит Язва иронично, разглядывая длинную улицу, ожидая ответа.

– По своему усмотрению, – отвечает Шея по рации.

– Да на хрен они нам нужны, – решает Язва, подумав. И в подтверждение своих слов несильно и презрительно пинает ногой дверь. – Пошли.

Выходим со двора. Скворец бережно прикрывает за собой калитку. Где-то на другой стороне деревни бьет очередь.

– А хорошо живут... – говорит Кизя, оглядываясь на дом, не обращая внимания на выстрелы.

У следующей калитки Язва останавливается, глядя на землю.

– Сапогами натоптали, – говорит он.

– Кто? – спрашивает Скворец.

Язва молчит, глядя по сторонам. Обегая с двух сторон белый кирпичный дом с красным фасадом. Язва с Кизей остаются у двери. Я, Степка Чертков, Андрюха Конь, Монах, Скворец идем вдоль фронтона.

– Открыто, – кивает Андрюха Конь на окно.

Не дойдя двух шагов до белых распахнутых створок, мы слышим неожиданный и резкий шум в комнате. Одновременно с другой стороны дома раздается звон, кто-то кричит. Застываю на месте, не зная, что предпринять.

Андрюха Конь делает шаг к раскрытому окну, хватая высунувшийся оттуда ствол автомата правой рукой. Автомат дает очередь, и пули брызжут по каменистой дорожке. Запустив левую руку, Андрюха подцепляет кого-то в окне и, рванув, вытаскивает наружу. Бородатый мужчина в кожаной куртке, ухваченный Андрюхиной лапой за шиворот, вертится на земле, цепляясь за вырываемый из его рук «калаш».

«Боевик!» – понимаю я и смотрю на него так, будто увидел живого черта.

Андрюха Конь вырывает из его рук автомат и несколько раз бьет прикладом этого же автомата в лоб, в нос, в раскрываемый, сразу плеснувший красным рот чеченца. Степа Чертков помогает ногами, слишком часто и поэтому не очень сильно нанося удары в бок лежащему.

Опасливо заглядываю внутрь дома, вижу ковры на полу и на стенах, мелькает платье – кто-то выбегает из дома, туда, где стоят Язва и Кизя. Бегу к дверям предупредить.

Кизя, раздувая бледные, тонко выточенные ноздри, уже держит за грудки, пытаюсь остановить, женщину, чеченку, дородную бабу – это она была в доме. Кизя коротко бьет ее лбом в переносицу, она, охнув, обвисает у него в руках.

– Тяжелая... – говорит Кизя, не в силах удержать женщину, и потихоньку опускает ее, мягкую, будто бескостную, на приступки.

– В дом затащите, – говорит Язва.

Мы берем женщину под мышки – они теплые, чувствую я; пытаемся стронуть, но не можем. Перехватываемся, взявшись за пухлые запястья женщины, и затаскиваем ее в прихожую.

– Сука, щеку распахала... – говорит Кизя, трогая щеку, на которой разбухают четыре глубокие царапины.

Заходим в дом, открываем шкафы, Кизя даже отодвигает незаправленный, с нечистым бельем диван.

Андрюха Конь, положив мощные лапы на подоконник, смотрит в дом, на нас. Лицо в розовых пятнах от злости и возбуждения.

Выходим на улицу, чеченец в сознании, лежит, скрючившись. Смотрит безумными глазами, рот открыт, изо рта, из носа, со лба течет кровь. Голову ему трудно держать, он падает виском на землю, прикрывает глаза.

– Чего, потащим его с собой? – спрашивает у Язвы Степка, стоящий рядом с чеченцем. Язва отрицательно качает головой. Кизя щелкает предохранителем.

«На одиночные поставил», – понимаю я.

Кизя кивком просит Степу отойти. Степа тихо, чуть не на цыпочках отходит от чеченца, словно боясь его разбудить. Кизя, проведя ладонью по изгибу сорокапятизарядного рожка, медленно переносит руку на цевье и сразу нажимает на спусковой крючок. Пуля попадает в грудь лежащего, он, дернувшись, громко хекает, будто ему в горло попала кость и он хочет ее выплюнуть. Кизя стреляет еще раз, из шеи чеченца, подрагивая, дважды плескает красный фонтанчик. У Кизи до синевы сжаты, словно алюминиевые, покрытые тонкой кожей, челюсти. Еще несколько пуль Кизя вгоняет в голый живот все слабее дергающегося человека. После шестого или седьмого выстрела чеченец слабо засучил ногами, словно желая помочиться, и затих. Следующие пули входили в него, обмякшего и неподвижного. Только голова после второго же выстрела начала дробиться, колотья, разваливаться, утерья очертания, завис на нитке глаз, а потом отлетел куда-то с белыми костными брызгами, тошнотворными мазками распался мозг, словно пьяный хозяин в дурном запале ударил кулаком по блюду с холодцом...

Отворачиваюсь. Хлопаю по карманам в поисках сигарет. Прикуриваю, глядя на большой палец с белой лункой на ровно постриженном ногте. Выстрелы следуют друг за другом ритмично и непрерывно.

– Сорок пять, – констатирует Кизя. Я слышу, как он снимает пустой рожок.

Поднимаю глаза. Держась за стену, стоит женщина, чеченка, глядя на убитого. На лице ее кровь. Глаза спокойны и пусты.

Молча иду со двора. За мной Кизя, Степа. Скворец обходит женщину, словно она раскаленная. Язва медлит. Он подходит к женщине и, наклонив голову, смотрит ей в глаза. Держу калитку открытой, глядя на них. Язва поправляет автомат на плече и выходит.

Заворачиваем в следующий двор, равнодушно расходимся – каждый на свое место около дома. Язва стучится. Открывает женщина.

– Никого нет, никого, – говорит она. – Все недавно ушли, в окраинных домах были... утром убежали...

– Куда?

– Я не знаю. Откуда знать.

– Тут вот один не убежал... – говорит Язва задумчиво.

– Он ненормальный был. Душевнобольной, – отвечает тетка.

Язва, Андрюха Конь и Кизя заходят в дом. Слышу их заглушаемое стенами потопывание. Прикуриваю еще одну. Скрипит входная дверь. Одновременно падает пепел с сигареты.

За домом начинается длинный забор – дощатый, крепкий, в два метра высотой. За забором лежит пустырь, на пустыре – разрушенные строения, в которых спрятаться невозможно –

просматриваются насквозь, да и стены еле держатся, окривели совсем. Возможно, забор нагородили, чтобы какое-нибудь строительство начать, может, еще зачем.

Идем, и в голове каждого, кажется мне, копошатся беспомощные мысли, которые привести в стройность и ясность никто из нас не может.

По левую руку вдалеке за домами виднеется мечеть, неестественно чистая в солнечном свете.

Андрюха Конь вытащил откуда-то семечки, лузгает, плюется. Все, кроме Монаха, разом тянутся к нему – суют сухие, крепкие, красивые ладони. Процедура раздачи подсолнечного зерна нас объединила.

– Ты откуда семечки-то взял? – интересуюсь я, с облегчением разрушая тишину и наше хмурое сопение.

– А из дома привез, – отвечает Андрюха Конь спокойно, и у меня мелькает подозрение, что он вообще ни о чем таком не думал, ну, убили чечена и убили. Говорят, взятых на зачистках из ГУОШа чуть ли не сразу отпускают. То ли наши чины кормятся этим, то ли такой бездарный приказ спущен сверху.

– Андрюх, ты как автомат-то заметил? – спрашивает Степка Чертков. – Ловко ты его... – не дожидаясь ответа, засмеялся Степа, – за шиворот...

Я тоже улыбаюсь, и Скворец, вижу краем глаза, довольно кривит губы. Монах смотрит в сторону. Тонкий рот Кизи, словно с силой выкроенный резцом в листе алюминия, сжат. На лице, на скулах, разгоняя сплошную бледную синеву, иногда появляются розовые пятна.

– Не толпитесь... – говорит Язва всем нам. Мы постоянно ненароком толкаемся плечами и бодро плюемся жареной солоноватой шелухой.

Я не грызу семечки по одной – это довольно бестолковое занятие, – а собираю их в ложбинке у щеки. Язык, совсем было отупевший, пока ехали сюда, теперь ловко выполняет свою работу, распределяя, хоть порой и с ошибками, шелуху в одну сторону, а съестное – в другую. Я все оттягиваю тот момент, когда можно будет начать жевать, сладостно давя семена числом, может, около тридцати – больше не получится, а меньше не хочется.

«Ну вот, последнюю...» – думаю я, совсем уже благостным взглядом озирая местность, проем в заборе, недалекий уже домик, а за ним еще один, приостанавливаюсь, потому что Андрюха мочится на забор и, поводя бедрами, рисует черные, дымящиеся и тут же оползающие вниз вензеля на досках. Пересыпаю из правой ладони в левую зерна, выбираю одну попузастей и от неожиданности разом выплевываю все в трудах собранные семечки, и они обвисают у меня на бороде – кто-то из-за ограды, по-над нашими головами дает длинную, в полрощка, очередь. Андрюха как ошпаренный отпрыгнул от забора, Степка присел на корточки, Язва и Кизя, мгновенно вскинув автоматы, дают две кривые очереди по забору, в местах прострелов сразу ошестинившемуся раздолбаным щепьем.

– Вали чеченов, Сидорчук! Рядовой Сидорчук! Я сказал, вали! – в хриплой истерике орет кто-то за оградой.

– Там наши! – кричу я, останавливая и Язву, и Кизю, и Андрюху Коня, всадившего короткую очередь в забор из пэкаэма.

– Эй, уроды! – ору я изо всех сил тем, кто стрелял в нас. – Одурели совсем, по своим лупите!

Еще ожидая выстрелов, я спешу к проему в заборе, пригнувшись, заглядываю туда и вижу низкорослого хилого солдатика и бугая-прапора. Солдатик держится двумя руками за цевье автомата прапора и увещевает его:

– Не стреляй... това... пра... Не стреляйте! Я говорю вам, там спецназовцы идут!

– Какие, на хрен, спецназовцы! – ревет, пытаюсь высвободить автомат, прапор; он давно бы вырвал у солдатика свой ствол, если б не был дурно пьян, по широко расставленным ногам

и полубезумному взору я сразу определяю его непотребное состояние. Кажется, что это не солдатик держит ствол, а прапор держится за автомат, чтобы не упасть.

– Вот он! – увидев меня, прапор жмет на спусковой крючок. Одновременно солдатик с силой давит на автомат, и пули бьют в землю.

Дергаюсь, хочется попятиться задом, но чувствую, что кто-то из пацанов, пробирающихся вслед, подталкивает меня коленом. Выскакиваю, пляшу на земле дикий танец, потому что очередь проходит прямо у меня под ногами.

– Уйди, бля! – орет прапор и с силой, толкающим бабьим движением бьет солдатика в лицо.

Тот отпускает автомат, но я уже близко. Уйдя с линии огня, бью ногой прапору под колено, одновременно прихватив и чуть потянув на себя правой рукой его ствол. Прапор екает, даже пьяным мозгом своим расчихав боль в коленной чашечке. Я дергаю ствол на себя, прапор подается вперед, почти падает на меня, но сразу же получает прямой удар в скулу моей левой раскрытой ладонью, которую я тут же переношу на приклад его автомата и уже двумя руками легко вырываю оружие. Прапор пытается нанести удар мне в лицо, но тут же получает прикладом своего «калаша» в морду и падает.

– Вы чего, мужики? – спрашивает он уже с земли, трогая висок и глядя на замазанную кровью ладонь. Вместо ответа Андрюха Конь наносит ему удар под ребра ногой.

– Ребят, мы свои, не убивайте его... – просит солдатик, боязливо трогая Суханова; малый, кажется, по пояс Андрюхе, ну, может быть, чуть повыше, но весит точно пудов на шесть меньше.

Прапор тянется рукой к поясу – я замечаю на поясе красивые ножны. «Здесь, поди, резак надыбал», – думаю я, делая шаг к прапору, совершенно не боясь его – что может сделать эта пьянь! Андрюха Конь, опережая меня, наступает прапору на руку; нагнувшись, легко, как у ребенка, отнимает извлеченный из ножен резак и какое-то время рассматривает его, не убирая ноги с драни прапора, шевелящей в грязи корявыми пальцами. Прапор неожиданно резво поворачивается на бок и вцепляется зубами в лодыжку Андрюхи.

– Ах ты... – ругается Суханов, рванувшись, да так и оставив в зубах прапора кусок «комка».

Андрюха со злобой бьет ногой в лицо лежащему, и я удивляюсь, как голова прапора не взлетает, подобно мячу, и не делает красивый круг, взмахнув грязными ушами на солнце...

– Хорош, Андрей, – урезонивает Коня Язва, – убьешь копытом своим...

Прапор еще жив и мычит, раскрывая склеенный кровавыми соплями рот.

– Прокусил, гнида! – злится Андрюха Конь. – Может, он бешеный? Эй, как тебя, – зовет он солдатика, – прапор не бешеный?

– Не понял, – отзывается солдатик пугливо.

– Не воет по ночам?

– Нет вроде...

– Дай-ка ствол, – просит Язва у меня автомат прапора.

Язва отсоединяет рожок у автомата и кладет его в карман. Передергивает затвор, и патрон, сделав сальто, падает на землю. Степка его подбирает. Язва снимает крышку ствольной коробки и, как следует замахнувшись, кидает ее за ограду. Следом улетает возвратная пружина. Куда-то в противоположную сторону летит затворная рама, газовая трубка и цевье. Пламегаситель дается тяжело.

– Грязный какой ствол, а... – ворчит Язва.

Пламегаситель падает куда-то в развалины.

– Ну-ка, Андрей, ты запусти... – просит Язва Коня, подавая ему голый остов автомата. Андрюха, как сказочный молодец, размахивается, автомат летит неестественно далеко и падает в кусты за развалинами.

– Ну, пойдем? – говорит Язва таким тоном, будто мы только что сделали что-то очень полезное.

– Мужики, а как же я? – спрашивает солдатик.

– Иди и доложи командиру о произошедшем... – говорит Язва строго и серьезно, хотя я чувствую, что он дурит и вообще очень доволен.

Благодушной оравой выбредаем на улицу селения. Впереди маячат наши плечистые товарищи. Гудит бэтээр.

Открываю лоб сентябрьскому чеченскому ветерку. Кажется, нам опять повезло...

Когда мы были вместе, Даша спасала меня от моих ужасов. Но, вернувшись к себе домой, один я не справлялся с припадками. Валялся дома, смотрел в потолок. Вскakiвал, клал себе на шею пудовую гантель, начинал отжиматься. Отжимался и кричал:

– Рраз! Два! Три! Ррраз! Два! Три!

Потом снова лежал на диване, руки на сгибах локтей атели – отжимаясь, я рвал капилляры. Потом выпивал стакан водки и снова лежал.

Часы прокручивались медленно, как заводимый ручкой мотор заледеневшего автомобиля. Закрывал глаза, и картинки ее прошлого разлетались колодой карт, брошенных в пропасть. Мелькали бесконечные валеты... и еще ножки, груди, губы, затылок, подрагивающие лопатки. Все эти бредни оккупировали мозг.

Я наливал себе холодную ванну и ложился в нее. Ходил по квартире, оставляя мокрые следы, ежился, пьяно косился на зеркало, отстраненно наблюдая, как страдает мой лирический герой. Одевался и снова ехал к Даше. Трезвел в дороге. Бормотал, кривил губы и крутил головой в электричке, выходил на перроне вокзала Святого Спаса, бежал к трамваю.

Подходя к ее дому, я пытался посмотреть вокруг глазами моей Даши, возвращающейся домой от другого, – тогда, вне и до меня. В голубых джинсиках, ленивая, между ножек уже подтекает сперма, трусики мокрые и джинсики в паху приторно пахнут.

Что она думала тогда? Улыбалась? Шла как ни в чем не бывало? Хотела скорее замочить, посыпав голубым порошком, нежно-белый комок измазанной ткани, принять ванну и лечь спать?

Подходя к дверям ее квартиры, я никогда сразу не звонил. Ящик в углу лестничной площадки, припасенная в недрах ящика для себя, задерганного, сигарета. Затяжки глубокие, как сон солдата, нервные пальцы исследуют поверхность небритой щеки.

Ее мужчины не были призраками – они наполняли пространство вокруг меня. Они жили в нашем, завоеванном нашей любовью городе. Они ездили на тех же трамваях, переходили те же улицы. Гуляя с Дашей, мы шли мимо их домов. Домов, где бывала она, позволяла себя целовать, трогать, сжимать, жать, мять, рвать... «Тихо-тихо», – говорила она им, возбужденным. Ее раздевали: свитерок через голову, с трехсекундным отрывом от губ; джинсики сползали с трудом – запрокинувшись на спину, подняв вверх ножки, она любезно предоставляла кому-то возможность снять их с нее; трусики, невесомые, падали возле дивана; со второй или с третьей попытки расстегивался лифчик, выпадали огромные, ослепительные груди, белые, как мякоть дыни, с потемневшими от возбуждения сосками, похожими на полюса спелого арбуза.

Эти мужчины... Они были всюду. Я чувствовал их запах, ощущал их присутствие. Их было слишком много для того, чтобы нам всем хватило места в одном городе.

Как я узнал об их существовании? От нее.

Как-то мы зашли в кафе, я попросил себе пива, она заказала себе несколько блюд, названий которых я не знал; пока я курил и разглядывал себя в зеркалах, время от времени довольно косясь на ее строгое лицо, принесли заказ. Осторожно касаясь вилочкой белого мяса сладкого морского зверька, она заявила с присущей ей легкостью:

– Знаешь, я сегодня сосчитала всех... – здесь она сбавила скорость разогнавшейся было фразы, – своих... – она еще чуть-чуть помедлила, – мужчин. Если у тебя такое же количество женщин, значит, у нас с тобой начался новый этап.

– Ну и сколько их у тебя... получилось? – хрипло, как водится в таких случаях у мужчин, спросил я.

– Угадай.

– Пятнадцать, – быстро ответил я, решив, что сразу назову огромную цифру. Все-таки ей было едва за двадцать, она совсем недавно окончила советскую, исповедующую пуританство и строгие нравы школу.

Она отрицательно pokrutila головой.

– Меньше? Больше? – спросил я нервно.

– Больше, – легко ответила она.

– Двадцать, – с трудом выдавил я.

– Больше.

– Тридцать, – уже раздраженно накинул я десятку.

– Меньше.

– Двадцать пять.

– Двадцать шесть, – отдельно сказала она и улыбнулась. – А у тебя?

– А у меня ты первая, – сказал я, помолчав. Так и не решив еще, что сказать – правду, неправду?

– Врешь, – ответила Даша и сыграла зрачками.

– В любом случае – нового этапа не будет.

Потом она говорила о чем-то другом, а я думал только про то, что... да нет, ничего я не думал. Что тут думать? Сидел и повторял: «Двадцать шесть... Двадцать шесть». Потом шел по улице и снова полоскал в голове эту цифру. «Двадцать шесть бакинских комиссаров...» – выплыло у меня в голове. «Джапаридзе, иль я ослеп? Посмотри, у рабочих хлеб!» – декламировал я по памяти про себя.

– Что такое с тобой? – спросила она. Даша не любила мрачных эмоций, замкнутости, мутных настроений... Она совершенно искренне не поняла, в чем дело.

Потом мы опять встречались, я хочу сказать, что сказанное ею не убило меня наповал; возможно, мы встречались еще несколько недель, и я вел себя вполне спокойно. До тех пор, пока однажды, впад по обыкновению после двухчасового постижения возможностей наших молодых тел в лиричное настроение, она не сказала:

– Мужские половые органы делятся на несколько типов. Тип первый...

– Прекрати, поняла? – прошептал я.

Она улыбнулась и погладила меня:

– Прости, Егорушка. Правда, я не хотела.

Спустя дня три я не выдержал и задал ей какой-то пошлый вопрос, множество глупых мужских вопросов: «кто был первым», или «кто последним», или «кто был в середине», и «в какой последовательности», и «как с ними со всеми было», и, наконец, «не знаю ли я кого-нибудь из... ее списка».

Она посмотрела на меня удивленно. Даша не любила, когда ее дергали, когда ее домогались, однако я же говорил, она любила, когда – кровотоцит. Это был знак качества для нее. Признак истинности, всамделишности чувства. Поэтому по ее молчанию я догадался, что кого-то знаю, хотя общих знакомых у нас практически не было.

Я задал последний вопрос еще раз. Как бы нехотя и как бы смущаясь, она назвала мне фамилию молодого преподавателя философии в институте, где мы, изредка появляясь, проходили курс неких замечательных наук.

– Я с ним училась на одном курсе, – пояснила она, – пока я в академах была, он преподавателем стал, – засмеялась она и посчитала своим долгом добавить: – Это было давно уже. В мои семнадцать.

Преподаватель был крепким, чуть пухловатым парнем с уверенными нагловатыми глазами, он обладал совершенно необъятной эрудицией, был настолько переполнен знаниями, что лекции вел плохо. Стоило ему в рассказе оступиться в причастный оборот («...считавшийся до тех пор...») или «встречавшийся ранее...»), как он уходил от темы и возвращался к ней в лучшем случае через полчаса. Отличницы бросали авторучки, раздраженные непоследовательностью повествования; что касается редких учащихса мужеского пола, то они снисходительно (а на самом деле униженно) улыбались.

Я почувствовал, что иду по следу, и спросил у Даши:

– Где? Где у вас это происходило?

Она с удивительной готовностью, с озорной улыбкой, будто рассказывая о том, как она мороженое своровала с товарищем по детсаду, ответила:

– Прямо в институте. После лекций. Там, помнишь, на втором этаже, напротив аудиторий, есть маленький коридорчик, ведущий в бывшую курилку, ее сейчас закрыли... Вот там, в этом коридорчике... Нас тогда декан заметил, – развспоминалась Даша, – мимо проходил и увидел...

– Он узнал тебя? – спросил я, не понимая, о чем я, собственно. Речевой аппарат неплохо справлялся с вопросами без особого моего участия.

– Не знаю. Его узнал. Мы бочком стояли, я лицом к стеночке... Декан голову опустил и шагу прибавил, – засмеялась Даша.

Мы допили чай – наш разговор шел за привычным чаем. (Из спальни мы перекочевывали в кухню и, думается, большую половину времени проводили вместе либо лежа, либо сидя.) Итак, мы допили чай и даже поговорили о чем-то еще. Я проявил редкое хладнокровие.

– Будем собираться в институт? – поинтересовался я равнодушно.

– Егорушка, я, наверное, не пойду, устала...

Честно говоря, я обрадовался. Собрался за три минуты. «Рано придешь, Егор?» Не слыша ее: «Ага...» – выскочил на улицу. Каждые пятнадцать шагов переходя на истеричный бег, я добрался до остановки. В маршрутке я смотрел в лобовое стекло, будто притягивая взглядом, намагничивая институт.

Я махнул корочками перед лицом вахрушки и, услышав ее недовольный окрик, вернулся к ней, полный гнетущего бешенства, и ткнул бабуле в лицо свой студенческий, чтобы она разглядела его и сверила юную шестнадцатилетнюю со следами полового созревания физиономию с нынешним моим лицом – серым, небритым (в области скул и бритым в области черепа – помните, да?).

Перепрыгивая через две (неудачно стараясь перепрыгнуть через три) ступени, я добежал до второго этажа и повернул в тот самый коридорчик. Я стоял там – стоит написать «тупо стоял» и, что удивительно, только так и можно написать, потому что как еще в этом закутке четыре года спустя стоять, как смотреть, о чем думать?

Я поозирался немного, посмотрел на пол, будто ожидая увидеть густые капли. Стыдливо оглянувшись, нет ли кого рядом, я подошел к тому углу, где, как мне казалось, все и должно было происходить. Прижался щекой к стене, посмотрел вбок, на коридор, где тогда прошел декан. Коридор видно хорошо. Узнал ее декан? Не узнал? Какая разница...

Я посидел немного на подоконнике. Потом посмотрел в окно. Потом пошел на первый этаж, в туалет. Выворачивая из-за угла к туалету, я увидел преподавателя философии. Стараясь не топтать, я побежал к туалету. Ни о чем не думая, просто побежал. Когда я вошел, он еще мочился, это было слышно. Он заканчивал мочиться и, наверное, тряс членом, сбрасы-

вая последние капли. Дверь в его кабинку была не закрыта на защелку, чуть-чуть отходила от косяка. Он не посчитал нужным закрыться. По ботинкам я увидел, что он разворачивается.

«Нужно скорей!» – я сделал шаг и рванул его дверку на себя.

Я даже не знаю, какое у него было выражение лица, кажется, он что-то сказал, вроде: «Вы что, не видите, что занято?» Я смотрел на его член, который он еще не успел упрятать. Я увидел – член был небольшой, пухлый, мышинового цвета, с прилипшим к головке волоском. Это продолжалось меньше секунды. Я извинился и зашел в другую кабинку.

– База? – серьезно спрашивает Плохиш, небрежно держа у лица рацию, он вызывал по запасному каналу дневального Анвара Амалиева. Ветер шевелит блондинистые, будто переспелые волосы Плохиша. Он нечасто, в ритме здорового сердца, бьет мякотью сжатого кулака по крыше.

– База на приеме, – строго отвечает Анвар.

– Два кофе на крышу, будьте добры.

Пацаны, уютно расположившиеся между мешков и плит поста, раскатисто смеются переговорам Плохиша. Я довольно лежу на спине, распластавшись, как замученная ребятней и высохшая на солнце белопузая жаба. Очень хорошо помню этих жаб, над которыми изгалялись мои интернатские дружки.

Движение туч предельно увлекательно. Увлекательней разве что кидать камушки в воду, прислушиваясь к булькающему звуку.

– Чего на базу не идешь? – спрашивает Плохиш, сменивший меня. – Там ваша команда уже кильку пожирает.

Блаженно жмурюсь, не отвечая. Мнится, будто облака сладкие и невыносимо мягкие. Делая легкое усилие, их можно рвать руками, как ватное нутро вспоротого, источающего мутно-затхлые запахи дивана... Ожидая отца, я часами смотрел в окно на облака. И у меня те же чувства были, что и сейчас. Что же, я с тех пор больше ни разу не смотрел так в небо? Сколько лет прошло? Пятнадцать? Двадцать? Времени не было, что ли, посмотреть?.. За столько-то лет!..

– База! Где наш кофе? – не унимается Плохиш. Кажется, я слышу, как смеются пацаны в «почивальне». И даже представляю, как хмурится Анвар, мучаясь от того, что не в силах придумать достойный ответ Плохишу.

«Не уймется, пока Семеныч не обматерит, – думаю о Плохише. – Нет, напрасно мне Плохиш напомнил о кильке...»

Чувствую ноющий, предвкушающий утоление голод.

– Ну, ты идешь, нет? – еще раз спрашивает меня Плохиш.

«Что-то тут не так, – догадываюсь. – Чего он пристал?..»

– Ну как хочешь... – говорит Плохиш и достает бутылку водки.

«Как я сразу не догадался!»

– Будешь? – предлагает Плохиш.

На голодный желудок не очень хочется, но отказаться нет сил.

«Сейчас быстренько выпью, а потом побегу закушу», – решаю.

– У меня только одна кружка, – говорит Плохиш.

– А я из горла.

Я могу пить из горла.

Плохиш наливает себе, горлышко бутылки позвякивает о кружку. Раздается резкий запах водки. Морщусь неприязненно: все-таки я голоден.

– Ну давай, – Плохиш протягивает мне бутылку. Чокаемся. Зажмурившись, делаю глоток, второй, четвертый...

– Эй-эй! Эй, дружище! – останавливает меня Плохиш. – Присосался...

– Спасибо, – говорю отсутствующим голосом, глубоко вдыхая носом запах мякоти собственной ладони.

Со всех концов крыши к Плохищу сползаются бойцы.

Чувствуя легкую тошноту, бреду к лазу. Дышу полной грудью, чтобы не тошнило.

В «почивальне» забираю у жующего Скворца початую банку кильки («Санёк, открой себе еще одну!») и жадно начинаю есть, слизывая прекрасный, неизъяснимо вкусный томатный сок с губ. Тошнота отпускает.

Саня хмыкает и ножом ловко вскрывает еще одну банку.

Быстренько покончив с килькой, чувствую, что не прочь выпить еще. У меня три баночки пива припасены, сейчас я их уничтожу.

– Санёк, пойдем пивка выпьем? – говорю я.

– Угощаешь?

– Ага.

Проходим по школьному дворику, ставшему уютным и знакомым каждым своим закоулком. Толкаем игриво поскрипывающие качели – кто-то из парней, наверное, домовитый Вася Лебедев, низкий турник приспособил под качели. Только не качается никто. Разве что Плохиш, выдурясь, влезет порой и занудно просит Амалиева его покачать.

Садимся на лавочку за кухонькой. Откупориваю две банки, одну даю меланхоличному Саньке. Подмывает меня поговорить с ним о женщинах. Алкоголь, что ли, действует.

– Саня, давай поговорим о женщинах, – говорю я.

Саня молчит, смотрит вверх ограды, куда-то домой, в сторону Святого Спаса. Я отхлебываю пива, он отхлебывает пива. Я закуриваю, а он не курит.

«Как бы вопрос сформулировать? – думаю я. – Спросить: “Тебя ждет кто-нибудь?” – это как-то пошло. А о чем еще можно спросить?»

– Меня никто не ждет, – говорит Саня.

Я задумчиво выпускаю дым через ноздри, глядя на солнце в рассеивающемся перед моим лицом никотиновом облачке. Своим осмысленным молчанием пытаюсь дать понять Сане, что очень внимательно его слушаю. Боковым зрением смотрю на него. Саня усмехается, косясь на меня:

– Что уставился на меня, как дурак на белый день?

– Да ну тебя на хер... – огрызаюсь я, улыбаясь.

– Я был женат около тридцати минут, – говорит Саня. – Мою жену звали... Без разницы, как ее звали. Мы расписались и по традиции поехали к Вечному огню. Поднимаясь по ступеням возле постамента, я наступил ей на свадебное платье, оставив четкий черный след. Она развернулась и при всех – при гостях и при солдатах, стоящих у Вечного огня, – дала мне пощечину. Взяв ее под руку, я поднялся на постамент, вытащил из бокового кармана пиджака свидетельство о браке и кинул в огонь.

Я бычкую сигарету и тут же прикуриваю вторую.

– Поэтому я не хочу больше жениться, – говорит Саня. – Вдруг я наступлю жене на платье?

На крышу кухоньки падает камень.

– Эй, мальчики! – кричит с крыши Плохиш. – Прекратите целоваться!

Кряхтя, встаю. Выхожу из-за сараюшки и показываю Плохищу средний палец, поднятый над сжатым кулаком.

– За сараем спрячутся и целуются! – нарочито бабым голосом блажит Плохиш, его слышно половине Грозного. – Совсем стыд потеряли! Вот я вам, ироды!

Плохиш берет камень и опять кидает в нас. Увесистый кусок кирпича едва не попадает в меня.

– Болван! – кричу. – Убьешь ведь!

– Саня, иди домой! – не унимается Плохиш. – Христом-Богом прошу, Саня! Ты не знаешь, с каким жульем связалась! Валенки он тебе все равно рваные даст!

На шум выбредает из школы Монах, задирает голову вверх, прислушиваясь к воплям Плохиша.

– Монах! – зову я. – Хочешь пивка?

– Я не пью, – отвечает он.

– Ну, иди покурим... – предлагаю я, осведомленный о том, что Монах и не курит.

Под вопли Плохиша с крыши Монах неспешно бредет к нам и тихо улыбается. Подойдя, но так и не решив, что делать с улыбкой, Монах оставил ее на лице.

Пиво славно улеглось, создав во взаимодействии с водкой и килькой ощущение тепла и нежного задора.

– Монах, ты любишь женщин? – спрашиваю я.

– Егор, тебя заклинило? – спрашивает Скворец.

– Ладно, на себя посмотри, – незлобно отругиваюсь я. – Ну, любишь, Монах?

– Я люблю свою жену, – отвечает он.

– Так ты не женат! – я откупориваю сладко чмокнувшую и пустившую дымок банку с пивом и подаю ему.

– Егор, я не пью, – улыбается Монах.

Как хорошо он улыбается, морща лоб, как озадаченное дитя. Я и не замечал раньше. И даже кадык куда-то исчезает.

– Какое это имеет значение... – серьезно говорит Монах, отвечая на мой возглас.

– А какая она, твоя жена? – интересуюсь.

Скворец морщится на заходящее солнце, кажется, не слыша нас.

– Моя жена живет со мной единой плотью и единым разумом.

И тут у меня что-то гадко екает внутри.

– А если она до тебя жила с кем-то единой плотью? Тогда как?

– У меня другая жена. Моя жена живет единой плотью только со мной.

– Это тебя Бог этому научил?

– Я не знаю, почему ты раздражаешься... – отвечает Монах. – Девство красит молодую женщину, воздержанность – зрелую.

– А празднословие красит мужчину? – спрашиваю я.

Монах мгновение молчит, потом я вижу, как у него появляется кадык, ошестинившийся редкими волосками.

– Ты сам меня позвал, – говорит Монах.

Я отворачиваюсь. Монах встает и уходит.

– Чего он обиделся? – открывает удивленные, чуть заspanные глаза Саня.

– Пойдем. Пацаны чего-то гоношатся, – говорю я вместо ответа, видя и слыша суету в школе.

– Чего стряслось? – спрашиваю у Шеи, зайдя в «почивальню».

– Трое солдатиков с заводской комендатуры пропали. Взяли грузовик и укатили за водкой. С утра их нет.

– И чего?

– Парни поедут их искать. Поедешь?

– Конечно, поеду, – отвечаю искренне.

Вскидываю руку, сгибая ее в локте, камуфляж чуть съезжает с запястья, открывая часы. Половина девятого вечера. Самое время для поездов.

В «почивальне» вижу одетых Язву, Кизю, Андрюху Коня, Тельмана, Астахова. Они хмуры и сосредоточены.

Плюхаюсь на кровать Скворца.

– Ямщи-ик... не гони... ло-ша-дей! – пою я, глядя на Андрюху Коня.

Конь, до сей поры поправлявший, по словам Язвы, сбрую, а верней, разгрузку, вдруг целенаправленно идет ко мне.

– Где выпил? – спрашивает он.

Я смотрю на Андрюху ласковыми глазами.

– Поваренок налил? – наклоняясь ко мне, спрашивает он.

Не дождавшись ответа, Конь выходит из «почивальни». Спустя пять минут возвращается – и по вздутым карманам я догадываюсь, что он выцыганил у Плохиша два пузыря.

Андрюха Конь садится рядом со мной.

– Может, мы до утра будем их искать, – говорит он. – Надо же как-то расслабиться.

– Кильку возьми... – говорю я. – А чего не едем? – спрашиваю громко у Тельмана.

– Уже едем, – говорит он. – Черную Метку ждали.

– А его-то куда несет?

Никто не отвечает.

– Все готовы? Конь? Тельман? Сорок Пять? – спрашивает Язва.

Язва придумал Женьке Кизякову новое прозвище: Кизя-Сорок Пять или просто Сорок Пять – за тот расстрел бесноватого чеченца.

На улице стоят два подогнанных к школе «козелка». Вася Лебедев, чему-то ухмыляясь, смотрит на нас. Лезем к нему в вечно душную машину – Кизя, Астахов, я... Появляется строгий Андрей Георгиевич, следом шагает раздраженный Куцый.

– Мы другого времени не можем найти, чтоб их искать? – спрашивает он раздраженно. По голосу Куцего слышно, что разговор начался раньше, еще в здании.

Черная Метка молчит, но не отстраненно, а, напротив, молчанием давая понять, что согласен с Семенычем, однако повлиять на сложившиеся обстоятельства никак не может.

Вася Лебедев смотрит на Семеныча, выдерживает паузу, чтобы не заводить машину, пока Куцый не выговорится. Куцый злобно плюет и отворачивается. Вася поворачивает ключ, мотор с ходу начинает урчать. Куцый подходит к открытой задней дверце со стороны Астахова, держащего между ног «Муху»:

– Дима! Самое важное – сразу определить, откуда идет стрельба. Даешь туда первый выстрел, а там пацаны разберутся.

Дима молча и серьезно кивает своей большой лобастой головой.

Приспосабливаю автомат дулом в форточку. Настроение замечательное. Одна беда – Конь едет во второй машине, сейчас вылакают все без меня.

В открытую фортку ласковыми рывками бьет вечерний грозненский воздух. Я пытаюсь оглянуться, посмотреть в заднее окно «козелка» на следующую за нами машину. Почти с ужасом представляю себе, что увижу Коня, хлебающего водку из горла и передающего пузырь по кругу. Ничего, естественно, не вижу.

Выхватываемые фарами, боками к дороге стоят дома. Внутренностей у многих домов нет, будто кто-то выковырнул из них сердцевину, оставив сохлый, крошащийся скелет с черными щелями меж поломанных ребер. Я смотрю на дома – и на душе у меня становится мягко и тепло, как у суки под животом.

На поворотах я, кренясь, касаюсь стекла открытым лбом – задрал черную шапочку на затылок. И вообще чувствую себя расслабленно, не пытаюсь удержаться на поворотах и покачиваюсь из стороны в сторону, будто я плюшевая игрушка, усаженная на заднее сиденье. Впрочем, даже в таком состоянии я увидел неожиданно появившуюся в темноте белую «копейку» без включенных габаритов, еле двигавшуюся по дороге.

Вася резко крутанул руль, раздался звук удара, скрежет. «Копейку» катнуло вперед. Вася, не сбавляя скорости, выровнял нашу машину и еще надал газку. Второй «козелок», выставив автоматы в сторону «копейки», резво покотил вслед за нами.

Мы смеемся, нам смешно.

В машине, идущей за нами, Язва включил рацию, чтобы сказать что-то, и я слышу, что там тоже все смеются.

– Нормально? – неопределенно интересуется Язва.

– Душевно... – не менее неопределенно отвечает Вася.

И мы снова все одновременно засмеялись, восемь человек посередине мрачного города, молодые безумные парни. Даже Черная Метка, словно нехотя, скривился.

– Тише, тут блокпост... – говорит он Васе негромко.

– Учтем, – отвечает Вася.

Напрягаю мышцы – то бицепсы, то шейные. Неожиданно остро начинаю чувствовать собственные соски, касающиеся тельника. Ссутуливаю плечи, чтобы отстранить ткань от груди, избавиться от этих раздражающих касаний. Аккуратно трогаю пальцами дверную ручку, чтобы рука запомнила ее местонахождение, не спутала, не заблудилась в потемках, если понадобится резко открыть дверь, чтобы выпасть.

Метров за тридцать до блокпоста мы, прижавшись к обочине, встаем. Я, несказанно и непонятно отчего счастливый, выскакиваю на асфальт из машины.

– Эй! Свои! – кричу я и расхлябанно двигаюсь к посту. Из проема меж плит выходит офицер, недоверчиво глядя на меня.

– Машину ищем. Солдатики из заводской комендатуры уехали за водкой и не вернулись. Не видели? – спрашиваю я, подавая ему руку.

Он отрицательно качает головой. Ладонь у него вялая и – в темноте чувствую – грязная, в сохлом земляном налете.

Тихо подъезжают наши машины. Выходит, хлопнув дверью, Черная Метка. Я уйду – сейчас начальство повторит вопросы, только что заданные мной.

За вторым «козелком» уже толпятся пацаны – Язва, Вася, Кизя-Сорок Пять, Тельман, Андрюха Конь, Астахов...

– Опа! – говорю я.

Астахов, вытирая губы, тут же вручает мне пузырь, из которого только что отпил сам и, судя по его сразу покрасневшим и отяжелевшим глазам, отпил много. Я трясую бутылкой перед собой, зачем-то взбаламучивая содержимое, и, раскрыв рот, лью в себя отраву. Сладко бьет под дых, сжимается мозг, я прикрываю рот рукавом. Кто-то бережно извлекает из моих пальцев бутылку.

– Дайте что-нибудь сожрать... – говорю я сипло и тут же вижу, что Андрюха Конь держит на лапе вскрытую банку кильки.

Догадавшись, что есть надо пальцами, я щедро хватаю из банки несколько рыбок и, обливаясь соусом, переправляю их в рот.

Кизя допивает водку и, обнаружив, что рыбы в банке больше нет, выливает из банки себе в пасть остатки томатного соуса, видимо, уже смачно подсоленного нашими пальцами.

– По коням, – говорит Язва просто так, чтобы что-то сказать. Никто и не собирался тут оставаться.

Облизывая губы и вытирая щетину, последние дни плавно превращающуюся в черную, раскудрявившуюся, почти чеченскую бороду, я, весь разнеженный, разглядываю виды за окном. Наверняка на крышах некоторых домов, мимо которых мы сейчас проезжаем, сидят люди с автоматами, мечтающие кого-нибудь из нашего брата отправить в ад. Вот они, поди, удивляются, видя русские машины, несущиеся по городу. Быть может, они едят, перекусывают между пальбой и, заметив нас, от неожиданности роняют шашлык на одежду, хватаются за стволы, но мы уже, дав газку, исчезаем из виду, только пустая бутылка, выброшенная из окна «козелка», гокается о придорожные камни.

«Быть может, чеченский боевик, только что видевший нас, сейчас связывается со своим напарником, высматривающим цель в том районе, куда мы въезжаем?» – думаю я, словно пытаюсь себя напугать. Но дальше мне думать лень, и я решаю про себя: «А пофигу...»

Подъезжаем к комендатуре, нам заботливо и споро открывают ворота. Черная Метка уходит в здание комендатуры с сутулым офицером, вяло что-то доложившим.

Вася деловито извлекает из-под сиденья пузырь, и все присутствующие радостно вопят.

Выпрыгиваем из машины на распогодившуюся, теплую улицу.

– Воды бы... – говорю я.

Вася идет к машине и приносит пластмассовую бутылку с водицей. Наверняка вода теплая и чуть протухшая – как у всех водителей.

«Отрава» идет по кругу, стремительно опустошаясь. Голова тяжелеет.

Незаметно появляется Черная Метка. С трудом сдерживаю желание шумно выразить свою радость по этому поводу. Вася тихо закатывает бутылку куда-то в кусты.

– Бесплезно искать... – говорит Черная Метка. – Видимо, придется заночевать здесь.

Мы переглядываемся.

Верно расценив наше молчание, Черная Метка добавляет:

– Или?

– Мы, наверное, на базу поедем, – говорит Язва.

– Ну как хотите... – отвечает Андрей Георгиевич. Оглядывает наши окривевшие от выпитого рожи и, коротко кивнув, уходит.

– Спокойной ночи! – говорит кто-то ему вслед дурацким голосом.

Грузно усаживаемся, перепутав машины, кто куда. Главное, чтоб водители не потерялись. Впрочем, я по привычке сажусь вперед, на место, освобожденное Черной Меткой: ну нравится мне впереди сидеть.

Заводятся машины, и тут же за воротами будто начинается светопреставление. Во все щели ограды бьют слепящие фары.

– Никак наши орлы прибыли, – говорит Вася, шурясь.

– Они самые, – икнув, подтверждает Конь, когда в раскрытые ворота въезжает грузовик.

В кабине видны три человека.

– Пошли! – вдруг срывается Конь.

Я выхожу следом. Солдатики раскрыли двери, но выпрыгивать из кабины не спешат. Сидящий в середине салона меж водителем и вторым пассажиром солдатик свесил голову и, похоже, находится в приятном, хоть и обморочном состоянии.

Офицер, тот, что докладывался Черной Метке, вспрыгнув на подножку, хватая водителя за шиворот, выдергивает его, слабо сопротивляющегося, на улицу, бросает наземь и начинает месить ногами, бессмысленно матерясь.

Солдатик, сидевший с левой стороны, видя такие дела, сам вылезает из машины и пытается скрыться. Офицер, оставив водителя в пыли, нагоняет второго солдатика и для начала отвешивает ему бодрый и щедрый пинок.

– За работу, – тихо говорит Андрюха Конь, и мы впрыгиваем в кабину грузовика, где еще дремлет третий виновник суматохи.

Начинаем рыться там. Быстро обнаруживаем целую курицу – жареную, с небольшими изъянами в виде отсутствующей ноги и нескольких небрежных укусов в области грудной клетки. Водки нет.

– Под сиденьями посмотри, – говорит Язва, подойдя к машине и озираясь по сторонам.

– Вы чего там ищите? – интересуется вернувшийся из комендатуры Андрей Георгиевич.

– Да вот, вытаскиваем... героя... – говорю я и, ухватив за шиворот, выволакиваю на Божий свет, верней, на Божью темь ни на что не реагирующего солдатика. Он плюхается рядом с постанываю – щим водителем.

Черная Метка стоит, не уходит, и мы с Язвой, поняв, что поиски спиртного в машине будут выглядеть неприлично, возвращаемся к «козелкам».

– Так вы все-таки поедете? – спрашивает Черная Метка.

– Да, нам пора домой, – отвечает Язва.

Вася бьет по газам, ловко объезжает криво поставленный грузовик и вылетает за ворота. Я слышу звяканье стеклянной посуды. Оборачиваюсь и глаза в глаза встречаюсь взглядом с Андрюхой Конем.

– Нашел, морда твоя лошадиная?

– Достойная оплата за наш риск, – отвечает Андрюха, приподнимая пакет, на вид в нем бутылок восемь, а то и больше.

– Вася, запомни, нас никто не имеет права убить, пока мы все это не выпьем, – говорит водителю Язва, усевшийся с нами.

– Учтем, – отвечает Вася.

Выехав за ворота, тут же останавливаемся – делимся с парнями из второго «козелка» добычей, чтоб не скучали в пути.

Каждый из наших пацанов пьет по-своему. Андрюха Конь затаивается перед глотком, будто держит в руке одуванчик и боится неровным выдохом его потревожить. В его манере пить есть истинно лошадиная аккуратность и благоговение хорошо воспитанного коня перед жидкостью, которую предстоит потреблять. Язва, перед тем как глотнуть, отворачивает голову и пьет, заливая «отраву» себе куда-то в край рта. Слава Тельман пьет аккуратно и спокойно, как педант микстуру. Вася Лебедев – залихватски, потом громко хека-ет. Снова бьет по газам, и мы идем на взлет, заморожено глядя вокруг.

Мне нравится пить водку. И то, что мы едем, не такое уж неудобство. Сейчас Вася врубит четвертую, и я глотну. Глоаю. Пузырь идет по второму кругу. Пока я принохивался к рукаву, пузырь возвращается ко мне.

Так вот, водка мне нравится. Однако чем больше я ее потребляю, тем труднее мне дается питье. Скажем так, когда количество выпитого лично мной переходит за семьсот грамм, я перестаю смаковать водку и просто заливаю ее внутрь, на авось: приживется как-нибудь, усвоится. Закусить бы хорошо... Вот и курочку мне парни подают почтительно: грязными своими кривыми пальцами всю ее залапали. Некоторое время жую, хрустя куриными косточками, которые мне лень выплевывать, – зубы молодые, все перемелют.

Летим по городу, как ангелы, дышащие перегаром. На ухабах выпитое и съеденное взлетает вверх, но мы крепко сжимаем зубы. Между тем Андрюха открывает еще одну бутылку и, чокнувшись со стеклом, потребляет первым, уменьшив содержимое на четверть.

– Вась, тебя попоить? – предлагаю я водителю, получив бутылку.

Вася протягивает руку, и я вкладываю бутылку в его раскрытую клешню.

– Смертельный номер, – говорит Вася. Не отрывая глаз от дороги, он опрокидывает бутылку в рот и делает несколько внушительных глотков, даже не поморщившись. Возвращает мне бутылку и снова тянет руку – я вкладываю в нее куриные лохмотья. Вася целиком засовывает их в рот и с аппетитом жует. Глаза его становятся все больше и больше, видимо, от напряжения челюстей, но когда Васе удается сглотнуть прожеванное мясо, чуть ословелый взгляд его вновь умиротворяется.

Я вижу накатывающий на нас город и с трудом сдерживаю желание выскочить из машины на улицу, побежать по дворам, крича от счастья, стреляя во все стороны. Парни не поймут.

– Андрюха, запевай! – говорит Язва.

– Какую? – ерничает Андрюха. – «Ямщик, не гони лошадей»? «Ходят кони над рекою»? «Три белых коня»?

Смеемся и валимся на бок на очередном повороте.

– Давай про ямщика, – говорит Язва.

– «Ям-щик, не гони ло-ша-дей!» – ревет Андрюха.

Я нажимаю тангенту рации, чтобы пацаны, следующие за нами во второй машине, могли насладиться пением.

– «Мне некуда больше спе-шить!» – подхватывает Вася.

– «Мне некого больше лю-бить!..» – кричим мы в четыре глотки.

Я отпускаю тангенту, и тут же в рации раздается пение наших парней из второго «козелка».

– «Ямщик! – орут они дурными голосами. – Не гони! Ло-ша-дей!»

Роскошные волны раскатываются в обе стороны из лужи, по которой мы проезжаем, вылетев напрямую по направлению к нашей школе, и, не успев затормозить, машина бьет бампером в железные ворота – приехали. Грохот, кажется, должен быть слышен где-нибудь во Владикавказе.

– Еще! – говорит Вася, протягивая руку.

Вручаю ему пузырь. Он открывает его зубами.

Совсем пьяный, давясь, я глотаю еще. Закусывать уже нечем. Во втором «козелке» все еще поют.

Даже не вижу, кто открывает дверь. На краткое время очухиваюсь в «почивальне», опознав дневального – Кешу Фистова. Его косой взгляд меня добивает, и, стараясь ни на что больше не смотреть, я по памяти бреду к своей кровати, обнаруживая по пути подозрительно много разнообразной обуви. Взбираясь наверх, кажется, наступаю на живот Скворцу (когда же я снял берцы? да и снял ли я их?) и засыпаю, еще не упав на подушку.

...Просыпаюсь я, кажется, не от шума вокруг, а потому, что из моего раскрытого рта на подушку натекла слюна, словно я расслабленный даун, а не боец спецназа. Почувствовав гадкую гнилостную сырость на лице, я очнулся.

О Господи... Мою голову провернули в мясорубке... Я не удивлюсь, если один свой глаз сейчас обнаружу на подбородке, а второй – в шейной складке. Правда, рот, если так можно назвать это сохлое, присыпанное мышьиной отравой отверстие, есть. Но дышать через него не хочется. Одним глазом я пытаюсь смотреть на происходящее в «почивальне». Вчерашняя курица просовывает свою бритую, ошипанную голову мне в горло, и дух ее жаждет свободы.

Если я подниму затылок с подушки, может случиться что-то страшное. Я даже боюсь себе представить, что именно. Перевожу глаз на свою ногу – вижу носок. Значит, берцы я все-таки снял. По крайней мере, один ботинок. Надеюсь, что я снял их в помещении, а не, например, в «козелке».

– Вставай, чудовище, – говорит Хасан где-то рядом.

Неожиданно открывается мой второй глаз. Он все-таки на лице и вроде бы не очень далеко от первого. Несколько секунд наводится резкость, сначала вижу рыжую щетину Хасана, отвратительно открывающийся и закрывающийся рот, затем проясняется все лицо. Не в силах вынести зримое, я закрываю глаза.

«Почему нас не обстреляли вчера? – думаю. – Сейчас бы я спокойно лежал в гробу. Возможно, вскоре домой бы полетел».

Дальше мысли не движутся. Приоткрываю глаза, Хасана нет. Зато появился Амалиев. Стоит ко мне спиной. Хочется его убить. Нет, если я его убью, будет кровь, от этого меня стошнит. Пробую двинуть рукой. Определенно, рукой двигать можно. И ногой тоже. Хорошо бы, если б возле моей кровати поставили большую емкость с ледяной водой. Я бы пододвинулся к самому краешку кровати и обрушился в воду. И какое-то время лежал бы на дне, с открытыми глазами.

Неожиданно для себя резко поднимаюсь, голова начинает кружиться, но я, невзирая на тошноту, дурноту и маету, переполняющие меня, спрыгиваю в два приема на пол: сначала, изогнувшись, встаю на кровать Скворца, а оттуда уже переправляю свое тело вниз.

Вот и берцы мои, в разные стороны глядят...

Не завязывая их, бреду на первый этаж. Навстречу поднимается Андрюха Конь, такое ощущение, что на нем недавно подняли целину.

Мы проходим мимо друг друга, равнодушные, как два смертника.

У раковины кто-то копошится, сплевывая и отхаркиваясь. Прислоняюсь затылком к стене и мерно издаю стонающие звуки. Мне освобождают место у крана. Я наклоняю голову под воду. Достая из кармана зубную щетку. Стреляю у кого-то пасту. С остервенением чищу зубы.

– Егор, ну ты долго будешь здесь отмачиваться? – слышу я голос Шеи.

– А чего?

– Объявили же, Егор, – выезд через пятнадцать минут.

– Куда?

– Домой, – отвечает Шея тоном, дающим понять, что поедем мы в нехорошие места.

На лестнице опять встречаю Андрюху Коня.

– Похмеляться будешь? – спрашивает он.

– Разве осталось?

– Ага, пузырь.

– Это мы семь бутылок выпили?!

– А ты не помнишь? Мы еще в школе пили. На первом этаже... Ну, будешь?

– Нет, – с необыкновенной твердостью отвечаю я.

Иду в «почивальню», вернее, несу туда свою изуродованную, сплюснутую предрвотной тоской голову. Голова покачивается, как тяжелый некрасивый репейник.

Добредаю до кровати, разуваюсь, опять лезу вверх – чтоб просто полежать, закрыв глаза.

– Егор, твою мать! – орет Шея. – Построение через три минуты!

Дождавшись, пока Шея отойдет от моей кровати, поднимаюсь и свешиваю ноги вниз. На нижней койке копошится Скворец.

– Саня! – зову. – Надень мне берцы.

– Ага. Щас, – отвечает Саня.

– Разве ты не можешь выполнить последнюю просьбу товарища?

Саня молчит.

Я, кряхтя, перемещаюсь к нему.

– Саня! – говорю я патетично. – Где твоя жалость? Сколь сердце твое немилосердно,

Саня...

Скворец накидывает автомат и молча выходит.

– Все меня бросили... – жалуясь я появившемуся Жене Кизякову. Женя что-то жует.

– Чуть не вырвало... – говорит он мне.

– Похмеляются водкой... плебеи... – ворчу я, вновь надевая берцы. Разгрузка, автомат, рация, берет. Готов. Ох, готов...

Держась за стены, бреду на улицу. По дороге заворачиваю к крану. Жадно пью, не в силах остановиться. Наполняю водой берет и надеваю его на голову. Вода льется за ворот. Голова неизменно больна. Боль живет и развивается в ней, как зародыш в яйце какой-то осклизлой нечисти. Я чувствую, как желток этого яйца крепнет, обрастая лапками, чешуйчатым хвостом, начинает внутри моего черепа медленно поворачиваться, проверяя свои шейные позвонки, зловонную мелкую харю. Вот-вот этот урод созреет и полезет наружу.

На улице гудят три «козелка», полные народу – в каждый набилось по шесть человек плюс водитель. Скворец, сидящий в одной из машин, открывает дверь, зовет меня:

– Егор!

Втискиваюсь на заднее сиденье.

Спустя полчаса мне приходит в голову поинтересоваться маршрутом.

– Саня, куда мы едем? – спрашиваю я тихо.

– В какую-то деревню.

Киваю, хотя ничего, собственно, не понял. Да и какая разница. В деревню так в деревню. Согнувшись, беспрестанно кусаю себя за руку между большим и указательным пальцами. Семеныч вызывает по рации Шею, сидящего впереди меня.

– Подъезжаем, – говорит Семеныч.

– Принято, – отвечает Шея.

– Согласно оперативным данным, в доме, к которому мы едем, живут пятеро, что ли, братьев...

– «Что ли» пятеро или «что ли» братьев? – спрашиваю я, необычайно восприимчивый в это утро к деталям. Чувствую острое желание, чтобы Шея развернулся и вырубил меня хорошим ударом в челюсть.

– Они связаны с боевиками, – продолжает Шея, словно не слыша меня. – Или сами боевики. В общем, их надо задержать.

– Может, их лучше сразу замочить? – интересуется Астахов.

– Задержать, – строго повторяет Шея, но все равно слышно, что настроение у него хорошее. – Выгружаемся, – добавляет Шея.

Трусцой бежим от окраины селения по дороге. На улицах никого нет. Даже собаки не лают.

Хочется упасть. И чтоб все по мне пробежали, а я остался лежать на земле, покрытый пыльными тяжелыми следами берцев.

Рассредоточиваемся вокруг дома. Присаживаюсь на колено, снимаю автомат с предохранителя, досылаю патрон в патронник. Семеныч, Шея, Слава Тельман, Язва и Женя Кизяков идут к дому, вход справа. Слава Тельман горд тем, что Семеныч вновь взял его с собой – дал шанс исправиться.

Я тоскливо смотрю на Славу, на Семеныча, на Шею... Скорее бы домой, в «почивальню»...

Язва и Кизя встают у окон.

– Гранаты приготовьте, – говорит им Семеныч.

Шея бьет ногой в дверь, она стремительно открывается, видимо, была не закрыта. Шея со Славой входят в дом.

– Всем лежать! – орет Шея бодро.

Семеныч делает шаг следом, но в доме раздается тяжелая пальба, и он тут же возвращается в исходное положение, прижавшись спиной к косяку. Я вижу его бешеное, густо покрасневшее лицо. Стреляют не автоматы наших парней – Шеи и Тельмана, это бьет ПКМ – пулемет Калашникова, я точно это знаю, я слышу это. Что же наши парни внутри дома, почему они не отвечают, что с ними?

Вздрогнув от выстрелов, беспомощно смотрю на Семеныча. Вижу у одного окна Язву – он озирается по сторонам, у другого Женю Кизякова – он держит в руке гранату и не знает, что с ней делать.

– Не кидай! – кричит Семеныч Кизе.

Никто из нас, окруживших дом, не стреляет. Куда стрелять? Там, в доме, наверное, наши парни дерутся... Наверняка крутят руки этим уродам и сейчас выйдут.

Сжимаю автомат, и сердце трепыхается во все стороны, как пьяный в туалете, сдуру забывший, где выход, и бьющийся в ужасе о стены.

Семеныч заглядывает в дверной проем и дает внутрь дома длинную очередь.

«Куда же он палит? А? Там же Шея и Тельман! Они же там! Он же их убьет!»

Семеныч присаживается на колено, будто хочет вползти в дом на четвереньках, и тут же за ногу кого-то вытаскивает из дома... Славу! Тельмана!

Кизя, убравший гранату, подскакивает и сволакивает Славу на землю.

Семеныч дает еще одну очередь и снова исчезает в доме – всего на мгновение. За две ноги он подтаскивает к выходу Шею. Вслед Семенычу бьет ПКМ, но командир наш успевает прыгнуть с приступков и спрятаться за косяк, оставив Шею лежать на земле.

– Отходи, Гриша! – кричит Семеныч Язве. Дает еще одну очередь в дом и, ухватив, как куклу, Шею за ногу, тащит его на себя. Здоровенные ручищи нашего комвзвода беспомощно вытянуты.

Звякает окно в доме, сыплются стекла. И все разом начинают стрелять. Многие бьют мимо окон – от стен летит кирпичная пыль. Кто-то из находящихся в доме разбивает прикладом стекло. Сейчас нас перебьют всех.

Семеныч забрасывает на плечо Шею, Кизя – Тельмана, и отбегают от дома. За нашими спинами стоят лишь несколько тонких деревьев, даже кустарника никакого нет. Раненых (я уверен, что парни просто ранены) несут к деревьям. Семеныч вызывает наши машины – в динамике радиации слышен его злой хриплый голос.

Я весь дрожу. Прятаться нам негде. Почти все мы – прямо напротив дома, на лужайке, как объевшиеся дурной травы бараны.

Косте Столяру и кому-то из его отделения повезло чуть больше – парни расположились за постройками справа от дома, напротив входной двери. Туда же по отмашке Семеныча бежит Андрюха Конь с пулеметом.

«Бляха-муха, мы что ж, так и будем тут сидеть?» – думаю я, безостановочно стреляя. Раздается сухой щелчок: патроны в рожке кончились. Переворачиваю связанные валетом рожки, вставляю второй, полный. Снова даю длинные очереди, не в силах отпустить спусковой крючок.

«Скорей бы все это кончилось! Скорей бы все это кончилось!» – повторяю я беспрестанно. Это какой-то пьяный кошмар – сидим на корточках и стреляем. Никто не двигается с места, не меняет позиции. Может, окопаться? Никто не окапывается. Но я же командир! Сейчас прикажу всем окапываться и первым зареюсь! Какой я, на хер, командир! Сейчас Семеныч что-нибудь придумает...

Плюхаюсь на землю, вцепляюсь в автомат. Кажется, если я перестану стрелять, меня сразу убьют.

«Вот она, моя смерть!» – пульсирует во мне. Осознание этого занимает все пространство в моей голове.

Подъезжают «козелки», встают поодаль, водители сразу выскакивают и ложатся у колес, под машины.

Я кошусь на раненых, вижу суetyщегося возле них дока – дядю Юру. Шея лежит на спине, и я, мельком увидев его, понимаю, что он умер, он мертв, мертв. Глаза его открыты.

– У нас два «двухсотых»! – слышу я голос Семеныча в радиации. – Необходимо подкрепление! Пару «коробочек»!

Автомат опять замолкает. Снимаю рожок, извлекаю танцующими руками из разгрузки еще одну пару рожков, соединенных синей изоляцией. Присоединяю, досылаю патрон в патронник. Жадно глядя на окна, даю очередь. Чувствую, что попадаю. Не снимая указательного пальца правой руки со спускового крючка, левой рукой беру с земли пустые рожки и сую их за пазуху, под куртку.

Мельком оглядываю пацанов, вижу Кизю с алюминиевыми щеками и тонкими губами, бледного Скворца, Монаха с вытянутым удивленным лицом, Андрюху Коня, стоящего во весь огромный рост с пулеметом... Все безостановочно стреляют. Кажется, мы сейчас забьем, заполним весь этот домик свинцом.

Явственно мелькает в окне мелко дрожащий автомат, внутри холодеет, будто я кручусь на «чертовом колесе» и моя кабинка резко летит вниз. Изнутри страшно давит на виски.

«Ни одна пуля в меня не попала», – с удивлением замечаю я.

Давление в висках не отступает.

Автомат высовывается то из одного окна, то сразу же из другого.

«Сука! Сука! Сука! – повторяю я жалобно, стреляя. – Ну, заткнись же ты, сука!»

Трогается один из «козелков», уезжает. Наверное, парней – Шею и Тельмана – загрузили.

«Сейчас и тебя загрузят... Дохлого...»

Тошнит от ужаса.

«Неужели мы еще никого не убили?»

Вновь меняю рожки. Вижу, как, невзирая на выстрелы, в окне дома в полный рост появляется гологрудый и окровавленный, как мясник, чечен с автоматом. Он бьет в нас, сжимая крепкими волосатыми руками автомат, как щуку, словно боясь, что подрагивающий холодным телом тонкий зубастый зверь выскочит.

Получив сильнейший разряд ужаса, усилием всех мышц тела срываюсь с места, чувствуя спиной, как кусок земли, где я лежал, штопает из автомата стреляющий враг. Приземляюсь кое-как, на все конечности, тут же кувыркаюсь, с хрястом сталкиваюсь с Саней Скворцом лбами. Боковым зрением вижу, что чечен исчез из окна. Лежа на боку, стреляю.

Кизя палит из подствольника прямой наводкой в окно.

Оборачиваюсь назад, ищу глазами Семеныча – вижу, как его голову бинтует дядя Юра. Лицо Семеныча окровавлено. Морщась, он что-то говорит по рации. Я не слышу что.

«Подползти бы, кинуть гранату в окно... Нет, свои же застрелят... И даже если не застрелят, очень страшно двигаться».

Перебегаю зачем-то вбок, усаживаюсь напротив угла дома.

Андрюха Конь целенаправленно решетит дверь из пулемета.

«А они ведь могут убежать, выпрыгнув в окна с той стороны...» – думаю о стреляющих в нас. Очень хочется всех их убить. Нет, не убегут. На другом углу лежит Валя Чертков, «держит» окна.

Костя Столяр сидит на корточках за сараюшкой, перезаряжает автомат, в ногах лежат в полиэтиленовом пакете патроны. Костя видит меня, кивает. Что-то падает рядом с ним, похожее на камень. Ищу глазами упавшее и вижу гранату подствольника, она сейчас разорвется. Костя не успевает ничего сделать, не успевает отпрыгнуть. Согнувшись, он тыкается головой куда-то в расщелину сарая, отвернувшись к гранате задом, поджав ноги, – мне кажется, что Костя бережет яйца. Все это я увидел, откатываясь, и Костины движения мелькали в моих глазах, как кадры бракованной киноплёнки. Я ждал, что сейчас грохнет, ахнет взрыв, и... Но взрыва не было. Взрыва нет. Граната лежит и не разрывается.

Костя понимает это, оборачивается, хватая с земли оставленный рожок, делает движение, чтобы уйти, и навстречу ему из двери делает шаг почему-то дымящийся чечен. В руках у него автомат. Он поводит автоматом, направляя ствол то на Андрюху Коня, то на Костю. Андрюха Конь не стреляет, он только что прекратил стрелять, он возится с лентой («Где его второй номер?» – тоскливо подумал я). Андрюха смотрит в упор на чечена, даже не пытаясь спрятаться.

Переворачиваясь, я лег на автомат. Хочу помочь Косте, пытаюсь вырвать автомат из-под себя, да затвор за что-то зацепился, за какой-то карман на разгрузке. Я слышу выстрелы – это Костя трижды выстрелил в грудь чечену одиночными. Чечен медленно падает и спокойно лежит. Мне кажется, что он притворяется. Я стреляю в упавшего.

Из двери выскакивает еще один чеченец и бежит на Валю Черткова. Костя хочет подбить убежавшего, но чечен уже подбежал к Вале, он рядом. Валя встает, выставляет навстречу чеченцу автомат, держа его как копьё, даже убрав палец со спускового крючка, кажется, он решил проткнуть чеченца стволом. Он делает выпад в сторону подбежавшего, тот уворачивается и ловко бьет Валю в лицо прикладом. Валя падает, схватившись за голову. Чеченец пере-

махивает через забор и бежит по саду. Никто не стреляет ему вслед – и Андрюха Конь, и Костя палят в открытую дверь.

Зачем-то находящиеся в доме выбрасывают из окна белую грязную тряпку. В остервенении стреляю в это тряпье.

«Чего они задумали?»

В голове у меня проносятся мысли о каких-то детских пеленках... может, они намекают, что у них дети в доме?

«Бля, какой же я дурак, они не хотят, чтобы мы их убили».

Я отпускаю спусковой крючок. Кто-то еще стреляет, но в течение нескольких секунд выстрелы стихают. Самыми последними замолкают стволы Кости Столяра и Андрюхи Коня – они не видели простыни. Им дают знак.

Из окон вываливаются один, два, три человека. Они ковыляют нам навстречу, делают несколько шагов и останавливаются. Автомат только у одного из них, он бросает его на землю.

Еще двое вышли из двери. Андрюха Конь держит пулемет на весу, на белых спокойных руках. Я встаю на колене – на прицеле самый ближний ко мне.

Волосы вышедших всклокочены, потны, грязны, лица в царапинах и в крови. Ближний ко мне тонок и юн, грудь его дрожит, и губы кривятся, может, от боли, его левая кисть качается в обе стороны – рука, наверное, пробита, изуродована в локте. По пальцам стекает кровь.

Андрюха Конь стреляет первым. Он бьет, оскалив желтые зубы, в тех, что вышли из двери, и они падают. Следом начинаем стрелять мы. Стреляю я.

Я должен был попасть в живот стоявшего передо мной, но кто-то свалил его раньше, и очередь, пущенная мной, летит мимо, в дом. Я опускаю автомат, чтобы выстрелить в упавшего, но у него уже нет лица, оно вскипело, как варенье.

Мы встаем. Андрюха Конь, опустив ствол пулемета, обходит трупы. Он стреляет короткой очередью в голову каждого лежащего на земле: в лицо или в затылок. Кажется, что куски черепа разлетаются, как черепки кувшина.

Мы, не таясь, бредем к дому. Заходим внутрь. Я иду вторым.

Прямо напротив входа – лежанка. Возле нее стоит пулемет, из которого убили Шею и Тельмана. Рядом с пулеметом на боку лежит мужик с дыркой в глазнице. Кизя стреляет мертвому во второй глаз.

На полу гильзы и битое стекло. Белье с одной из двух кроватей сорвано. Одежда без пододеяльников лежит на полу. Я брезгливо обхожу одеяла, не наступая на них.

Выхожу на улицу. Парни под руки поддерживают Валью Черткова, все лицо у него окри- вело, щека бордовая, страшная. Рот открыт, изо рта течет кровь.

Пацаны курят. Андрюха Конь держит в зубах недымящуюся сигарету.

Вижу Федю Старичкова, прижимающего локоть к боку. Его разгрузка набухла тяжелой красной жидкостью.

– Федя, что с тобой?

– А?

– Что у тебя? – я показываю рукой на его бок.

– Не знаю, ободрался, что ли, – отвечает Федя, но руку не убирает. Он немного не в себе.

– Какой «ободрался»! Ты весь в крови. Дядь Юр!

Федю ведут к «козелку». Там уже сидит Валя, он стонет.

Я вижу: к нам едут машины из города. Помощь прибыла...

IX

Грозном дождь. Лупит по крыше «козелка». Я выставил руку в окно, по руке стекает вода, размывая грязь. Навстречу несутся потоки воды. «Козелок» сбавляет ход. Вася Лебедев тихо матерится. Переключается со второй скорости на первую.

Что-то связанное с душой... с душой только что убитого человека... с душами недавно убитых людей... никак не могу вспомнить. При чем тут дождь – никак не могу вспомнить.

В «козелке» все молчат. Если нас сейчас начнут обстреливать, что мы будем делать? Неужели опять будем стрелять? Ползать, перебегать, отстегивать рожки, вставлять новые, передергивать затвор, снова стрелять...

Закрываю глаза. Как много дождя вокруг. Вода течет по стеклам, по стенам «козелка», по шее, вдоль позвоночника, уходит под лопатки... хлюпает под ногами. Ствол сырой, и рука... вяло подрагивающая моя рука с ровными ногтями, кое-где помеченными белыми брызгами... рука моя зачем-то поглаживает сырую изоляцию на рожках... Кто-то пытается закурить, но дождь тушит сигарету, и она уныло обвисает сырым черным сгустком непрогоревшего табака.

Мне кажется, что я сумею закурить, просто надо держать сигарету в ладонях. Непослушными руками я лезу в карманы, ищу спички, нахожу. Но они сырые. Я их выбрасываю в окно, их закручивает волной, поднимаемой колесами. Зачем-то ищу сигареты. Они лежат во внутреннем кармане куртки, превращенные в комковатую россыпь табака и бумаги. Извлекаю пачку, бросаю вслед за спичками.

Язва хмуро косится на меня. Вижу, что даже ему невыносимо трудно говорить, хотя тупая последовательность, с которой я выбрасываю что-то в окно... она могла бы располагать к шутке... еще часа два назад.

В руинах уже скопились большие лужи.

«Дворники» на лобовухе работают без устали, но всё равно не успевают разогнать пелену воды.

Вася Лебедев иногда останавливается, всматривается в дорогу, чтобы не съехать на обочину.

– Дождь размыл землю во всей округе... – прерывает молчание Язва, – и теперь все невзорвавшиеся мины сами плывут навстречу нам.

Я пытаюсь сквозь лобовуху рассмотреть дорогу, всерьез желая различить плывущую к нам мину. Не видно ни черта.

У ворот школы «козелок» плотно садится в лужу. Вася Лебедев некоторое время терзает взрывающую машину. Пытается сдать назад, но «козелок» лишь дрожит, и колеса крутятся впустую.

Вылезает под дождь, отсыревшая, в мутных пятнах воды одежда враз промокает и становится холодной и тяжелой. Входим, равнодушные, в лужу, толкаем плечами «козелок». Нас мало. Я смотрю на свои упершиеся в борт машины руки, не видя тех, кто рядом, но чувствую, что нас не хватает.

Хмуро выходят пацаны из «козелка», ехавшего за нами.

Кто-то становится рядом со мной, я узнаю густо поросшую черными волосками лапу Кости Столяра.

«Козелок» выползает, залив всех по пояс, а нам все равно. Чавкая ногами, мы выползаем из лужи. Мне подает руку дядя Юра – он смотрит на нас грустно. По усам его течет вода.

– Где Семеныч? – спрашиваю.

– В ГУОШе. Поехал с докладом, повез... пацанов. Обещал вернуться.

– Чего у него?

– Голова цела. Пол-уха не хватает.

Дядя Юра нежно хлопает меня по плечу:

– Давайте, родные, надо согреться.

Мы идем в здание. Иногда произносим какие-то слова. Но есть ощущение, что мы движемся в тяжелом, смурном пространстве, словно в полусне и тумане. И произнесенные слова доносятся как сквозь картонные стены.

Хочется что-то сделать.

Анвар Амалиев, хронический дневальный, не глядя на нас, смотрит в стол, в журнал дежурств, что-то помечает там.

Пацаны, снявшиеся с поста на крыше, вглядываются в нас, по ошпаренным лицам пытаюсь определить, у кого уместно спросить, что с нами было.

Стягиваю с ног берцы и следом – безобразно грязные и сырые носки. С удивлением смотрю на свои белые отсыревшие пальцы, шевелю ими.

Рядом садится Скворец, тоже разувается. Тоже шевелит пальцами. Сидим вдвоем и шевелим белыми, живыми, пахнущими жизнью, сладкой затхлостью, розовыми пальцами. Мне отчего-то хочется улыбнуться.

Поднимаю голову, вижу, что Амалиева уже нет на посту дневального. Слышу из коридора его голос, он рассказывает, как шел бой.

«Вот урод», – вяло и без злобы думаю я.

– Надо бы выпить... – говорит Костя Столяр.

Я вижу его красивые красные пухлые тапки на босых ногах. Поднимаю глаза. На мгновение удивляюсь, почему он не может решить этот вопрос с Шеей, при чем тут я. Но Шея лежит мертвый где-то. На сыром брезенте – почему-то мне так представляется. На черном и сыром брезенте.

Язва тоже где-то шляется...

«А Семеныч? Разрешил?» – хочу спросить я, но вспоминаю, что Семеныч с простреленным ухом уехал в ГУОШ. И Черная Метка убыл, и начштаба Кашкин тоже вслед за Куцым умчался.

– Надо, – говорю.

– Надо, Сань? – спрашивает Столяр у Скворца.

Скворец молчит и смотрит на свои пальцы.

– Плохиш! – зову я.

– Чего, мужики? – спрашивает Плохиш серьезно, без подначки. Кажется, я впервые слышу, чтоб он разговаривал таким тоном.

– Надо выпить, – говорю и смутно вспоминаю, что на днях я очень напился. Только надо вспомнить, когда это было. Это было меньше суток назад. Вчера ночью. Утром я проснулся со страшного похмелья. И даже хотел умереть. Теперь не хочу.

– Я хочу вернуться к моей девочке, – говорю я вслух, выйдя на улицу, негромко. Слышу чье-то движение, вздрагиваю. Повернув голову, вижу Монаха. Ссутулившись, он проходит мимо меня. Я даже не понимаю, чего я хочу больше – обнять или ударить его в бок, под ребра.

На улице только что закончил лить дождь, и в воздухе стоит тот знакомый последождевой глухой шелест и шум: такое ощущение, что это эхо дождя – мягкое, как желе, эхо.

В «почивальне» пацаны знатно устали. Консервы вскрыты, у бутылок водки беззащитно обнажены горла, луковицы слабо лоснятся хрустким нутром, хлеб кто-то нарезал треугольниками – это как ржаные похоронки.

Никто не трогает пищи. Каждый из парней подтянут и строг.

Мы садимся за стол, переодетые в сухое белье, с отмытыми, пахнущими мылом руками, в черных свитерах с засученными рукавами. Мы молчим. Сухость наших одежд и строгость наших лиц каким-то образом рифмуются в моем сознании.

Мы разливаем водку и, замешкавшись на мгновение, чокаемся. За то, что нас не убили. Чокаемся второй раз за то, чтобы нас не убили завтра. Не чокаемся в третий раз и снова пьем.

Молчим. Дышим.

Я беру хлеб, цепляю кильку, хватаю лепестки лука, жую. Улыбаюсь кому-то из парней, мне в ответ подмигивают. Так, как умеют подмигивать только мужчины – обоими глазами, с кивком. Иногда мужчины так кивают своим детям, с нежностью. И очень редко – друзьям.

Кто-то у кого-то шепотом попросил передать хлеб. Кто-то, выпив и не рассчитав дыхания, пустил слезу, и кто-то по этому поводу тихо пошутил, а кто-то засмеялся.

И сразу стало легче. И все разом заговорили. Даже зашумели.

Я вижу Старичкова. Его левая рука прижата к боку. Заметно, что под свитером бок перевязан.

– Чего у тебя? – говорю я, улыбаясь.

Он машет рукой – ничего, мол, переживем.

– Тебе бы домой...

Старичков разливает, не отвечая, – и его молчание звучит еще приветливей и светлее, если б он ответил, что не хочет домой.

Быстро спьянились. Пошли курить. Я тоже пошел. С кем-то обнимались, даже не от пьяной дури, а от искреннего, почти мальчишеского дружелюбия.

Возвращаясь, слышим, что в «почивальне» уже кто-то разошелся, кричит, что «я их, бля... я им, бля!..»

Смотрим, а это Валя. Лицо его от удара прикладом вспухло необыкновенно, смотреть на него жутко.

– Валя, милый! – говорю я.

– Ну и рожа, – говорит Плохиш.

– Зато теперь их можно со Степой различить, – говорит Язва.

Не успев присесть, я жадно кинулся макать в банки из-под кильки хлеб. Пацаны, вернувшись из курилки, спутали места, на которых сидели. И все мы доедаем друг за другом, из разных тарелок, жуем надкушенный товарищем хлеб и недоеденный соседом лук. И все разом рассказывают, как оно было там. Кто что делал. И выходит, что все было очень смешно.

– Валя! – шумит Столяр, смеясь. – Ты проткнуть хотел чечена автоматом? Чего не стрелял?

– А ты?

– Боялся тебя прибить!

– Да у меня патроны кончились!

– Он мог бы всех положить – и меня, и Костю, и Валю, и Егора, – говорит Андрюха Конь о чеченце, убежавшем в сады, – но у него тоже, наверное, патронов не было...

– У них и стволов-то, слава Богу, было... сколько? Три? Или четыре?

Спорим недолго, незлобно и бестолково, сколько у чеченцев было автоматов, почему они сдались, кончились ли у них патроны и еще о чем-то.

Пьем еще и, спокойные, решаем идти на крышу. Не спать же ложиться.

На улице вновь полило. По крыше струятся ручьи.

Вылезает под дождь, розовоголовые, теплые, дышащие луком и водкой. Андрюха Конь, разгорячившийся, снял тельник, открылось белое парное тело.

Андрюха прихватил с собой пулемет, держит его в тяжелых руках. Выплевывает сигарету, которую мгновенно забил дождь. Идет в развязанных берцах к краю крыши. За несколько шагов до края останавливается и дает длинную очередь по домам. Тело его светится в темноте, как кусок луны. Наверное, он хорошо виден с небес, голый по пояс, омываемый дождем.

Стеляя, Андрюха Конь медленно поводит пулеметом. Кто-то из парней идет к нему, на ходу снимая оружие с предохранителя и досылая патрон в патронник. Кто-то присаживается на одно колено у края крыши, кто-то встает рядом с Андрюхой.

Я смеюсь, мне смешно.

Вижу среди стреляющих Монаха. Он пьян. Стоит, широко расставив ноги.

– Мы куплены дорогою ценой! – кричит Монах и стреляет. – Мы куплены дорогою ценой!

По кругу идет бутылка водки. Мы пьем и раскрываем рты, и в паленные наши пасти каплет ржавый грозненский дождь. Кидаем непочатый пузырь стоящим у края крыши. Бутылку ловят. Андрюха пьет, прекратив ненадолго стрельбу, и отдает бутылку Монаху. Тот допивает и, закашлявшись, бросает пузырь с крыши и сам едва не падает – его ловит за шиворот Андрюха.

Пока происходит эта возня, никто из наших не стреляет. Кто-то менял рожки, Андрюха мочился с крыши, когда из хрущевок раздалась автоматная очередь.

– Ложись! – орет Столяр. Все, кроме Андрюхи, ложатся.

Пока Андрюху хором умоляли лечь, он убрал член в штаны и, сказав неопределенно: «Сейчас я им, на хер...» – дал еще одну длинную очередь.

– Мы куплены дорогою ценой! – снова вопит Монах, и я чувствую по голосу, что он от остервененья протрезвел.

Я бегу к пацанам, крича, чтоб они прекратили стрелять. Кого-то из лежащих у края и уже изготавливавшихся к стрельбе хватаю за шиворот, поднимаю. Толкаю Монаха, что-то крича ему. Повернувшись, он мгновение смотрит на меня, улыбаясь, и в полный рост, не спеша, уходит к лазу. Вместе с подоспевшими Столяром и Язвой мы уводим Андрюху Коня.

В «почивальне» с горем пополам находим тех, кому необходимо заступить на посты, отправляем наряд на крышу. Кто-то ложится спать. Столяр что-то шепчет Плохишу, и тот вскоре приносит еще спиртного. Дядя Юра пытается уговорить нас угомониться.

– Всё нормально, Юр! – говорит Столяр. Косте, наверное, уже за тридцать, посему он называет дока не по отчеству и не «дядя», а просто по имени.

В который раз начинается разговор о случившемся днем, на этот раз повествование ведет дядя Юра. Он ведь первый узнал, что Шею и Тельмана убили, и он рассказывает, как все было. И мы еще несколько раз поминаем парней. Обоих сразу и по одному. И всех остальных солдат, погибших на этой земле.

Приходит кто-то из наряда на крыше, просит водки.

– Вы там... понятно, да? – строго говорит Столяр и водку выдает.

– Не стреляют больше? – спрашивает Язва.

Отвечают, что нет.

– Только дождь льет, как бешеный. Холодно. Сейчас нас с крыши смоем.

Бесконечно уставший, уставший, как никогда в жизни, иду спать. Наверное, я так же был ошарашен случившимся, так же устал и ощущал себя таким же счастливым, когда родился. Какое-то время, взобравшись на кровать, думаю обо всем этом. И, как обычно перед сном, кажется, что из мысли, ворочающейся в голове, должен быть выход, как-то она должна забавным и верным образом разрешиться.

– ...Ключицы – одно из самых красивых мест у мужчины, – говорила Даша и застенчиво улыбалась. – Ты подумаешь, что я сумасшедшая...

– Нет, говори, пожалуйста.

– У многих мужчин они просто безобразны. Но если... если, например, в автобусе я увижу молодого человека с определенным видом ключиц, я только по ним одним могу определить, что у этого юноши тонкие запястья... что у него вытянутые мышцы живота – продолговатый такой живот... что если у него есть растительность на груди, она как у собак, – Даша назвала породу, – такая редкая волнистая шерсть.

Я бы хотел, чтобы Даша была художницей – ей было дано видеть. Когда Даша говорила о мужчинах, я чувствовал себя неудобно, стремился к зеркалу взглянуть на себя еще раз, но другими, новыми глазами, и вдруг понимал, что прожил двадцать с лишним лет и не видел своих ключиц.

«Но ведь все, что она говорит, все это изощренное знание у нее было и до меня, все это она узнала и полюбила раньше меня!» – думал я.

Это стало моей основной целью – узнать о ее мужчинах всё. Я старательно изображал равнодушие и задавал, как бы ненароком, наводящий вопрос. Я с удовольствием задавал бы прямые вопросы (где, когда, как именно и сколько раз), но, говорю, она не любила назойливости. Любая беседа должна быть и к месту, и к настроению, и даже к погоде.

Это могло быть так. Случайно, скажем, по дороге в кафе зашел разговор о лошадях.

– Я раньше никогда не кончала, – неожиданно начинает откровенничать Даша. – Я даже думала, что так и должно быть. Я научилась этому на ипподроме. Когда едешь на лошади и она меняет шаг, скорость – вот в эти секунды... когдаходишь в ритм езды... это подступает. И у меня стало получаться, я поняла, в чем дело.

И здесь, будто крадучись меж расставленного на полу хрусталия, в разговор вступал я. Получалось плохо – раздавался звон, видимо, я что-то задевал, но Даша не подавала виду. Может быть, это было ее не до конца осмысленной забавой – потягивать меня за нервы: так ребенок оттягивает струны у гитары. Но скорее она действительно воспринимала все, что говорила мне, легко.

Мужчины выходили из-за самых неожиданных углов и закоулков ее жизни. Обмолвившись о ком-либо из них, она, если я просил, всегда рассказывала что-то еще, однако ее интересовали какие-то совершенно неважные для меня стороны отношений с мужчинами, их идиотские привычки, их безумные выходки. Разве это важно? Я-то никак не мог себе представить, что эти губы и эти руки...

Кем они были для нее? Кто она была для них? Семнадцатилетняя девочка, черно-алый цветок, биологическая редкость? Сумасшествие для вернувшегося с зоны рецидивиста? Изящное существо двадцати лет, которое не откажет очаровавшему ее мальчику, юнцу?

Закатившись в ночные клубы, я высматривал похожих на нее – брюнеток с короткими волосами, с почти бесстрастным взглядом, неестественно изящных, большегрудых. Иногда мне везло – мне казалось, я видел нечто подобное ей. Они ничего не значили для меня сами по себе, в них я видел и разглядывал ее. Строгие, как их туфли на смертельных каблучках, меняющие спутников в разные вечера, изящно играющие на бильярде, пьющие сок маленькими глотками, целующиеся, закинув голову, в центре танцзала, уезжающие на скользких и лоснящихся, как леденцы, машинах – неужели это и она тоже? Я безобразно напивался, глядя на них, похожих на нее, но не подходил к ним никогда.

Позже Даша, когда я поделился с ней своими кабацкими страданиями, заявила, что никогда не знакомилась с мужчинами в ночных клубах: «Это не мой стиль». – «А что твой стиль?» – вопил я мысленно и мысленно с размаху разбивал стакан о стену.

Милая моя, податливая моя, какие воображаемые сцены я устраивал.

«Ты говоришь, что ждала меня? Что тебе никто другой был не нужен?! – кричал я. – Ты лжешь!» (О, я был так пошел в своих обвинениях! Даша вполне могла бы мне сказать: «Ты старомоден, как граммофон, Егор!» – но она молчала, с интересом поглядывая на меня, быть может, догадываясь о том, что я думаю, иногда легко касаясь моей бритой в области черепа и небритой в области скул головы...)

«Это неправда! – клял я ее мысленно. – Бесконечно выпрашивая тебя, я выяснил, что за год до моего появления в твоей жизни ты сменила двенадцать мужчин! Но даже не это самое страшное, ты ведь не меняла их тридцатого числа каждого месяца. Ты жила с... – мысленно я называл имя одного из... – а в это время встречалась с цыганом, со своим бородатым пси-

хологом, еще с кем-то – все они не разделяются временем. В разные выходные одного месяца ты с разными спала! Если бы ты тогда забеременела, ты бы даже не знала, чье дитя ты будешь носить! Ты изуродовала меня. Ты создала урода. Я тронут тобой до глубины души. Их лица плывут передо мной, их руки распинают тебя ежедневно в моей голове. Я хочу иметь что-нибудь свое! У меня уже было в интернате все общее! Я хочу свое!»

Я смотрел на нее сумасшедшими глазами и молчал.

Я так мечтаю зайти с тесаком за пазухой к каждому из бывших с тобой. Я так мечтаю собрать классифицированные тобой органы этих мужчин в один пакет. Большой прозрачный полиэтиленовый пакет, будто бы наполненный раздавленными помидорами. Я вижу, как я иду по улицам, из пакета капает на асфальт, а мимо меня проносятся машины «скорой помощи», спешащие в те дома, где я только что побывал. Я хочу принести этот пакет тебе и сказать: «На! Это – твое!»

– Что с тобой, Егор? – прерывая мои до неприличия патетичные внутренние монологи, спрашивала она, когда я открывал дверь в кафе, чтобы пропустить ее.

– Егор, что случилось? – еще раз спрашивала она, видя мою унылую физиономию.

Мы любили ходить в кафе. Когда у нас не было денег на кафе, мы сдавали в ломбард мой золотой кулончик или какие-нибудь бирюльки, которые дарили Даше ее мужчины.

– А это кто подарил? – по обыкновению спрашивал я, когда Даша извлекала из своей очень маленькой сумочки, вмещавшей, однако, массу полезных вещей, очередное украшение.

– Знакомый один.

– Какой знакомый?

– Я тебе о нем рассказывала...

И она называла еще одно имя.

Я перебирал эти имена в голове, зачем-то перебирал их все время, возможно, ища смысл в их последовательности. Но смысла не было.

Даша серьезно подходила к выбору блюд в кафе. Она заказывала много всего. Я мучился опасениями, что у нас не хватит денег, и скользил глазами не по названиям блюд, а по ценникам, и лишь натываясь на приемлемую цифру, читал написанное слева от нее («Так-с... Это у нас что такое дешевое? Зажигалка... Читаем снова. Это дорого, это дорого, это дорого... Все. Так, еще раз...»). Тем временем Даша уже диктовала официанту заказ, и я вздрагивал от каждого названия. Дашу, судя по всему, вопрос расплаты не волновал совершенно – она пришла отдыхать. Зараженный ее спокойствием, я тоже успокаивался и смотрел на нее.

«Мне бы так хотелось, чтобы ты сбылась для меня такой, какой я тебя задумал, – мечтал я. – Я б вернулся в этот город, и ты бы тоже была там, вся та же, с тем же взглядом, с той же походкой, в тех же голубых джинсах, в той же немислимых цветов курточке. И пусть бы у тебя к этому времени был парень, пусть было бы у тебя несколько парней – у любой девушки может быть парень или несколько парней. Но зачем тебе столько мужчин? Пусть они исчезнут. Пусть они, не дойдя до тебя – пятнадцатилетней, семнадцатилетней, девятнадцатилетней – нескольких шагов, лопнут, как мыльные пузыри».

Ты обернешься – а там ничего, невесомые брызги висят в воздухе.

...Приносили заказ, сначала салатиками. У меня всегда был здоровый солдатский аппетит, посему пауза между салатиками и горячим меня раздражала и томила. Как правило, к тому времени, когда приносили мясо, салатик я уже съедал и минут десять тщетно пытался найти место для опустевшей тарелки. Даша, напротив, ела спокойно и непринужденно, ни секунды мне не казалось, что она растягивает время до того, как принесут следующее блюдо, все получалось у нее естественно: к моменту появления на нашем столе дымящихся тарелок Даша как раз заканчивала с салатом, и ей не приходилось, как мне, двигать тарелку из-под салата с места на место, потому что ее сразу забирал официант.

Задав необходимое для моего внутреннего успокоения количество вопросов, я на какое-то время отвлекался, ненадолго.

Еще глубокой ночью я почувствовал, что хочу отлить, но поленился встать. К утру желание стало нестерпимым.

Я открываю глаза и вижу пальцы своих ног, они немного ссохшиеся, словно виноград, полежавший на солнце.

«Пацанов убили, – думаю я и морщусь. – Господи, как гадко, что их убили!» – хочется мне закричать.

Все спят. Дневальный заснул. Никто не храпит.

– Никто не храпит, – говорю я вслух, пытаюсь незначашими словами согнать жуткую, повисшую где-то в горле тоску. – Никто не храпит, – повторяю я. – Быть может, мы ангелы?

Вроде бы с улицы доносится чей-то крик, гортанный. Показалось, наверное. Но я все же возвращаюсь к кровати, попрыгивая на ходу от желания помочиться, хватаю автомат и бегу вниз. В коридоре вижу пацанов с поста на крыше – спят, черти. Дождь согнал их сюда.

Спеша, я pinaю кого-то из лежащих, ругаюсь матом, говорю, чтоб немедленно отправлялись на пост. Тот, кого я пнул, отвечает мне что-то борзым полупьяным голосом.

Расстегивая ширинку и притоптывая на ходу, я выворачиваю с площадки между вторым и первым этажами и вижу бородатых людей, волокущих из туалета полугололого мужика. Как ошпаренный, дергаюсь назад и понимаю, что полуголый человек – это дядя Юра. Сквозь сон я слышал, как он вставал, тоже, наверное, в туалет пошел.

Снимаю автомат с предохранителя, передергиваю затвор.

Я выглядываю еще раз и даю очередь поверху, чтобы не попасть в дядю Юру. Два чечена тащат его под руки, у него спущены штаны. Мне кажется, что чечены даже не дернулись, когда я выстрелил.

Увидев меня, чечен, стоящий у туалета, широко улыбаясь, дает длинную очередь от живота. Известка летит на меня, присевшего и, кажется, накрывшего голову рукой.

– Пацаны! Пацаны, мать вашу! – каким-то не своим, дурашливым криком блажу я. – Тревога!

Дожидаюсь, когда стрельба прекратится, и, поднявшись, едва выглянув, снова бью из автомата поверху.

– Ну-ка, оставьте его, суки! – кричу я, но в коридоре уже никого нет. Кто-то мелькает, исчезая, в дверях школы.

– Пацаны! Мужики! – воплю.

Кто-то едва не сшибает меня, сбегая по лестнице.

– Чего? Чего?

– Тихо, там чечены! Там дядя Юра! Они его утащили!

Мы все орем, словно глухие.

– Сколько их?

– Хер его знает! Я троих видел...

– Что с дядей Юрой?

Я не отвечаю.

– Двоим стоять здесь – держать вход, – приказываю.

Бегу в «почивальню». Слышу за спиной выстрелы. Стреляют с улицы. И наши отвечают. Громыкает взрыв, тут же еще один, непонятно где.

– Язва! Хасан! – ору на бегу. – Столяр!

Костя выскакивает навстречу в расхлябанных берцах.

– Чего? – спрашивает меня Столяр.

– Чечены дядю Юру утащили. Из туалета.

– Какие чечены? Откуда?

– Хер их знает откуда. Вооруженные...

– Ты стрелял?

– Я стрелял. Поверху, чтоб дядю Юру не убить.

– А где пост? – округляет глаза Столяр. – Где наряд?! – орет он. – Где дневальный?

Я накидываю разгрузку. Руки трясутся, будто у меня припадок.

– Чего, чего? – спрашивают все.

Подбегаем к окну, смотрим в бойницы.

С улицы бьют по бойницам. Все присаживаются, кроме Андрюхи Коня. Он, невзирая на пальбу, ставит пулемет на мешки и начинает стрелять по улице.

Пацаны кидают гранаты, одну за другой. Кажется, за минуту мы их перекидали больше полусотни.

Астахов бьет из «граника» по двору.

Начинают работать, жестоко громяхая, автоматы.

– Вон побежали! – выкрикивает кто-то.

– Кто побежал?

Ничего никому не понятно.

– Амалиев! Связаться со штабом! – орет Столяр. – Язва, брат! Давай на крышу, возьми своих! Рации берите! Есть там кто у входа? – спрашивает у меня.

– Есть. Плохиш, еще кто-то.

Столяр посылает Хасана ко входу.

Все сразу и с готовностью слушаются Столяра.

Я бегу на крышу. В рации – шум, мат, треск. Стоит беспрестанная пальба. Вылезаю наверх.

Шевеля всеми конечностями, ползу к краю, к бойницам. За мной еще кто-то. Оборачиваюсь, хочу сказать, чтобы к другой стороне крыши, где овраг, тоже кто-нибудь полз, но Язва уже приказал кому-то сделать это.

Высовываю голову и сразу вижу на школьном дворе, у самых ворот, дядю Юру.

– Мать моя... – говорит кто-то рядом.

Словно увидев нас, дядя Юра, бесштаный, голый, шевелит, машет обрубленными по локоть руками, и грязь, красная и густая, свалывшаяся в жирные комки, перекачивается под его культями. Дядя Юра похож на пингвина, которого уронили наземь.

«Руки измажет!» – несуразно и чувствуя то ли головокружение, то ли тошноту, то ли накатившее безумие, подумал я.

Вдруг понимаю, что никто уже несколько мгновений не стреляет. Наверное, пацаны в «почивальне» тоже увидели дядю Юру.

«Когда ж они успели...» – думаю, глядя на дока.

– Аллах акбар! – выкрикивает кто-то, невидимый нам, за воротами. Крик раздается так, словно черная птица неожиданно вылетела из-под ног, вызвав гадливый и пугливый озноб. В проеме раскрытых ворот появляется чеченец и дает несколько одиночных выстрелов в пухлую спину дяди Юры.

Кто-то из лежащих на крыше стреляет в чеченца, но он, невредимый, делает шаг вбок, за ворота, и пропадает. Мне даже кажется, что он хохочет там, за забором.

Дядя Юра еще раз шевельнул обрубками, как плавнями, катнул грязную бордовую волну и затих с дырявой спиной.

Язва заряжает подствольник гранатой и, прицелясь, стреляет.

– Недолет, – зло констатирует он, когда граната падает метрах в десяти от забора – во двор. Комья грязи падают на спину дяди Юры.

– Растяжки! – рычит Язва. – Они за ночь все растяжки сняли у забора! Мы все проспали!

Несколько чеченцев, не дожидаясь, когда граната упадет им на голову, отбегают к постройкам. В них стреляют все, находящиеся на крыше. Автоматы, нетерпеливо захлебываясь, бьются в руках.

«Мимо бьют все, мимо...» – думаю.

Я не стреляю. Беру бинокль у Язвы и, смиряя внутренний озноб, смотрю вокруг. Едва направив бинокль на хрущевку, я вижу перебегающего по крыше человека.

– Берегись! – ору я. – На крыше хрущевок чеченцы!

Язва, слыша меня, не пригибается и еще раз стреляет из подствольника.

Я ругаюсь матом вслух, пытаюсь разозлить себя, заставить себя смотреть. Еще раз поднимаю бинокль и, не в силах взглянуть на хрущевки, смотрю на дома, стоящие слева от школы, возле дороги.

Язва ложится на крышу, губы его сжаты, глаза жестоки. Несколько пуль попадает в плиты наших бойниц.

На левый край школы падает граната, никто даже не успевает испугаться, все разом падают... потом, подняв головы, смотрят на место взрыва – там никого не было, затем друг на друга – все целы.

– Подствольник, – говорит Язва. – Из подствольников бьют.

– Это чего у тебя? – спрашивает Степка Чертков у Язвы.

Грише в ботинок воткнулся осколок. Он вынимает его пальцами.

– Надо уползть! – говорю я, но не успеваю до конца произнести фразу, потому что слышу, как по рации, чудом прорвавшись сквозь общий гам, не своим голосом кричит Столяр:

– Язва! Язва, твою мать! Чеченцы в школе!

– Слева стреляют! – голосит кто-то из пацанов на крыше. – Вон из тех зданий! – и указывает на дома у дороги.

У меня холодеют уши: я слышу, как над нашими головами свистят пули. Мерзкие куски свинца летают в воздухе с огромной скоростью, и от их движения – легкий отвратительный свист.

– Уходим отсюда! – говорит Язва.

«Куда уходить? – думаю я. – Может, там уже всех перебили?»

Крыша видится мне черным гиблым куском тверди, на котором мы затерялись. Вот бы эта крыша могла улететь, как ковер-самолет...

Ковыляем, не в состоянии придумать, как же нам передвигаться: ползком, на карачках, гусиным шагом, в полный рост, прыжками, кувырками, – мы движемся к лазу. Ударяясь всеми частями тела обо все, скатываемся по лестнице. В школе стоит непрерывный грохот, словно там разместили несколько цехов по сборке адских металлоконструкций.

Я еще не слез, стою на лестнице, боясь наступить на голову нижестоящему, кто-то, обезумев от спешки, валится на меня. Сапогами, ногами, коленями бьет меня по темени, сдирает скальп, ломает мою шею, давит меня всего. Я держусь за лестницу рукой, на которой висит автомат, и, защищаясь, поднимаю другую руку, пытаюсь остановить того, кто сверху, что-то ему кричу. Но он не слышит, не отзывается, хочет усесться мне прямо на плечи. Я склоняю голову, сгибаюсь, и он переваливается через меня, едва не оторвав мне ухо. Он падает вниз, лицом на каменный пол, переворачивается на бок, и я вижу Степу Черткова с деформированной мертвой головой.

– Степа! – вскрикивает кто-то.

«Что же это...» – думаю и не успеваю додумать. Спрыгиваю, переступаю через Степу.

– Берите его! – говорит Язва.

Степу пытается поднять Монах.

– Погоди! – говорю я и с помощью Монаха снимаю со Степы разгрузку. Надеваю ее поверх своей.

Монах вскидывает Степу на плечо. Степина голова свешивается, волосы словно встают дыбом, они слипшиеся, в черной густой крови.

Я поднимаю Степкин автомат. Спешу, отяжелевший, за Язвой. Мы заглядываем в коридор, но никого не видим.

Язва вызывает Столяра. Костя сразу откликается.

– Коридор чистый? – спрашивает Язва.

– Да! Чистый! – отвечает Столяр.

Бежим в «почивальню».

Бросается в глаза огромная спина Андрюхи Коня, его белые руки на пулемете. Он надел разгрузку на голое тело.

Несколько пацанов стоят у бойниц, беспрестанно стреляя. На полу сотни гильз.

– Чего? – кричит Столяр, глядя на Степу Черткова.

Монах молча сваливает Степу на кровать. Щупает у него пульс. Какой там пульс, вся голова разворочена. Из пулемета, что ли...

– Кто прорвался? – спрашивает Язва.

– Влезли... – начинает Столяр и обрывает себя, всматриваясь в мертвое лицо Степы. – Влезли, – продолжает он, будто сглотнув, – на первый этаж двое... Их Плохиш гранатами закидал.

– А может, они еще где? – спрашивает Язва.

– Не знаю. Я отправил своих и ваших по классам, по два человека. У всех рации есть.

– Чего, отошли они, Кость? – спрашиваю я.

– Вроде...

– ГУОШ отзывается? – спрашивает Язва.

– ...Отзывается... Говорят: сидите, ждите, они в курсе.

– Чего «в курсе»?

– Да не знают они ни хера! Может, чечены опять город берут? Может, в ГУОШе тоже сидят, как и мы, запертые?

Я подхожу к Андрюхе. От него, кажется, валит пар. Он возбужден. На белом лбу ярко розовеет небольшой прыщик.

– Чего там? Куда бьешь? – кричу я.

– По хрущевкам, – отвечает Андрюха злобно, ответ я угадываю по губам. – Все стреляли, никто не попал! – говорит он уже о другом – о нас. – Их, бля, человек двадцать было во дворе. А мы сначала обоссались все, потом окосели все на фиг!

«Мы обоссались, а он нет», – думаю я об Андрюхе.

Амалиев сидит у гомонящей без умолку и, кажется, готовой треснуть рации, неотрывно глядя на мертвого Степу. Монах тупо смотрит на свой ботинок, весь покрытый кровью, Степиной, застывающей...

Дима Астахов, возле которого стоит труба гранатомета, отворачивается на секунду от окна, вглядывается в Степу и снова стреляет, серьезный и сосредоточенный.

Столяр начинает поочередно вызывать всех, кого разогнал по кабинетам, спрашивая, как обстановка.

Я слышу голос Скворца. Кличу его, дождавшись, пока Столяр закончит проверку.

– Ты где? – спрашиваю, прибавляя громкость рации на полную.

– Рядом с «почивальней», в соседнем классе, – слышу далекий Санин голос.

Иду к Скворцу, предупредив Столяра.

– Егор! – говорит мне Столяр вслед. – Все посты обойди! Посмотри, что где. Доложишь.

Я выхожу из «почивальни» и останавливаюсь в коридоре. Прижимаюсь спиной к стене, смотрю вокруг. Вся школа мелко дрожит, сыплется известью. Вдруг вспоминаю, что у меня до

сих пор расстегнута ширинка – с того момента, как я увидел дядю Юру. Застегиваюсь ледяными негнушимися пальцами. Помочиться не хочется. Дую на руку, пытаюсь отогреть пальцы.

Дверь в комнату, где находится Скворец, открыта. Юркнув в помещение, согнувшись, подбегаю к Скворцу, присаживаюсь у стены. Достая сигарету.

Саня, не глядя, дает в окно короткую очередь, встает у окна боком, ко мне лицом. Я киваю ему: как, мол? Пытаюсь улыбнуться, но не выходит. Саня смотрит на меня, не отвечая. Лицо его, покрытое белой и серой пылью, кажется спокойным, лишь щека чуть дергается.

Прикуриваю, затягиваюсь. Вкуса у сигареты нет. С удивлением смотрю на нее и, тут же забыв, зачем смотрю, хочу бросить. Останавливаю себя в последнюю долю секунды: глядя на сигарету, решаю проверить, не дрожат ли у меня пальцы. Не дрожат.

– Ну чего? – говорю я вслух.

– Обстреливают. Вон... попали. – Саня показывает на выщербленную стену напротив окна. – Сейчас пристреляются и...

– «Семь шестьдесят два»... – говорю я, глядя на стену. – Если из «пяти сорока пяти» жажнут, может отприкошетить по заднице.

Кеша молча смотрит на меня, он стоит у другого окна, держит в руках эсвэдэшку.

– Чего ты тут делаешь, снайпер? – обращаюсь я к нему. – Тебе позицию надо... Иди к Столяру, пусть он тебе место найдет.

Кеша выбегает, высокий, с длинной винтовкой, которую он иногда раздраженно, иногда нежно называет веслом.

– Пойдем со мной. По постам, – говорю я Сане.

Выбегая, краем глаза вижу, как от простреливаемой стены летят куски краски, битый кирпич.

Когда тебе жутко и в то же время уже ясно, что тебя миновало, чувствуешь, как по телу, наступив сначала на живот, на печенку, потом на плечо, потом еще куда-то, пробегают босыми ногами ангел, и стопы его нежны, но холодны от страха. Ангел пробежал по мне и, ударившись в потолок, исчез. Посыпалась то ли известка, то ли пух его белый. Я оглядываюсь на дверь комнаты, где мы только что были. Машинально трогаю стены – не картонные ли они, а то сейчас пробьет навылет.

Мы бежим по коридору. На площадке между первым и вторым этажами пацаны повалили два стола на бок, привалили их мешками с песком. Заправляет всем Хасан. Рядом сидит Плохиш, ухмыляется. Еще Вася Лебедев и Валя Чертков, с распухшей хуже вчерашнего рожей, бордовое месиво совершенно залепило правый глаз.

«Убили братика твоего, Валя», – хочу я сказать, но не могу.

– А у нас тут чеченцы, моченные в сортире... – говорит Плохиш.

Зная, что у Плохиша спрашивать что-либо бесполезно, обращаюсь к Вальке:

– Чего случилось?

– А пробрались двое... В туалет влезли, в окно. Плохиш прямо к туалету подбежал, кинул две гранаты. Потом зашел туда, вон автоматы притащил...

Гордый, что есть такие пацаны в мире, я смотрю на Плохиша...

– Все в говне и в мозгах... – начинает Плохиш и тут же обрывает себя. – Слышь, Хасан, давай твоим собратьям бошки отпилим? Как они, суки, дядю Юру обкорнали всего!

Хасан кривится и не отвечает.

Плохиш вытаскивает нож, хороший тесак, и, косясь на Хасана, начинает им забавляться, колупать стол.

– Ну, бля, будут они атаковать? – говорит Вася Лебедев спокойно, и я удивляюсь его спокойствию – неужели ему хочется, чтобы кто-то полез сюда?

– Чего там? – спрашивает у меня Вася, имея в виду положение дел на крыше, в «почивальне»...

– Сюда ведь могут из гранатомета засадить. От ворот. Или если в упор к школе подбегут, – говорю я, не отвечая, чтобы не обмолвиться о Степке Черткове.

– Учтем, – говорит Вася Лебедев.

– А вы там на хер сидите? – спрашивает Плохиш. – «В упор к школе!» Вы хер ли там делаете? Спите, что ли? Как там дела, у тебя спросили!

– Нормально, – отвечаю я.

– Если они подбегут, мы им Валю покажем – они охренеют, – говорит Плохиш.

Мы все смотрим на Валю, на его искаженное, вздутое, бордовое одноглазое лицо.

– Ты целиться-то можешь? – спрашиваю я.

– А чего ты в двух разгрузках? – перебивает меня Плохиш. – Ты лучше бы запасные трусы надел.

Вася Лебедев косится на меня иронично, но добро, и Валька Чертков готов засмеяться, хоть ему и больно это делать, но неожиданно обрывает себя.

– А ведь это... Степкина разгрузка, – говорит он. – Ты чего?..

Валя смотрит на меня, пытаюсь раскрыть второй, затекший глаз, рот его чуть приоткрыт, он хочет еще что-то сказать, но ждет меня.

Я смотрю на Валю, сжав зубы.

– Иди. Он в «почивальне», – говорю я.

Валя хватает автомат и спешит наверх. Пацаны смотрят на меня.

– Убили Степу, в голову, на крыше, – говорю я и закуриваю.

Пацаны тоже закуривают.

– Надо связь держать, – говорит Хасан, помолчав, – а то сейчас из ГУОШа подъедут, а вы своих же перестреляете. Куда там все палят?

– Известно куда, – Плохиш, не высовываясь, вскидывает автомат над своей круглой башкой, кладет его на мешок и, скорчив напуганную рожу, трясет им, как отбойным молотком. – Они не смотрят, – поясняет он. – Им неинтересно.

Я улыбаюсь и думаю: как это странно, Степу убили, а Плохиш все придуряется, и мы улыбаемся, и меня тоже убьют, и будет то же самое... Ну, не будут же все рыдать, сжимая береты в руках.

– Степу жалко, – говорит Саня, единственный, кто не улыбается.

– Ничего, – роняет Вася Лебедев. Нет, он не хочет сказать, что все это, мол, ерунда, он хочет сказать, что Степу мы помним и сделаем все, чтобы...

И все поняли, что Вася сказал.

– Учтем, Саня, – итожит Вася и толкает Скворца в плечо.

Мы встаем и уходим, я и Саня.

В большой классной комнате, глядящей одними окнами на овраг, а другими – на пустыри, пацаны говорят нам, что чеченцы сорвали растяжку в овраге.

– Одного раненого видели! – кричат возбужденно. – Его аж подбросило. И заорал! Они полезли за ним, мы еще одного подстрелили. А они потом как дали из «граника»! И не попали! Но все стекла на хер повывлетали...

– Чего там слышно из ГУОШа? – спрашивают меня.

– Ничего. Приедут, наверное. Вызволят.

Мы заглядываем еще в несколько комнат. Все целы, стреляют или снаряжают магазины.

«Уже скоро, наверное, приедут, – думаю я о помощи из ГУОШа, – знают же они, что мы тут окружены. Должны нас вытащить отсюда. Главное, чтоб не убили, когда мы будем выезжать. Может быть, нас не будут штурмовать. Дядя Юра и Степка – и все, больше никого... Зачем мы полезли на крышу? Пересидели бы. Кто предложил на крышу идти?»

Не могу вспомнить.

«Или, наоборот, не надо было с крыши уходить? Что мы стали так суетиться? Как глупо всё...»

Мне не очень страшно. Вовсе не страшно.

«А почему Степа последний спускался? Ведь должен был я последним уходить. Или Язва...»

Отмахиваюсь от этой мысли. Потом, всё потом. Так получилось.

Х

Воздух в комнате треснул, метнулся по углам, уполз в щели. Во все стороны густо и жестко плеснуло песком, полетело щепье и стекло. Сетка, висящая на окнах, затряслась. Язву отбросило, он с грохотом упал на пол, на спину, и остался лежать с раздробленным лицом. И только, как мне показалось, похоже на рыбий шевелил раскрываемыми губами рот.

В бойницу, в мешки и плиты влепили заряд гранатомета. В ушах звенит.

Тут же под окном гакнул и осыпался еще один взрыв. И сразу еще один.

Андрюха Конь, вытерев голой рукой лицо, с трудом расщуривает глаза и снова встает к пулемету. Слепую бьет очередями и вновь трет глаза.

– Второй номер! Лента! – орет он и опять трет глаза. Я вижу под его глазами красные кровотокающие борозды, глаза тоже залиты красным, и, кажется, веко порезано, наверное, в его ладонь впился кусок стекла, и он трет себя этой ладонью, ничего не замечая.

– Они идут! – кричит кто-то.

Глядя в окно, я вижу перебегающие фигуры, их много.

«Господи! Господи, как их много!» – хочется заорать.

Кажется, что чеченцы движутся неспешно. Да, они неспешно бегут... прямо к нам. Зачем они сюда, к кому?

Один из бегущих, выхваченный моим суматошным зрением, прячется за сараюшку, где располагается кухонька Плохиша, присаживается и, скалясь, кладет гранату в подствольник.

Прицеливаюсь и стреляю: в присевшего за сараем удобно стрелять по диагонали, спрятавшись за стеной. Чеченец дергается, но, не боясь выстрела, выворачивается в мою сторону и... Не знаю, стреляет ли он, я отстраняюсь, поднимая вверх автомат.

«Косая тварь...» – ругаю себя.

И снова: «Зачем они бегут сюда?»

Торопясь, словно опаздывая, стреляем.

– Граната! – вскрикивает кто-то рядом со мной.

Вскидываю взгляд, стремясь увидеть легкий овальный слиток, готовый разорваться, и вижу. Граната бьется в сетку на окнах и падает назад, вниз, под окна школы.

Услышав уханье разорвавшейся гранаты и надеясь, что взрыв отпугнет чеченцев, я снова пытаюсь выстрелить, но рожок пуст. И другой, привязанный синей изолентой к вставленному в автомат, тоже пуст. Бросаю их Амалиеву, к его столу, где он сидит у рации и снаряжает пацанам рожки.

– Анвар, быстрее! – кричу.

Он смотрит на меня озлобленно, загоняя патроны в чей-то рожок.

Я смотрю вокруг, замечаю автомат Язвы под кроватью Сани Скворца. Подбегаю туда и вижу чей-то носок. «Мой или Санькин?»

Отстегиваю от Гришиного автомата рожки, вижу, что один полный, а в другом – последний патрон. Пристегиваю к своему, смотрю на спины, на лица пацанов. Они перебегают от окна к окну: мокрый, с бешеными глазами Столяр, взвинченный Федька Старичков, Кизя, с алюминиевыми, спокойными скулами и тонкими губами, Дима Астахов, повесивший трубу гранатомета за спину, Валя Чертков с одним раскрытым до предела глазом и с другим, которого совсем не видно, Скворец...

– Андрюха! – ору я Суханову, который так и не сходил с места. – Смени позицию!

Андрюха Конь хватает пулемет за ствол и перебегает.

«Он же руку сожжет!» – мелькает у меня в голове.

Присев на корточки, я примериваюсь, куда мне встать, и вижу чью-то руку, цепляющуюся за сетку, – черную лапу с крепкими ногтями в грязной окаемке. Вслед за рукой появля-

ется лицо, довольное, обильно бородатое. Другой рукой взобравшийся прямо к «почивальне» чеченец кладет в бойницу, от которой только что отошел Андрюха Конь, автомат, и я вижу, как ствол начинает подпрыгивать на кладке бойницы, простреливая «почивальню».

Бегу к окнам, зачем-то бегу к этому лицу, делаю, кажется, два прыжка и стреляю почти в упор в бороду. Палец мой изо всех сил тянет на спусковой крючок, но автомат больше не стреляет: в суматохе я вставил тот рожок, где был последний патрон. Вытаскиваю из разгрузки гранату, срываю кольцо, бросаю ее в бойницу, вслед упавшему, словно боясь, что он снова полезет вверх.

«Ползут, как колорадские жуки...» – думаю я, в голове мелькает детская картинка: какая-то сельская дорога, конец августа, и колорадские жуки, уныло уползающие с картофельного поля, и мои детские ноги в красных сандалиях, подошвы которых уже покрыты влажной коркой жучиных внутренностей с вклеенными в едко пахнущее месиво полосатыми крыльшками.

– Семеныч на связи! – выкрикивает Амалиев.

– Семеныч! – орет стреляющий Столяр, не отходя от бойницы. – Семеныч! – ревет Костя, словно Куцый может его услышать. – Они в окно к нам лезут, Семеныч! Прямо в окно! Вы где там, бля?

Амалиев, подумав мгновение, вытягивает руку с зажатым в ней динамиком и большим пальцем нажимает на тангенту, давая Семенычу послушать Столяра. В этом, конечно, нет никакого смысла.

Астахов как ужаленный отскакивает от бойницы, приседает, держа себя за голову. К нему кидается Скворец. Астахов убирает руку, кажется, в голову ему попал осколок. Течет кровь, Астахов злобно морщится. Скворец танцующими руками бинтует его. Наверное, Астахову кажется, что бинтует слишком долго, он вырывает бинт из Саниных рук, связывает концы и возвращается к бойнице. По его шее течет кровь. Лицо у него дикое.

Столяр, пригибаясь, бежит к Амалиеву, оскальзывается на гильзах, переворачивается через голову и, сядя у ног Амалиева, выходит на связь.

– На приеме! – кричит он, назвав свой позывной.

Я не слышу, что говорит Семеныч.

– Нас штурмуют! Мы в осаде! Три «двухсотых»! Дока убили! – выкрикивает Столяр, кажется, тоже не услышавший Семеныча.

– Когда будете? У нас раненые! Когда помощь? – кричит он, подождав.

Слушает ответ.

– Не понял!

Еще слушает.

– Кашкин не приезжал! Я за старшего!

Опять слушает. Бросает рацию на стол.

– Снаряжай, чего сидишь! – орет он на Амалиева.

Заставляю себя выглянуть в окно. Кидаю еще одну гранату и отчаянно стреляю, поводя автоматом во все стороны, пытаюсь хоть что-то увидеть и в то же время ожидая, что вот сейчас, в эту секунду получу пулю в лоб.

Дима Астахов бьет из «Мухи» в сарайчик Плохиша. Во все стороны летят доски и даже, кажется, банки. Отстраняюсь от бойницы, словно выныриваю. Хватаю воздуха и снова стреляю. Я вижу нескольких человек, отбегающих к воротам. Быть может, мне мерещится... И еще нескольких, лежащих на земле, в грязи. Неужели мы их все-таки убиваем?

...Патроны, кончились патроны, рожок пуст.

Нырря возле бойниц, подскакиваю к Амалиеву. Беру свои уже снаряженные рожки и только тогда вспоминаю, что у меня в боковых карманах разгрузки лежат еще два рожка, нетронутые.

– Амалиев, к окну! – орет Столяр.

Тот, нервно схватив автомат, пытается встать, но автомат цепляется ремнем за стол.

Приседает у бойницы Кизя, падает на колени. Никто к нему не спешит, может, не видят. Бегу к Женьке, он держит себя за плечо. Сквозь Женькины пальцы толчками бьется кровь.

Амалиев начинает орать, я не разбираю ни слова, но понимаю, что ему не нравится все происходящее вокруг, не нравимся мы и он не хочет идти к бойницам и стрелять.

Не знаю, что делать с Женькой. перевязать надо? Нет, укол, сначала укол. Кажется, я говорю вслух.

– Женья! – говорю я, едва слыша свой голос. – Сейчас, Женья!

Лезу в задний карман разгрузки за индивидуальным пакетом.

– Скворец, помоги! – прошу я, боясь, что обязательно что-нибудь спутаю. – Саня! Санек!

Делая укол, раскручиваю бинт, при этом поглядываю на кривящегося в муке Женьку, лоб которого покрывается крупными каплями пота; ошалевший от грохота, с липкими и красными руками, оставляющими следы на разматываемых бинтах, которые все равно сразу насквозь пропитываются кровью, как только я их криво и путано прикладываю к Женькиному плечу, пропуская под мышкой и передавая Сане, сидящему за спиной Жени, – вот в эти мгновенья я вдруг понимаю, что все происходящее погружает меня в состояние некой одурелой невесомости. И я начинаю видеть вокруг себя все – кажется, я вижу даже то, что происходит у меня за спиной. Вижу мертвого Степу Черткова, лежащего на кровати с повернутой в сторону окон деформированной головой, и его брата Валю, который, меняя рожки, часто смотрит на Степу. И я вдруг понимаю, что они похожи с братом – сейчас еще больше, чем когда один из них был еще жив, – своими бордовыми, одноглазыми, страшными лицами.

Дима Астахов идет за рожками к столу, где все еще кричит Амалиев. Подойдя, Дима бьет Амалиева в лицо, очень спокойно и очень сильно, и тот падает, сшибая стул, и рацию, и еще что-то. Взвизгнув, выскочил из-под Амалиева Филя, лежавший, оказывается, где-то возле. Амалиев пытается подняться и даже поднимает вверх автомат, но Астахов, перешагнув через стулья, вырывает у него ствол и наступает ему на лицо. И даже не снимая ноги, которую силится сдвинуть Амалиев, отстегивает рожки от его автомата и вставляет в свой. Тельник Астахова бурый, сохлый, пропитавшийся кровью, текущей из-под кривой повязки на его голове.

Федя Старичков бьет короткой очередью и отбегает в угол. Я уверен, что он ранен, но его рвет.

И еще вижу Столяра, который вызывает по рации Кешу Фистова, отправленного им на чердак.

– Кеша! – кричит Столяр в рацию. – Работай по хрущевкам! Там снайпер!

Наверное, надо просто успокоиться, принять какие-то решения, но как трудно это сделать, как трудно...

– Ташевский! – кричит Столяр. – Вниз, к Хасану надо сходить! Не отзываются они! Может, чичи в школе! И к Фистову зайди, тоже молчит. Всю школу обойди!

Мы тащим скривившегося от боли Женьку к кроватям, укладываем его.

– Пойдем, Саня! – зову Скворца, пытаюсь перекричать грохот. – Магазины полны? Гранаты есть?

– Рация! Рацию проверь! – орет Столяр.

Не слыша его слов, я угадываю по губам и по жестикуляции, о чем он говорит.

«Что там, на улице? – думаю. – Где они?»

Не хочется смотреть в бойницу.

Не хочется бежать вниз, к Хасану.

Ни в чем себе не сознаваясь, бессовестно лукавя, направляюсь сначала на чердак, подальше от ужаса, от огня, как кот на пожаре. Бегу и матерю себя за безбожный страх.

«Все нормально! Сейчас к Кеше забежим – и вниз!» – клянусь себе.

Кажется, что со стороны оврага вообще нет стрельбы.

«Значит, мы не окружены? Быть может, отряду стоит уйти? А как же пост?»

«Школа, что ли, пост? Да кому она нужна? Что мы вообще тут делали?»

– Кеша! – удивляюсь я, забравшись на чердак. – Ты чего?

Кеша сидит у самого выхода, сжимая в руках винтовку.

– Я снаряжал, – отвечает Кеша. Возле ног его рассыпаны патроны.

– Чего ты «снаряжал»? Ты почему не на позиции? Кеша, сучий сын, быстро, блядь, на место!

Крича, я возбуждаю себя и сам забываю, как только что трусил.

Кеша послушно ползет к одному из мелких окошек, обложенному мешками с песком. Мешки сверху придавлены короткой плитой, которую мы в муках притащили сюда, когда только приехали. Сначала я хочу еще что-то прокричать ему в спину, злобное, но не кричу – понимаю, что сейчас не надо. Хочу сказать ему, что убили Язву и ранили нескольких парней, но боюсь его напугать, боюсь, что, едва мы уйдем, он снова забьется куда-нибудь в угол.

– Кеша, я прошу тебя... Поработай, брат.

Кеша, не оборачиваясь на меня, укладывается. Передергивает затвор и сразу стреляет.

Мы поочередно забегаем с Саней в открытые комнаты, где организованы посты.

В соседних с «почивальней» кабинетах нескольких парней зацепило, никто толком не знает, что делать с ранеными, как перевязать, как положить, что вколоть.

Стреляем с Санькой отовсюду.

Из кабинетов, выходящих окнами на овраг, никого не видно – чичи напоролась на растяжки и, видимо, больше не полезли. Кроме того, там грязь непролазная, жуткая. Пацаны все равно стреляют, не жалея патронов. Отдаю себе отчет, что мне не хочется уходить из тех кабинетов, где стрельба ведется для острастки, где пацаны кусты бреют. И заставляю себя уходить.

В каждой комнате спрашивают, когда помощь. Я не знаю когда.

Перескакивая через несколько ступеней, спускаемся к посту Хасана.

Плохиш сидит на лестнице между первым и вторым этажами и пускает длинную слюну.

– Плохиш, ранен? – я заглядываю ему в лицо, присаживаясь рядом.

Плохиш поднимает коричневую рожу, смахивающую на торт, с двумя вензелями белесых бровок.

– Песка обожрался... – говорит он. И снова плюет.

Глаза его чуть дурные, словно он пьян.

– А пацаны? – спрашиваю я и, глядя на Плохиша, понимаю, что он не слышит.

Саня спешит вниз.

– Контузило? – кричу я Плохишу.

Плохиш снова поднимает на меня взгляд и спокойно отвечает:

– Какой, бля, «контузило»... Хасан прямо над ухом саданул из автомата. Не слышу ни хера. Придурак чеченский...

Иду вслед за Саней. Отмечаю, что стрельба чуть поутихла. Несколько раз слышу голос Столяра по рации:

– Прекратить огонь! Прекратить огонь! Вести наблюдение! «Неужели отошли?» – думаю я недоуменно и радостно.

Увидев пацанов, Хасана и Васю, я готов заплакать от счастья, и пыльная морда моя расплывается в самой нежной улыбке, которую способно выразить мое существо.

– Ну и позиция! – говорит улыбающийся и возбужденный Хасан. – Стреляем только в дверь.

– Егор, ты прав был, – перебивает его Вася, – из «граника» дали по нам.

– Попали?

– Попали – мы бы тут не сидели. От ворот, наверное, стреляли. Под лестницу выстрел пришелся. Нас всех аж подбросило... А потом, как чичи до школы добежали, стали гранаты в коридор кидать. Катятся по коридору, как живые – ужас...

Вася смеется, довольный.

– Весь туалет гранатами закидали, ироды... – добавляет Вася. Стены коридора изуродованы, словно их вывернули наизнанку.

Потолок осыпался до деревянных балок.

– Сань, ты сказал... про Гришу? – спрашиваю я.

Саня кивает.

Пацаны молчат. Закуриваем, ну что еще можно сделать?

По школе, кажется, уже не стреляют. Но кто-то в школе не унимается, бьет одиночными.

Столяр, вызвав по рации Кешу, ругается:

– Хорош, друг! Уймись. Мертвые они, мертвые...

Видимо, Кеша стрелял по трупам, валяющимся во дворе.

В коридоре тоже лежит труп – лицом вниз, руки вытянуты, кулаки сжаты. Натекла лужа крови.

– Он... точно убит? – спрашиваю я.

– Ты на голову посмотри ему, слепой, что ли? – говорит Вася Лебедев.

Я смотрю и вижу, что темя лежащего словно изъедено червями. С отвращением отворачиваюсь.

Спускается вниз Плохиш. Прикладывает руки к ушам, крутит головой.

– Чабан – он и в Святом Спасе чабан, – говорит Плохиш. – Чего смотришь? – с деланой злобой кричит он на Хасана.

Снова смотрю на мертвого.

– «Хаса-а-ан!» – закричал, когда вбегал, – улыбаясь, врет Плохиш, заметив мой взгляд. – «Хасан! Нэ стрэ-ляй! Я же брат твой!» Этот придурок встал ему навстречу: «Узнаю тебя, брат!» – вопит...

Смеемся, даже Хасан скалится.

– Плохиш, а ты знаешь, что Астахов твою кухню расхерачил из «граника»? – спрашиваю.

– Серьезно? Идиот, у меня же там заначка. Нет, правда? Ну идиот! А жрать чего будем?

Я стал называть ее Малыш. Так называл меня отец.

Мне так мечталось, чтобы отец выжил, не умер тогда, увидел ее, в легком платье, Дашу. Он нарисовал бы ее мне.

Например, сидящую в ее комнате с синими обоями, где она в голубых джинсах и коротенькой маечке расположилась на полу у стены, поедающая креветки и запивающая их пивом. И губы ее, на которых в нескольких местах была съедена помада, влажно блестели бы, и глаза смеялись.

Или сидящей на стульчике, чтобы на ней был тот минимум одежды, в котором ее допустимо было бы показать отцу.

«А что бы вошло в понятие “минимум”?» – долго думал я, мысленно то чуть придевая, то совсем разоблачая мою Дашу.

Или стоящую среди других людей на промозглой остановке, где ее сразу можно было бы увидеть, удивиться ей, легко одетой, изящной, на высоких каблучках.

Казалось, я воспринимал ее как свое веко – так же близко. Тем больше было.

«Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?» Разве ты не знаешь?

Вновь заглядывал ей в глаза, ничтожный, не понимающий ни ее, ни себя.

На ней лежали мужчины, давили ее своим весом, своей грудью, своими бедрами, волосатыми ногами, каждый трогал ее руками, губами, мял ее всю. Между ее разведенными розовыми изящными коленями, шевеля белыми ягодицами, помещались мои кошмары.

«Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии...»

И видел снова, как дурно зачарованный: внутри ее, окруженный нежнейшей... в сладкой тесноте... как перезревший тропический плод, лопался...

«Ты меня обворовала», – все хотел сказать я и не мог сказать. Обворовала или одарила?

Она тихо улыбалась.

– Разве ты веришь, Егор? – спрашивала она.

– Не хочу мочь без тебя. Хочу без тебя не мочь. Чтобы время без тебя невмочь было.

Она пыталась меня отвлечь. Да, она любила, когда чувство кровотоцит. Но она не любила истерик. И пыталась меня отвлечь, переводя разговор на то, что должно было отвлечь меня, отвлекало всегда.

– Знаешь, какая разница между нами? Даша любит сухой и жесткий язычок – кошачий, а Егор – мягкий и влажный – собачий.

– Перестань.

Даша вглядывалась в меня, раздумывая о чем-то.

– Я тебя обманула с преподавателем. Ничего у него со мной не было. Не знаю, зачем придумала...

– А больше ни с кем... не обманула?

– Нет.

Не знал, радоваться или огорчаться.

«Бред, бред, бред, – повторял зло. – Почему всё так глупо?..»

«Ты появишься как-нибудь утром и даже не поймешь по моему сонному виду, что я рад видеть тебя безумно. Это просто особый сонный вид безумия...» – так думал, не знаю о чем. Откуда она должна была появиться? Придумывал, что все изменилось, все стало иначе, но мы остались те же. Фантазировал болезненно и настойчиво.

Узнал, что Даша вела дневник, с тринадцати лет. Мне несколько раз попадались листки из него – Даша мне сама дала почитать. Там было о том, что я хотел знать.

– Дай еще, – попросил я настойчиво, но она отказала мне в возможности кромсать себя по живому.

На следующее утро я сказал, что не выспался, и попросил ее сходить в магазин:

– Дашенька, купи мне пива! – сонно шептал я, из-под век трезвыми и спокойными глазами наблюдая, как она выходит.

Как только хлопнула дверь, я вскочил и принялся перерывать Дашину квартиру.

– Ну что, нашел? – прокричала Даша с порога. – Не стыдно? – спросила она, догадавшись, чем я занимался в ее отсутствие.

– Дай, пожалуйста, – попросил я.

– Тема закрыта. Я его выкинула. Ты понял? Я его выкинула, – сказала Даша и ушла в ванную.

Когда она вернулась, я сидел на кухне.

– Ты – мой первый мужчина, – сказала Даша. – Если бы я знала, что у меня будешь ты, я бы ни разу никогда ни к кому не прикоснулась. Я тебе клянусь, Егор.

Я обнял ее. Я даже хотел заплакать, но не стал. Зачем плакать, если я ее люблю?

«А дневник она не выкинула, – подумал я, успокоившись. – Вчера она никуда не ходила, а сегодня ничего с собой не брала».

Через день мне выдался еще один вечер – Даша ушла. Я перетряс всю Дашину библиотеку, влез на антресоли, в платяные и кухонные шкафы, под ванную, даже в туалетный бачок заглянул – в том же месте мой дед прятал от сожительницы водку. Я надеялся, что там, в бутылку упрятанная, лежит рукопись. Но нет, не лежала. Нигде ее не было.

Прошло еще два дня, и за утренним чаем Даша спросила:

– Ты выкинул мусор?

– Да, еще вечером.

– Ничего не видел?

– Где?

– В ведре.

– Да я туда не заглядываю.

– Я дневники туда положила... Хотела сама вынести мусор и забыла. Вспомнила только сейчас и очень испугалась.

Надо ли говорить, что я допил чай и пошел то ли Тошу искать, который еще вечером не вернулся с улицы, то ли за пирожными для Даши.

У контейнера стояли два миролюбивых, уже знакомых мне бомжа.

– Пошли вон, – сказал я им и заглянул в железный бак, почти доверху наполненный мусором. Сверху тетрадей не было. Я извлек из мусора детскую, без колес, машинку и попробовал орудовать ею как лопаткой. Но машинкой копошиться было неудобно, и я обломил сук у дерева.

«Как же так! – чуть не плакал я, ничего не находя. – Мусорной машины вроде еще не было! Где же они? Может, бомжи взяли?»

Бомжи стояли неподалеку и равнодушно взирали на меня. Похоже, они даже разучились удивляться.

– Идите сюда! – сказал я своим скотским голосом спецназовца с многолетним и позорным стажем разгона нищего люда.

Бомжи послушно засеменяли ко мне.

– Сумки раскройте!

В сумках лежали объедки, плафон от лампы, пластмассовая бутылка, стеклянная бутылка...

– Всё, идите!

Я порывлся еще минут десять, совершенно не чувствуя брезгливости.

Наверное, мусорная машина все-таки приезжала.

Потом уже я спросил у Даши, где она прятала дневники до того, как выбросила.

– В коробке со старой швейной машинкой, – призналась Даша.

Я вспомнил, как я долго смотрел на эту деревянную коробку, обыскивая дом, постучал по ней пальцем и почему-то даже не подумал, что... И потом даже в столике нашел ключ от нее... И не открыл.

«Какой ужас, какая, Господи, жалость, что я теперь никогда-никогда не узнаю ту Дашу – ее мысли, то, что она думала, то, над чем я гадал так некрасиво и так долго», – терзался я.

В припадке тихого помешательства я поехал за город на дребезжащем трамвае – на городскую помойку, чтобы перерыть там все и в горах склизкой дряни, почти закопавшись в отбросах и ошметках, найти искомое...

Помойка издавала целую симфонию запахов. У нескольких гигантских куч кормились сотни жадных, бессовестных птиц и десятки медленных нищих. Эти тоже не удивились моему приходу.

Наверное, нищие с легкостью принимают подобных себе. Хотя мало кто считает себя нищим.

Я долго и бессмысленно смотрел на завалы гнили и мусора, не сделав к ним и шага.

Всё это должно было как-то разрешиться...

Первое, почти радостное возбуждение скоро прошло. В городе слышна постоянная стрельба. Тем более странно и тошно от тишины в школе и вокруг нее. И еще от наступающей мутной и сырой темноты.

В «почивальне» стонет Кизя. У его кровати сидит Саня Скворец.

– Чем руку смазать?.. Бля, как горит. Чем, а? – спрашивает Андрюха Конь. Коричневый рубец ожога от схваченного за ствол пулемета на его левой руке вспух. – Чего там у нас в аптечке?

Он одной рукой вываливает на стол содержимое медицинского пакета. Раздраженно копошится в ворохе лекарств и шприцев. Отходит от стола, ничего не найдя. Лицо его расщеплено в нескольких местах розовыми влажными бороздами. И веко вспухло, изуродованное. Он постоянно щурится от боли. И когда щурится, ему еще больнее.

Пацаны затравленно смотрят по сторонам, стараясь не зацепиться зрачками за мертвые руки, ледяные челюсти тех, кто...

Валя Чертков сидит в углу «почивальни», подальше от брата, будто обиделся на него. Единственный Валин глаз слезится, второго не видно.

Пришел Плохиш, спросил, нет ли у кого пожрать. Никто не ответил. Все раздражены и молчаливы. Плохиш постоял около Кизи и вышел.

Вспоминаю, что убил, кажется, убил, почти наверняка убил человека. Сдерживаю желание высунуться по пояс в бойницу и посмотреть вниз – быть может, он лежит там, на земле, смотрит на меня исковерканным одноглазым лицом.

Потерянный и оглушенный, бродит, приюхиваясь к кровавым лужам, Филя. Федя Старичков одной рукой вскрывает банку тушенки, жмурясь от боли в боку, кидает несколько ложек пахучей массы на пол – псу. Филя, щелкая зубами, съедает все в одно мгновение.

– Чего творишь? А сам что жрать будешь? – спрашивает Столяр.

– А что, мы зимовать тут собираемся? – отвечает Федя.

Сидящий на своей кровати Амалиев, с раздувшимися и растрескавшимися губами, которые он ежесекундно трогает пальцами, услышав разговор Столяра и Старичкова, настораживается. Но Столяр, ничего не ответив Старичкову, забирает у него банку и ставит ее в тумбочку дневального.

– Амалиев! – зовет он. – На место. Порядок организуй, что у тебя тут...

Анвар нехотя возвращается.

Злобно переживая приступы боли, тихо рыча, ходит взад-вперед Астахов.

– Надо отнести ребят, – говорит Столяр. – Егор, организуй!

Голос Столяра звучит неприятно громко среди общего вялого копошенья. Зову Саню Скворца.

– Дим, не поможешь? – прошу я Астахова, забыв о его ране, и, едва задав вопрос, чувствую, что сейчас он на всех основаниях обматерит меня. Но Астахов кивает. В руке у него, замечая я, луковица, и он кусает ее.

Подходим к Степке – тихо, словно к спящему.

– Ну, чего смотрим? – спрашивает Астахов. – Взяли, понесли.

Дима засовывает луковицу в рот и хрустит ею, зло сжимая челюсти.

Беспрестанно глотаю слюну. Мы с Саней стараемся не смотреть на мертвого, поэтому идем нескладно, шараясь.

Астахов, который держит Степу за ноги, ругает нас:

– Что, кони пьяные?..

Степа уже начал коченеть, мы положили его в кладовке без окон, неподалеку от «почивальни». Степина голова приняла глиняный оттенок. Показалось, что она расколется, если ударится о пол.

Язва, которого понесли следом, еще мягкий. Держа его за руку, вернее, за рукав «комка», я неотрывно смотрю на прилипшую к его почерневшему лбу прядь паленых волос.

В коридоре встретили Андриюху Коня, он, не стесняясь, мочится на свою обожженную руку.

На улице раздались выстрелы, и сразу шум на первом этаже. Спешим вниз.

– Бля! – смеется неунывающий Плохиш, он быстро дышит, словно прибежал откуда-то. – Посмотри-ка на меня! – просит он Васю Лебедева. – Не убили, нет? Пулевых ранений не видно? Осколочных? Шрапнельных? Колото-резаных?

– За жратвой, что ли, бегал? – спрашиваю я, видя две банки консервов, которые Плохиш положил на пол. – Ну дурак.

– Заначка цела, наверное... – говорит Васе Плохиш. – Завалило просто. Надо доски разгрести.

«Они уверены, что их не убьют, – с удивлением понимаю я, – уверены, и все».

По лестнице спускается Столяр.

– Хасан, я вам устрою всем! Вы что, сдурели, ублюдки? Ты, бегун хренов! – орет он на Плохиша. – Еще раз выбежишь, я тебя сам пристрелю. Ты понял? Я тебе обещаю – сам!

Плохиш молча открывает консервы.

– Кильки хочешь? – спрашивает он у Столяра, протягивая банку.

Столяр пытается выбить ее, но замахивается слишком широко, и Плохиш легким движением уводит банку из-под удара, приговаривая:

– Не хочешь – как хочешь...

– Костя! – говорит Хасан Столяру. – Нам все понятно.

– Ты почему здесь? – никак не может остыть Столяр, обращаясь на этот раз ко мне.

– Стреляли, – говорю.

– Отделение где твое?

– Скворец – вот он, Фистов на чердаке, Монах контролирует сторону дороги... Какие сейчас отделения, Костя! Все перепутались.

– Ни хера не перепутались. Иди и обойди всех. Пусть автоматы почистят, гранаты возьмут в «почивальне». Расслабились? Думаете, что все?

– Чего со связью? – спрашивает Хасан у Столяра, отвлекая его гнев.

– Амалиев уронил рацию. Астахов ему вписал в лоб, и Анвар осыпался вместе с рацией. Накрылась она. А эти, – Столяр кивает на свою переносную, выставившую антенну рацию, – не берут. Надо подзарядить.

Идем с Саней по коридорам. От сухого воздуха в горле першит, тянет на кашель. После безудержного автоматного грохота собственные шаги кажутся далекими, тихими.

На чердаке застаем Кешу, он смотрит в прицел.

– Ну чего, много подстрелил? – говорю.

Кеша не отвечает.

– Скоро наши? – спрашивает он, помолчав.

– Не знаю, – отвечаю сухо.

В одной из комнат, где выставлены посты, сидит у стены Монах, полужакрыв глаза. Его напарник спит прямо на полу, лицом к стене – даже не вижу кто.

– Спим? – говорю, заходя.

Монах открывает глаза и молчит.

Я прохожу к окну, смотрю на улицу. Неподалеку от школы лежит труп, ткнувшись в лужу лицом.

– Сергей, вас что, выжали всех? – говорю, отстранившись от окна. – Что вы квелые такие? Монах закрывает глаза.

– Обед будет? – хрипло спрашивает у стены тот, кто лежит.

– Почему не ведем наблюдение? – говорю я, не ответив.

– Мы с соседями по очереди, – еле слышно произносит Монах.

Выхожу злой.

– Чего они, Сань? Сдурели все? – спрашиваю у Скворца.

– Устали...

В «почивальне» Столяр заставил пацанов устроить раздолбанные бойницы, на скорую руку почистить автоматы, сделать уборку. Гильзы сгребли в угол, при этом кровь размазали по полу. Кажется, она пахнет. Некоторые ее обходят, но Андрюха Конь стоит посреди самой большой лужи, не замечая.

– Сейчас будем ужинать, – говорит Столяр. Он отнял у Плохиша консервы. Я, когда уходил с поста Хасана, слышал, как Плохиш выл: «Я за них жизнью рисковал, в меня за каждую кильку по пуле выпустили!»

– Все извлекаем свои запасы, – говорит Столяр. – Сколько просидим здесь – не знаю. Разделим пищу на два дня.

Пацаны лезут в рюкзаки, в свои и в чужие – тех, кто на постах. Но к рюкзаку дока, к рюкзаку Язвы и к Степиному хозяйству никто не прикасается. У кого-то находится банка-другая рыбки в томате. У кого-то – сухари.

– Амалиев! – говорит Столяр. – Давай-ка, посмотри у себя...

Запустив руку в свой туго набитый рюкзак, где царит образцовый порядок, Анвар выхватывает четыре банки. Шпроты, хорошая тушенка, сардины в масле.

Столяр делит добытое.

Лениво жуем. Астахов мнет зубами пищу с диким выражением лица, видимо, ему очень больно. Амалиев ест, придвинув к себе одну из своих банок, закладывая сардинки в широко раскрываемый рот – губы болят. Астахов, косясь на Анвара, ухмыляется, чуть смягчая дикое выражение своего лица.

Валька Чертков есть отказывается, кажется, он даже не может говорить. Приглядываясь к нему, я вижу, что щека у Вальки лопнула, как больной плод.

– Тебя бы зашить надо, – говорю. – Зарастет так – будешь кривой.

Кизя стонет.

– Столяр! – зовет он страдающим голосом. – Водка есть? Дай водки.

Астахов при упоминании о водке начинает медленнее жевать.

Столяр, подумав, идет к своему рюкзаку и возвращается с бутылкой самогона.

– Горилка, – говорит он. – Куда ее беречь, будь она проклята...

Целую кружку наливают Кизе.

Я несую ее как лекарство больному. Присев на корточки рядом с Кизей, с нежностью смотрю, как он пьет, клацая зубами о кружку. Тут же подаю ему лепесток лука и бутерброд с безглазой рыбкой.

Вернувшись к столу, пью сам как воду.

Пацаны пригубляют по очереди.

– Ну, когда за нами приедут? – ругается кто-то, ни от кого не ожидая ответа.

Кто-то, бродя по «почивальне», закуривает. И тут же в «почивальню» бьет снайпер – пуля, чмокнув, входит в стену.

Закуривший поднимает с пола сигарету, которую, чертыхнувшись, выронил.

– Курить в коридор, – говорит Столяр. – И жратву разнесите пацанам.

На улице совсем стемнело. Стрельба то в одной, то в другой стороне города учащается, не стихает. Иногда одиночными или короткими очередями бьют по школе.

Курим, осыпается пепел, сшибаемый корявыми, не разгибающимися после долгих трудов указательными пальцами... Иногда кто-то появляется в темных коридорах, бредет. Узнать, кто это, можно только с нескольких шагов.

«Сейчас влезет в школу какая тварь, разве углядишь... Самоубийца, весь надинамиченный...»

«А я ведь человека убил», – думаю устало и не знаю, что дальше надо думать.

«Человека убил», – повторяю я, словно вслушиваясь в эхо, но эха не слышу.

– Егор, часы есть? Будешь до трех дежурным. Обходи посты, чтоб никто, как вчера... После трех тебя сменят, – это говорит Столяр.

Киваю.

Сажу на корточках, медленно докуриваю. Понимаю, что Столяр не видит, как я кивнул, но говорить лень.

«Даша».

«Где-то есть Даша».

«...есть Даша?»

Рядом сидит Скворец. Спросить у него?

Неприятно морщусь, не понимая, откуда она взялась – неприязнь, что она, к чему, зачем...

Скворец не шевелится.

За сутки я так привык к тому, что он рядом. Мы даже не разговариваем, иногда касаемся плечами, иногда переглядываемся. Он так молчит хорошо, и я точно знаю, что он всегда на моей стороне, когда я кричу на кого-то, прошу парней о чем-то. И когда молчу, он тоже на моей стороне. Или я на его? Почему я все время о себе думаю? Нет, все-таки он на моей...

Разносим пацанам банки с консервами.

Прислушиваемся к пальбе.

Пацаны жадно глотают пахучую массу – говядину или рыбу.

Опять хочется есть.

Мы идем со Скворцом вниз, к Хасану: может, хоть там накормят?

Слышен говор внизу.

– О! Егорушка! Родной! – Столяр, заметно поддатый, встречает меня радостно: – Ну как? Я не знаю, о чем именно он спрашивает, но тоже улыбаюсь. Лиц друг друга мы почти не видим, но улыбки слышны в голосах.

– Всё хорошо. Загадили только всю школу. Может, место какое определим?

Столяр не отвечает, наливает мне в кружку дурнотно пахнущей горилки – он принес еще один пластиковый пузырек.

Пью, передаю Сане.

Тот, захлебнувшись, кашляет.

– Ну-у... – гудят пацаны разочарованно, каждый считает своим долгом ударить его по спине. Плохиш дает оплеуху. Саня отмахивается от него недовольно.

– А чего? Всем можно тебя бить, а мне нет? – смеется Плохиш.

Появляется откуда-то тушенка, ее держит на широкой ладони Вася. Заедаем.

Что-то говорим о происходящем, много материмся, кажется, что только материмся, изредка вставляя глаголы или существительные, обозначающие движение, виды оружия, калибры. На каждую «Муху», на каждого «Шмеля», летевших в наши бойницы, раскурочивших школу, приходится россыпи дурной, взвинченной, крепкой, как пот, матерщины.

Поминаем пацанов, снова материмся...

Немного, почти истерично, смеемся, вспоминая, как гранаты, что бросали чичи, бились о сетку и летели вниз.

– Мы, пусть пацаны меня простят, хорошо еще отделались, бля буду! – говорит захмевший Плохиш. – По уму, нас всех тут должны были уже положить...

Столяр выспрашивает у Хасана, куда можно отсюда уйти через овраг. Все замолкают. Хасан подолгу молчит, не отвечая. Он часто так делает: ему зададут вопрос, он паузу тянет – усиливает значимость ответа. Сейчас все ждут его слов с нетерпением. Но он, похоже, искренне затрудняется.

– Я всё здесь знаю. Но я не знаю одного – где... боевики. Куда идти? К ГУОШу? Или в сторону Черноречья? В заводской район? К Сунже? Везде можно нарваться. Причем на своих. Все молчат.

Где-то в стороне заводской комендатуры слышна серьезная перестрелка.

Школа тиха. Раздается бульканье горилки. Повторяем – по кругу. Говорим что-то несущественное...

Идем дальше по школе. Чувствую себя бодрее. Водка – славная отравка.

Никто не спит. Все надеются, что утром за нами приедут.

Монах хмур. Он вглядывается в темь за окном, стоя у бойницы. Я встаю рядом с ним и долго молчу. Отстранившись от бойницы, закуриваю, пряча сигарету в ладонях. Табак вновь обрел вкус.

– Сереж, а правда, Бог есть? – спрашиваю.

– Есть, – отвечает он безо всякой ненужной твердости, так, как если бы я спросил у него, есть ли у него рука, ухо, глаз.

– А зачем Он?

Монах молчит. Ему не хочется со мной разговаривать. Кажется, что Монах часто разговаривал со мной мысленно, пытаясь меня убедить в чем-то. И, наверное, уже так много всего сказал, что понял: без толку мне что-то объяснять.

– Чтобы люди не заблудились, – отвечает Монах.

– Это живым. А мертвым?

– А ты как думаешь? – спрашивает он вяло.

– Я не знаю... Бог наделяет божественным смыслом само рождение человека – появление существа по образу и подобию Господа. А свою смерть божественным смыслом должен наделить сам человек, – говорю я.

«Тогда ему воздастся», – хочу добавить я, но не добавляю. «Иначе зачем здесь умирают наши парни...» – хочу я сказать еще, но не говорю.

– Это, что ли, смысл? – спрашивает он, кивнув за окно.

Там, я помню, лежал труп.

– Божественный смысл... – тихо повторяет за мной Монах. – Ты очень много говоришь о том, чего не способен почувствовать.

Спустя несколько часов я укладываюсь спать в «почивальне». Брожу и рвусь во сне, как в буреломе.

Приснились слова. Кажется, такие: «Бог держит землю, как измученный жаждой ребенок чашку с молоком – с нежностью, с трепетом... Но может и уронить...»

Проснулся.

– Уронить, – повторил я внятно.

– А? – зло спросил кто-то.

– Уронить, – отвечаю.

XI

Филя ест блевотину Старичкова.

На улице опять льет. Стоит тупой, нудный, наполняющий голову мутью шум воды.

Под утро ранило еще одного пацана из взвода Столяра, в бок срикошетило пулей.

Ему так плохо, что все боятся – умрет.

У Амалиева вылезла черная густая щетина – впервые за всю командировку он не брился два дня подряд. Он смотрит на осипшую рацию.

Непроспавшиеся, с красными глазами, подрагивающие в ознобе, ждем: быть может, Семеныч приедет за нами.

Город всю ночь горел, дымился, беспрестанно стрелял. Что там происходит, а?.. Может, уже убили всех? А кто стреляет?

Хочется есть. Кошусь по сторонам, вижу на полу несколько пустых консервных банок. Пожевать бы что-нибудь хочется, корку хлеба или лимона.

Шнурки, обращаю внимание на свои шнурки. Кажется, что они кислые на вкус, их можно пожевывать и посасывать, гоняя по рту приятную солоноватую слюну. Откуда-то из детства помню об этом. Рот наполняется слюной. Глотать ее, почему-то холодную, не хочется. Сплювываю.

Кую на голодный желудок. Дую на серые пальцы. Вижу свои неприятно длинные грязные ногти. Не поленившись, лезу в свой увязанный рюкзак за ножницами. Никогда не выносил длинных ногтей, даже ночью просыпался, чтобы постричь, если, проведя рукой по простыне во сне, чувствовал, что отросли.

С щелканьем ножниц на грязный пол падает кривая мелко струганная роговица, сухая мертвечина.

Слышна тяжелая стрельба. Не хочется вставать, идти смотреть – кто там стреляет, куда стреляет, зачем стреляет. Подумав об этом, бросаю на пол слабо звякнувшие ножницы, встаю, иду.

– Три «коробочки» на дороге! – докладывают наблюдающие. – Двигутся в нашу сторону. «А может, за нами едут?»

Останавливаюсь, чувствую, что дрожат руки, но уже не от страха, нет – от волнения за тех, кто едет к нам, и еще, наверное, от усталости.

Еще не дойдя до поста, слышу гам, крики, стрельбу из автоматов.

Забываю, что устал, не выспался, голоден. Кто-то обгоняет меня. По невнятным суматошным голосам понимаю, что на дороге наши – наверное, Семеныч, они уже близко, и по ним стреляют. И по школе тоже стреляют. Опять стреляют, сколько можно?..

Вхожу в помещение, съевшись от брезгливой дурноты. Запах пороха, и железа, и пота, битый кирпич, битое стекло и этот беспрестанный грохот – чувствую, вижу, и слышу, и не хочу чувствовать, не хочу видеть, не хочу слышать. Но руки уже сами снимают автомат с предохранителя, и патрон уже дослан в патронник.

– Прикрывайте, ребятки, плотнее прикрывайте! – это голос Семеныча, я слышу его по рации и вздрагиваю, не понимаю сам от чего – наверное, от ощущения счастья, готового, подобно тяжелой рыбе, вот-вот сорваться, кануть в тяжелую воду.

Хочется высунуться в окно и бить, и бить безжалостно и без страха, ведь нас просит Семеныч – командир, который приехал за нами, нас, непутевых, забрать.

Три бэтэера – едва выглянув, я сразу вижу три бэтэера на дороге и бесконечную грязную сырость, и дождь, и дым, и одна из «коробочек» горит. Прочь от нее спешат бойцы, волоча за руки раненого.

По бэтэерам стреляют прямо из дома у дороги – полощут в упор.

Наверное, еще из хрущевок стреляют, гады.

Все начинает заволакивать дымом, наверное, угодившие в засаду бросили шашки.

– Семеныч! – выкрикивает кто-то из наших.

Да, это он, наверняка: прямой, с крепкой спиной, с трубой «граница» на плече. Он бьет в упор в дом, где сидят чичи. И теряется в дыму, больше его не видно.

– Берите выше! – кричу я стреляющим рядом со мной пацанам, боясь, как бы не порезали своих, не видных за дымом.

Рядом цокают пули, я не прячусь. Не знаю, боюсь или нет. Просто какой смысл прятаться, если уже не попали. Тем более что стреляющие по школе бьют наугад. Слышу – Столяр вызывает Хасана:

– Внимательнее! Подъезжают «коробочки». «Коробочки!» Внимательнее! Понял, нет?

– Понял он, понял, – отвечает Плохиш.

Дым порывами рассеивается. Один бэтээр горит, двух других нет.

«Где они? – думаю, усевшись, снаряжая магазины. – Должны уже приехать».

Хочется сорваться, сбегать вниз, чтобы посмотреть.

«Сколько я рожков отстрелял за сутки? – думаю, присев у бойницы и снаряжая. – Штук сто...»

Зачем-то считаю вслух снаряжаемые патроны – пытаюсь отвлечь себя от мысли, где Семеныч, здесь ли наши или нет, пытаюсь и не могу.

– Егор, сходи! – просит меня Скворец.

Оставляю его за старшего, спешу в «почивальню». Еще не дойдя до нее, вижу на улице, зайдя в одну из комнат, «коробочки» – две железные гробины, стоящие у левой стороны школы, у самой стены – так их не видно из хрущевок, а пустырь хорошо простреливается.

– Наши! Приехали! Семеныч там! – говорят мне пацаны, сияя.

Они бьют по пустырю упрямо, длинными очередями, не жалея патронов, наверное, от хорошего, почти задорного настроения, рубят кусты и полевую дурнину, корни, проволоку, сучье поваленных неведомо кем кривых и хилых деревьев. Чтоб никакая падла не подползла к нашим машинам.

– Собираться, что ли? – спрашивают меня пацаны, когда я направляюсь к выходу.

– Сидите пока, – говорю и ухожу, и тоскливое предощущение ноет в моем мозгу, понимание чего-то до предела простого, чего я сам не хочу понимать.

– Только три «коробочки», Костя, только три! «Собры» и три «коробочки!» – слышу я, подходя к «почивальне», рокочущий, хриплый, родной голос Семеныча, радуюсь этому голосу и тут же постигаю смысл сказанного им – нас не увезут, мы просто не вместимся в «коробочки».

Семеныч с отлично перевязанной головой и Столяр стоят в коридоре.

– Я эти три бэтэера выбивал всю ночь! И весь день! Они «вертушек» не дают, говорят, «нелетная погода!» В первый день была летная, а они не дали. А сегодня – нелетная! Я говорю: «Ребят моих покрошат всех!» Я, Костя, умолял их. А командира у липецких «собров» убили! Он на моей, Костя, совести... – Семеныч говорит просто и яростно, в его словах нет желания оправдаться, он раскрывает все как есть.

Заметив меня, Столяр недовольно хмурится.

– За патронами... – поясняю я свое появление.

– Егорушка, сынок! – говорит Семеныч и обнимает меня.

Прохожу в «почивальню», не мешая их разговору.

– Где Кашкин? Он позавчера вечером к вам уехал, где он? – слышу голос Семеныча за спиной, он задает вопрос Столяру.

«Нет больше Кашкина», – понимаю в тоске.

В «почивальне» стоят незнакомые крепкие бородатые мужики, пьют из горла водку.

– Командира нашего убили, ты понимаешь? – обращается ко мне один из них, со слезящимися глазами, весь прокопченный. – Он в бэтээре горит!

Я молча смотрю в глаза говорящему. Бутылка снова идет по кругу.

– Выпей, браток! – говорят мне. Я пью, не стремясь к бойницам, не торопясь наверх – стрельба стоит бестолковая. Чечены стреляют со зла, от обиды, что пропустили «коробочки».

– У него рука застряла, когда я его вытаскивал из бэтээра, рука... – рассказывает один из них тяжелым, сдавленным голосом, с трудом вырывающимся из глотки. – Кровь видишь на мне? Это нашего командира кровь.

Я вижу штанину в крови.

– Я его ташу, а у него голова болтается мертвая. Из дома прямо в нас бьют, в упор... – он тяжело дышит и сбивается на реву; рассказывая, он готов разрыдаться и сдерживается. – Семеныч ваш саданул в упор из «граника». Попал прямо в огневую точку, точно говорю, я слышал, как там заорал кто-то. Заткнулись они...

У «собров» один раненый – в живот. Он лежит в «почивальне», его перевязывают.

«Собры» допивают водку, кто-то бросает в угол бутылку, лезут к окнам, матерясь. Стреляют вместе с нашими.

– Что в городе? – спрашиваю я у одного из «собров», который снаряжает рожки, сидя на корточках.

Мы закуриваем. Чтобы услышать его, я сажусь близко и смотрю ему прямо в обросший полуседым волосом рот, небрежливо чувствуя запах перегара, несколько железных зубов вижу...

– Чичи вошли через Черноречье вчера ночью, – говорит «собр». – Часть чичей в Грозном уже две недели ошивалась. Чеченские милиционеры говорили, что боевики в городе, нам говорили, мне лично говорили. Говорили: «Скоро будут город брать». И нашим генералам говорили тоже. А генералам по херу. Как это, бля, называется? Предательство!

Мысль его прыгает, словно обожженная, но я все понимаю.

Он затягивается сигаретой так глубоко, что сразу добрая половина ее обвисает пеплом.

– Сразу весь город осадили, все комендатуры. И ГУОШ осадили, – продолжает «собр», – но в Ханкале «вертушки» подняли, расхерачили вокруг ГУОШа всю округу, а потом мы зачистили все. У нас одного убили вчера на зачистке. На площади Минутка, говорят, много положили «собров», из Новгорода... Несколько комендатур до сих пор в осаде. Пацаны на блокпостах натерпелись – им тяжелей всех пришлось... К вам до последней минуты не знали, пробиваться или нет, связи почти никакой, есть коридор или нет – ничего никто не знает, бардак обычный... Ваш Семеныч за вас там душу рвал на портянки...

Зашел Семеныч, что-то сказал или просто кивнул оставшемуся за старшего из «собров».

– Собираемся, мужики! – командует тот своим. – Грузите раненых.

У меня тошно саднит внутри: остаемся. Точно остаемся. До последней минуты глупо надеялся, что уедем. А мы остаемся.

В углу «почивальни» стоит несколько ящиков с патронами, гранатами и подствольниками – нам привезли, развлекаться.

Несут еще одного раненого, из взвода Столяра, – снайпер сработал, голова в кровянице, не выдержит парень. Дока нет, у «собров» тоже дока нет, перевязывают сразу несколько человек, корявые грязные мужские руки мелькают.

Семеныч морщится, будто в муке, ругается – не знаю, не слышу на кого.

Раненых вытаскивают через окно на первом этаже: Кизю, «собра», пацанов из Костиного взвода. Тронул руку Женьки, когда его пронесли, – дрожит. Глаза зажмурены, больно ему.

Костя гонит в бэтээр других раненых – Старичкова, у него загноился бок, Астахова в грязно-ржавой тряпке на голове и Валу Черткова, лицо которого вовсе потеряло привычные чертаны.

Валю, совершенно ослепшего, уводят «собры».

Астахов на приказ собираться не реагирует. Кажется, он забыл, что его зацепило. Замечаю, что тряпка на его голове заново перевязана – туго, на несколько узлов.

– Дима! – повторяет Столяр. – Собираться, я сказал.

– Какого хера? – отвечает Астахов.

– В чем дело, Дима?! – орет Столяр.

– Идите на хрен, я остаюсь! – огрызается Астахов и уходит из «почивальни».

– Я тоже остаюсь, я нормально... – говорит Старичков.

– А, как хотите, – говорит Столяр раздраженно.

«Собр» жмет руки Косте и мне, я чувствую его горячую, шершавую лапу.

Эх, мужики вы, мужики, забубенные мои...

– Нам командира надо забрать! – говорит «собр». – Прикройте отсюда как следует.

Бэтээры ревут, вязнут в огромных лужах, выжимая все возможное. Мы стреляем, гложем, дуреем и стреляем, стреляем.

При повороте на трассу по первому бэтээру бьют из хрущевок, но «Муха» мажет и разом сбивает половину дерева у дороги.

Все, больше ничего не вижу – бэтээры уходят из виду, вывернув на дорогу.

Еще стреляем, набивая на плечах огромные бордовые синяки.

Спешу из «почивальни» в комнату, из которой ушел, оставив Скворца и нескольких парней. Ташу, согнувшись, две эрдэшки патронов в одной руке, эрдэшку гранат – в другой. Вбегаю в комнату и не верю своим глазам, увидевшим спину Семеныча.

«Так он здесь!» – думаю радостно.

Бросаю на пол сумки, оттянувшие руки.

Семеныч поворачивается ко мне.

– Проехали вроде! – говорит мне и Столяру, стоящему рядом с ним.

Семеныч идет мимо бойниц к выходу, не пригибаясь.

– Работайте, ребятки, работайте! – улыбаясь, говорит он и выходит.

«Неужели он уехал бы, оставив нас?! – думаю я. – Как дурь такая могла мне в голову прийти?!»

Семеныч придумает что-нибудь, я уверен.

– За нами приедут еще? – спрашивает Скворец, явно ждущий положительного ответа.

Оборачиваюсь к нему, еще не решив, что ответить, но почему-то улыбаюсь и несу эту улыбку, чувствую ее как искажение мышц на лице в неожиданно образовавшейся темноте, пока меня непонятно что подсекает и медленно, качая в разные стороны, как осенний лист на безветрии, бросает на пол. Падения я не ощущаю.

Она смотрела в сторону, моя Дэзи. Всю дорогу смотрела в сторону, не обращая внимания ни на меня, ни на пассажиров электрички, в которой мы ехали к Святому Спасу. Когда пассажиры вставали, переходили с места на место, брали вещи с багажных полок, ставя рядом с моей собакой грязные тяжелые ботинки, она осторожно отодвигалась, едва шевелила хвостом, щурила хмурые глаза. Она казалась усталой и неродной. У меня так мало осталось близких душ на свете, честное слово, мало. Мне так хотелось, чтобы Дэзи дружила со мной, мне ведь не было еще и десяти лет, и что у меня оставалось?

В детстве были очень просторные утра, почти бесконечные. Часы не накручивались нещадно, один за другим, сгоняя слабо сопротивляющийся день к вечеру. Нет, в детстве было не так. Пробуждение наступало долго. Поначалу разум вздрагивал, вырывался на мгновение, цеплял какие-то звуки. Потом глаза открывались, и начиналось утро. Оно не начиналось раньше пробуждения, как происходит сейчас. Утро звучало, источало запахи, казалось, что в мире раздается тихий звон, звон преисполняющий. Все самое важное в моей жизни происходило по утрам. Каждое утро просыпалась Даша. Что может быть важнее? И каждое утро, там,

в детстве, на улице лаяла моя собака. Радуюсь моему пробуждению, так ведь? Иначе что ей лаять?..

А сейчас она смотрела в сторону. Я кинул ей печенье, и она съела. Сидя ко мне спиной, лягнула зубами, заглотила и не повернулась, не стала заглядывать мне в глаза, выпрашивая еще.

Стекла окон были грязные, и за стеклами текли сирые просторы, и порой моросил дождь. Казалось, что все находящееся за окном имеет вкус холодного киселя.

Граждане, сидевшие вокруг, были хмуры, лишь что-то без умолку обсуждали две старухи напротив. Мне очень хотелось, чтобы Дэзи укусила какую-нибудь из них за ногу.

Полы были грязны, затоптаны. Дэзи лежала на полу, и, когда снова и снова кто-то двигался, вставал курить, заставляя ее волноваться, передвигаться, мое сердце сжималось от жалости к моей собаке. Хотелось затащить ее к себе на колени, обнять. Но она б наверняка начала вырываться, не поняв, чего я от нее хочу, мазнула б мне по брючкам грязной лапой, спрыгнула б обратно. И соседи мои посмотрели бы на меня осуждающе, а старухи начали бы выговаривать за то, что я измазал одежду, матери теперь стирка...

Мы ехали к моему отцу на могилу.

Я думал о чем-то всю дорогу, дорога была длинной, но бестолковые и нудные размышления не кончались. Странно, людям часто не о чем разговаривать: встретившись, они молчат. И при этом думают все время, неустанно качается в их головах какая-то бурда, безвкусный гоголь-моголь из сомнений, или обид, или воспоминаний...

С шумом открывались двери электрички, и все поднимали глаза, словно ожидая увидеть там нечто необыкновенное – человека без глаз? человека без рта? Ну кто сюда может войти, Господи...

Лишь моя собака вела себя достойно: лежала и не двигалась. Может, ей никогда не бывало скучно? Лишь иногда она поводила носом – в баулах старух таилось и теплилось что-то съестное, издающее запах.

Когда электричка приехала и люди встали и долго, в молчании, перетаптывались на месте, потому что все сразу выйти не могли и ожидали очереди, собака моя перебралась под лавку, продолжив лежать, никуда не торопясь.

– Дэзи! – окликнул я.

Мы вылезли из электрички и шли рядом, обходя лужи. Я обгонял ее, пытался заглянуть в глаза, вставая на ее пути. Но она обегала меня, делая большой полукруг, и я всё боялся ее потерять. Я позвал собаку и предложил ей хлеба и сыра. Немного отщипнул себе и скормил собаке почти все только затем, чтобы хоть чуть-чуть погладить ее, пока она ела.

Поглотав пищу, Дэзи сразу же убежала.

Я забыл, где кладбище, и спрашивал дорогу у прохожих.

Бабушка в черном платке предложила мне пойти вместе с ней – она тоже шла на кладбище. Но мне не хотелось попутчиков, не хотелось отвечать, зачем туда иду я, и слушать, к кому идет она. Поэтому, выспросив дорогу, я попытался уйти вперед. Но моя собака не шла за мною. Неспешной трусцой Дэзи бежала рядом с бабушкой, изредка вынюхивая что-то у обочины.

Мне показалось, что Дэзи оживилась – вспомнила, что жила здесь, услышала знакомые запахи.

Я несколько раз звал ее, но она никак не отзывалась.

Бабушка смотрела в землю, передвигая усталые больные ноги, опираясь на клюку – большую деревянную палку.

Я уже увидел кладбище – оно располагалось на небольшой возвышенности, окруженное редкими посадками, – и, отчаявшись дозваться собаку, пошел один, спотыкаясь от детского предслезного одинокого раздражения.

Из давно не крашенных ржавых ворот кладбища, крестясь, выходили люди в плохой, темной одежде.

Я не умел и не хотел креститься, и юркнул меж ними, и пошел, как мне объяснил дед Сергей, сразу направо вдоль ограды. Отец был похоронен где-то в углу, я уже забыл, где именно.

Шагая по густому и злому кустарнику и стараясь не встречаться взглядом с покойниками, любопытно смотревшими с памятников, я выбрел прямо к могиле отца. Она открылась неожиданно, заросшая и разоренная. За ней некому было ухаживать, быть может, тетя Аня иногда и приходила, но редко.

Памятника давно не было – он упал в первый же год, потом его поставили, но он снова упал, а потом и вовсе пропал, быть может, кто-нибудь унес.

На насыпи стоял деревянный крест, и на нем – имя человека, породившего меня на белый свет.

Я присел на корточки и смотрел на крест, не зная, что делать.

На могиле разрослась и уже увяла травка. Осмотревшись, я заметил, что на других могилах травки нет, наверное, ее вырывали с корешками родные и близкие покойных. Но я не стал этого делать, мне показалось, что украшенная жухлой травкой могила смотрится лучше.

Со всех сторон могилу уже обступали кусты, заросли репейника и лопухов. Вот они мне не понравились.

Отломив от хилого деревца сук, чтобы вырубить буйную поросль наглых сорняков, я уже изготовился ударить, но был едва не сбит с ног Дэзи, выскочившей из кустов.

– Дэзи, стой!

Я побежал за ней, петляя между могил, попадая в лужи. Сначала я не догадался, что ее пугает палка в моих руках. Собака не останавливалась, но часто оглядывалась на меня. Я бросил палку и встал, едва не плача.

– Ну Дэзи же! – сказал я в сердцах.

Она тоже встала, настороженная и неприветливая.

– Дэзи, Дэзинька, девочка... – я подкрадывался к ней, двигаясь от страха и унижения на полусогнутых ногах, готовый на колени пасть, лишь бы она не оставляла меня одного.

Сел рядом, прямо на землю, и стал гладить ее, опасливо поглядывающую на мои руки, готовую в любой миг убежать от меня.

– Пойдем, Дэзи? – попросил я.

Мы сели на могилу в ногах отца, и я стал нежно расчесывать руками мою собаку, извлекая и небожно вырывая из ее шерсти, замурзавшейся от лазанья по кустам, репейники. Жадное цепкое репье облепило ее всю, висело на длинной, давно не стриженной шерсти по бокам, на ногах, на грудке, на шее.

– Ну что ты такая неряха, Дэзи... – приговаривал я, стараясь коснуться ее щекой, прижать к себе, не напугав еще раз.

Репейники перекатывались по могиле, их сносило ветром, и они катились до первой легкой грязцы или терялись в траве.

Сознание вернулось так, будто сняли мертвую кожу, а под кожей обнаружилась живая, голая, напуганная ткань. Одновременно с возвращением сознания вернулась всеобъемлющая, как кожа, боль. Потом она, не исчезнув, но скорее затмившись, сменилась ощущением, что я лежу на плоту. Лежу, и меня мерно и тошнотно качает. Вокруг парная и теплая вода, которой я не вижу. Солнца в небе нет. Я чуть-чуть двинул головой, чтобы увидеть воду, и почувствовал, что затылок мой прилип. Мне даже показалось, что прилипли мои волосы, которых не было на моей бритой в области черепа и не бритой в области скул голове...

Я силился приподнять голову и каждый раз чувствовал, как на прилипшем затылке оттягивалась мясная ткань, причем оттягивалась на несколько сантиметров, словно голова моя

была сдувшимся воздушным шаром. В ужасе я прижимал голову к поверхности, на которой лежал, и затылок мой вдавливался в мягкую дегтеобразную жижу.

Я вспомнил, как давным-давно цыплята нашей соседки, гуляя, зашли в свежеложенный гудрон. Попадали сначала лапкой, потом другой, пищали, пытались высвободиться, падали, заляпывали крылья – и вот уже лежали, все в черных отрепьях, беспомощно моргая, не в силах даже раскрыть слипшиеся клювы. Потом мы вытащили их – я, и соседка, и мой друг. Вымазались сами, и соседка ругалась, а друг плакал от жалости. Дома мы попытались отчистить болезных и жалких цыплят, разлепляли их чумазные перья, но они все равно передохли...

Я подумал, что умру, и не испугался.

«Усталость выше смерти», – подумал я, и мысль моя мне показалась безмерно большой.

Время накатывалось на меня беспрестанно, перекатывалось через меня, я чувствовал себя то в прошлом, то в будущем. А потом я увидел себя распятой бабочкой или каким-то нудным насекомым, засушенным, и понял, что на меня смотрят.

Я открыл глаза и догадался, что пришел в сознание несколько секунд назад, и все, что я успел передумать, просто вспыхнуло в моем мозгу. Мои размышления длились, пока звучал выстрел, стрелял Саня, одиночными, прячась после выстрела за косяк окна. Он вгляделся сквозь пыль в меня, и я почувствовал его сумасшедший взгляд.

– Это ты? – странно спросил он, впрочем, вопросительная интонация после «ты» затуманилась, и вопрос словно канул в никуда.

Я не стал отвечать, потому что вопрос исчез.

Я закрыл глаза, под веками, порожденные оплавленным сознанием, еще передвигались и высвечивались остатки видений, промелькнул цыпленок, еле таща вымазанные гудроном крылья, несколько раз махнул, разгоняя пыль и вызывая приступ тошноты, хвост Дэзи. Я поспешил открыть глаза.

Плиты бойницы лежат на полу. Сверху на одной из плит, стоящей горизонтально, виднеются положенные Саней рожки.

Некоторое время я внимательно смотрю на локоть правой Саниной руки, который вздрагивает от каждого выстрела. В дальнем углу комнаты, находящемся вне поля моего зрения, стреляет кто-то еще. Я с трудом двигаю зрачками, словно их притягивает, магнитит дно глазниц.

Возле ног Скворца я вижу много песка, наверное, высыпался из упавших мешков, они лежат здесь же, распутив тугие вязкие потроха, выказывая свое неслышно оползающее нутро. Замечаю неподалеку от Сани черными комьями слипшийся песок, смотрю на эти комья, вижу хвост темной жидкости, ведущей от залежей песка куда-то ко мне, но куда именно, я не вижу. Чтобы увидеть, я чуть двигаю головой, потом, морщась от боли и неприязни, двигаю еще, и наконец взгляд мой падает на лежащего рядом со мной, лицом вниз, парня, нашего бойца.

Течет из-под него, и он умер. Не сомневаясь в этом, я все же двигаю рукой и касаюсь его неестественно вывернутых, скрюченных пальцев.

Ощувив холод, в одно мгновение поняв, что жижа под моей головой тоже, наверное, его кровь, и подумав зло: «Какого черта меня положили рядом с трупом?» – я рывком сажусь. Кажется, я вскрикиваю от боли, от того, что в мозгу жутко екнуло, а в глаза плеснуло горячим, мутно-красным, медленно расплывшимся. Закрыв глаза, я скрипнул зубами, ощущая зернистый, железный, кислый вкус во рту.

Трогаю свой затылок ладонью, в ужасе отдергиваю руку – кажется, что моя голова раскурочена и кости, мягкие, поломанные кости черепа торчат во все стороны... В ужасе, готовый завывать, кривлю лицо, морщю лоб и только сейчас ощущаю, что у меня тряпка на голове, голова повязана, жестко стянута.

Смотрю на руку – она грязная. Вытираю о штанину.

– Егор! – это как будто Саня, его голос. Поднимаю глаза. Да, он, его лицо, редкую щетину замечаю, почему-то до сих пор ее не видел.

– Что со мной? – спрашиваю, трогаю себя руками, тряпку на голове, почему-то расстегнутый ворот, грудь, живот, ляжки, колени, снова лицо...

– Из «гранника» вlepили. Тебе, наверное, плитой по затылку... или кирпичом... попало. Я не видел. Я сначала подумал, что ты все... Егор.

– Время... сколько? – спрашиваю.

Поняв, что руки и ноги мои целы, я вновь трогаю, касаясь любопытными и пугливыми пальцами, затылок.

– У тебя часы на руке, – говорит Саня.

Смотрю на часы и тут же забываю, что увидел. Стрелки, цифры – никакого значения, ничто не имеет никакого...

– Убили кого-то?

Саня называет имена двух пацанов.

– А где второй?

– В коридор я вынес, – говорит Саня.

Неправильные конструкции произносимого Саней с трудом перемальваются у меня в голове.

– Ему... изуродовало его. Невозможно видеть, – говорит Саня.

Кто-то в углу продолжает стрелять одиночными. Очень редко, словно по мишеням.

– Это в голове шумит? – спрашиваю.

– Это ливень льет... Весь овраг залило... Наводнение будет, наверное.

– Где мой автомат?

С закрытыми глазами застегиваю разгрузку. Еще раз вытираю ладонь о штанину. Вытаскиваю из кармана разгрузки пачку сигарет. Извлекаю сигареты одну за другой – все поломанные. Саня кладет мне на ноги автомат. Опираясь на ствол, встаю. Бреду к бойницам. Качает и мутит. Съезжаю по стене вниз, сижу на корточках. Прикуриваю мягкий обломок сигареты, без фильтра. Сразу чувствую сухие табачинки на языке. Сплювываю их, затягиваюсь и снова сплевываю. Надо встать.

Еще раз оглядываю комнату, стены... труп... белые облупленные двери, они заперты. В крови, прилипшие, лежат россыпи гильз. Медленно, с усилием снимаю автомат с предохранителя.

Кто-то стреляет в углу одиночными, черная шапочка до самых бровей, небритая скула, никак не различу, кто это. Стреляющий дергается, я вижу, как рвется материя на его колене, но почему на колене? Он падает назад, тут же поднимается, хватая себя за ногу, но его толкает в плечо, в бок, его расстреливают...

Кто-то ломится в дверь, пиная по ней, никак не догадываясь, что она открывается в сторону коридора. И стреляет сквозь дверь.

Я выворачиваю автомат в сторону двери, я валюсь вместе с автоматом на пол, ничего не понимая, ни о чем не думая, просто стреляя по дверям, за которыми...

Двери дергает, летят щепки. По ним стреляют с обеих сторон, мы и кто-то с той стороны.

Совершенно глухой, я чувствую теменем, как звучит автомат над моей головой, Санькин автомат.

Одна из створок изуродованной двери открывается и за висает на изуродованных пружинах в полуоткрытом состоянии...

«Сейчас гранату бросят! Сейчас к нам бросят гранату!»

Вывернувшись из-под Саниного автомата, ни на мгновение не переставая стрелять, я бегу вдоль стены к дверям, у дверей хватаю себя за карман разгрузки, где должна лежать граната, но ее там нет, нет ее там, нет...

Я пинаю дверь, по наитию поворачивая налево, а не направо. Если стрелявший в дверь стоит справа, он сейчас выстрелит мне в спину. Он стоит слева, с гранатой в руке. Если он, человек с черной бородой, вскидывающий в мою сторону автомат левой рукой, уже выдернул кольцо гранаты, которую зажал в правой, она сейчас взорвется. Я стреляю ему в живот, заполняя живое человеческое тело свинчаткой. Он падает, я вижу в комьях грязи берцы, их подошвы, и гранату, покотившуюся по коридору, и еще одного бородатого человека, выпрыгивающего из соседней комнаты.

Делаю шаг, другой шаг назад, в кабинет, и то место в коридоре, где я только что стоял, простреливается, изничтожается.

Щелкает спусковой механизм – рожок моего автомата пуст.

Я слышу шаги, он идет к нам, стреляя. Бежит к нам. Отсоединяю рожок, он падает на пол, подпрыгивая. Тянусь к запасным рожкам – они в заднем кармане разгрузки, тянусь и знаю, что не успею, что сейчас человек вбежит – и все прекратится.

Саня суетным шальным движением кидает гранату в коридор – так поправляют поленья в печке, боясь обжечься.

Человек, бегущий к нам, на долю секунды появляется в проеме дверей, поворачивая автомат в нашу сторону, на Саню, на меня, истошно нажимающего на безжизненный, холостой, вялый спусковой крючок автомата. За спиной пытающегося убить нас с жутким звуком, похожим на скрип открываемой двери, взрывается граната, и он исчезает, уже, наверное, мертвый, с растерзанной спиной.

Тяжелый дух взрыва касается лица. Я жив.

Я сижу, неосознанно присел, когда понял, что не успеваю присоединить рожки, колени дали слабину. Может, это меня и спасло – кажется, бежавший к нам успел засадить в комнату очередь, но она прошла над моей головой. И над Саниной – оборачиваясь, я вижу, что он тоже сидит на корточках.

Поднимаю свои рожки, два, перевязанные синей изоляцией, и вижу, что один из них полон. Не нужно было бросать рожки, надо было всего лишь перевернуть их. Меня могли убить из-за этой глупой ошибки. И Скворца...

– Саня, надо уходить, – говорю я и встаю.

– погоди... – Саня бежит к нашему парню, лежащему в углу.

Выглядываю в коридор. В школе слышна пальба, но неясно – внутри здания идет бойня или еще нет. Откуда взялись эти, убитые нами, люди? Не вдвоем же они пробрались...

– Саня! – кричу я. – Ну что там? Что с ним?

Саня тербит лежащего, трогает его шею, веки.

– Пойдем! Мы вернемся! – я не уверен в том, что говорю правду. – Саня!

Скворец нехотя встает, хватая с пола тряпье, кидает на лежащего, прикрывает его.

– Только до «почивальни» добежим и вернемся! – обещаю я.

– Ты смотришь налево, я направо, – говорю в коридоре.

Ощетинившись стволами в разные стороны, бежим по коридору. В голове дурно ухает. Саня крутит башкой, я тупо смотрю в комнаты, расположенные справа. Где-то здесь был Монах с напарником, еще несколько ребят – в другой стороне коридора. За поворотом коридора – «почивальня».

«Надо было запросить по рации “почивальню”... а то прибежим сейчас...»

«Вроде здесь Монах», – думаю, чуть приостанавливаясь у закрытых дверей.

– Егор! – кричит Саня, увидев что-то.

Неведомым органом, быть может, затылочной костью догадываюсь о том, что нужно сделать. Делая бешеные прыжки, мы мчим к повороту коридора, натываемся друг на друга, падаем, рискуя сломать ноги, но уже за поворотом. Вслед нам стреляют с другого конца коридора длинными очередями.

– Монах! – ору.

Не рискуя высунуться и боясь стрелять – вдруг из комнаты выбегут в коридор свои, – кричу:

– Монах! Чеченцы в коридоре! Монах! Серега!

Выдергиваю из кармашка рацию, приближаю ее к губам, но не помню позывного Монаха.

– Монах! – кричу я в рацию. – Всем, кто меня слышит! В школе чеченцы! На втором этаже!

Саня показывает мне гранату, молча вопрошая: «Кинуть?»

Киваю, не в состоянии ничего решить, быть может, руководимый только ужасом.

Саня с силой кидает гранату, мы слышим, как она падает и тут же взрывается. Кажется, кто-то кричит.

...Да, кричит. После взрыва слышен крик.

– Чеченец! – говорит Саня.

Крик раненого перемежается нерусскими словами.

Слышу по рации несколько голосов. Не могу разобрать... Семеныч, Столяр, Монах – все говорят одновременно. Но уже хорошо, что говорят, значит, мы с Саней не одни, в школе еще кто-то есть.

Саня кидает еще одну гранату в коридор.

– Монах, ты жив? – кричу я в рацию.

– Коридор свободный? – неожиданно ясно и близко раздается его голос в динамике.

Не глядя, даю очередь в коридор, высовываюсь, никого не вижу.

– Выходите! – говорю.

Почти сразу же вылетают из-за угла, сшибая нас, Монах и еще один парень. Вслед им стреляют, и парень, бежавший за Монахом, выворачивает криво и падает на пол лицом вниз. Я сразу вижу его продырявленную в нескольких местах спину.

– Скворец! Будь здесь! – приказываю я, чувствуя дикую непоправимую вину, что я все делаю не так, что из-за меня гибнут пацаны, что я все перепутал.

Мы с Монахом хватаем раненого под руки и тащим его к «почивальне».

Слышно, как кто-то дурным голосом орет в рацию:

– Пацаны, сдаемся! Пацаны, сдавайтесь! Это я... Я скажу, скажу! Ай, бля, не надо! Идите, суки, на...

«Кого-то взяли в плен!» – понимаю я, и все мое нутро дрожит и ноет, тщедушная моя душа готова сойти на нет, стать пылью...

Навстречу нам бегут из разных комнат Семеныч, Столяр, еще кто-то.

– Там! – показываю на сидящего у стены, возле поворота коридора, Скворца.

Мы оставляем раненого у «почивальни», кто-то присаживается возле него, разрывая медицинский пакет.

«А ведь к посту Хасана сейчас могут сбоку подойти, из коридора, они, быть может, не ждут!» – думаю. Бегу вниз.

Пацаны – Плохиш, и Хасан, и Вася с разных позиций стреляют не в дверь, а в коридор первого этажа.

«Они уже здесь! Везде! По всей школе!»

Первый этаж залило водой. Грязная вода дрожит и колыхается. Беспрестанно сыплется в нее с потолков труха и известка – кажется, что в помещении идет дождь. Водой приподнимает и шевелит трупы, лежащие на полу. Такое ощущение, что трупы, покачиваясь, плывут...

– Сюда все! – кричит сверху Семеныч.

– Уходим! – кричу я пацанам.

Хасан, Плохиш, Вася срываются с мест, мы прыгаем через ступени. Грохает, скрежеща, взрыв – я слышу, как мешки, плиты и доски парты поста Хасана разлетаются в разные стороны.

Из «почивальни» вывалили грязные, сырые, черные, бессонные, безумные, похожие, будто братья, пацаны.

Заглядываю внутрь «почивальни», нашего остывшего, выжженного порохом и гарью приюта, – валяются рюкзаки и одеяла, все усыпано гильзами и грязным, в крови, песком. Из окна надуло сырости, влаги. Гильзы перекатываются и, кажется, издают легкий скрежещущий звук, словно собравшееся оплодотворяться жучье. Впрочем, вряд ли я могу это услышать сейчас.

У разбитой, расхристанной, словно изнасилованной бойницы стоит Андрюха Конь, вросший в пулемет, сросшийся с ним, почти бессмертный, беспрестанно стреляющий, с тяжелыми, тяжело дрожащими от напряжения, белыми, даже под налетом пыли, песка, сажи все равно белыми и живыми руками. Единственный оставшийся в «почивальне». Его зовут, он будто не слышит.

XII

Семеныч оставил Хасана и Плохиша держать выход на второй этаж. Им подтащили полную эрдэшку гранат. Они не останавливаясь кидают их вниз, в пролет лестницы.

Бойцы толпятся в коридоре, злые, с воспаленными красными глазами, которые иногда накрывают черные пыльные веки.

– Столяр! Егор! – это Куцый. – Посмотрите своих... Все здесь? Надо всех собрать! Будем уходить через овраг...

Все прыгает перед глазами, все дрожит, саднит, чадит, путается...

Кого сосчитать, кого?

Сколько было во взводе человек?

Я... Я здесь. Кто еще? Скворец. Здесь Скворец. Скворец здесь. Здесь... Монах.

Смотрю вокруг, взгляд прыгает по лицам, по стенам, по спинам, как дурная опаленная белка, насмерть напуганная, забывшая, какой она зверь...

«Монах, монах, монах, монах...» – повторяю я бездумно, закрывая глаза на мгновение, пытаюсь унять сумятицу, дурноту, бессмыслицу...

Открываю глаза, все неизменно, все вокруг неизменно, все дрожит, громыкает, хохочет, готовое провалиться в тартарары...

Хасан и Плохиш кидают гранаты, беспрестанно, упрямо. Мелькают пухлые руки Плохиша.

В другой стороне, у поворота коридора, сидят несколько пацанов, тоже кидают гранаты, стреляют...

Мы стоим тяжело дышащей, дурноглазой толпой.

– Я ненавижу мою мать! Если бы она меня не родила, я бы не умер! – неожиданно выкрикивает кто-то рядом. Его то ли обнимают, то ли начинают душить – не вижу. Отворачиваюсь – не знаю отчего – безглаголиво или боясь, что закричу сам...

Несколько раненых лежат на полу, двое или трое. Один силится встать. Другой сидит у стены, закрыв глаза. Третий лежит, кое-как забинтованный...

– Всем подготовиться! – повторяет Семеныч несколько раз, надо же, его слышно...

Семеныч дает знак Астахову, тот – грязная тряпка вокруг головы, закопченное лицо, кровь на шее – спешит с трубой «граника» к повороту коридора. Резко вывернувшись, он стреляет в коридор. Кажется, заряд бьет куда-то совсем близко, в полы. Астахов ругается, снаряжая «граник» еще раз...

– Егор, сосчитал? – спрашивает меня Куцый и вновь повторяет всем, не дождавшись моего ответа, которого и не могло быть. – Через овраг будем уходить, ребятки! Через овраг!

Я еще раз смотрю вокруг, начинаю считать, несколько раз сбиваюсь, вычитаю Шею и Язву... Тельмана... Черткова... уехавшего Кизю... Кеша! Где Кеша? На чердаке, Кеша на чердаке. Снова сбиваюсь...

«Сейчас мы отсюда выйдем, и все кончится! Господи, помилуй, Господи! Прости меня, Господи! Я больше никогда, никого, никогда!»

Астахов делает еще один выстрел.

– Пошли! – ревет Семеныч.

«Надо забежать за Кешей, надо забежать... Он давно не откликается по рации».

– Скворец! Будь со мной! – кричу я. – Надо Кешу забрать с чердака!

Тупой бестолковой гурьбой бежим по коридору, куда только что вlepил два заряда Астахов, зачищая нам путь. Те, что бегут впереди, стреляют...

Посреди коридора сквозная дыра в полу – первый выстрел Астахова разворотил, проломил пол.

Дыру обегают, кто-то бросает туда, на первый этаж, гранату.

Заглядывают в комнаты, в нескольких лежат убитые наши пацаны.

– Егор! погоди! – зовет меня Скворец.

Он забегает в комнату, где я отлеживался, прибитый кирпичом. Вбегаю за Саней. Сплеываю кислую, горькую, поганую слюну. Это глупо, что Скворец пошел к тому парню, раненому, которого он забрасывал тряпьем. Бля, это глупо, Скворец! У парня нет лица, ему в упор отстрелили всю башку, чего ты идешь на него смотреть? чего ты хочешь увидеть? чего ты тянешь за мои нервы? может, когда мы уходили, он уже был мертвый?

Я молчу, глядя в спину Скворца. У меня дергается веко.

Скворец разворачивается, идет мимо меня, не видя меня.

Я хватаю его за грудь левой рукой, рывком прижимаю к стене.

– Саня! – ору я. – Мне на хер это не надо, понял? Так вышло! Чего ты сам не унес его на шею? Так вышло!

Саня бьет меня по руке, освобождаясь. Вырывается, уходит.

Подбегаю к окну, даю длинную очередь в густой, мутный, безвкусный дождь, в полумрак... Рожки пустые, выбрасываю их с силой на улицу. Присоединяю, вытащив из второй разгрузки, полный рожок.

Выхожу в коридор. Иду туда, где толпятся сырые спины, грязные затылки, грязные руки, сжимающие горячие автоматы.

Несколько человек бестолково палят из автоматов вниз, в пролет лестницы, пытаюсь очистить проход, чтобы нам спуститься на первый этаж и вырваться в овраг, чтобы уйти отсюда, убежать.

Астахов бросает пустую «трубу» вниз – у него больше нет зарядов.

– Патроны есть? – спрашивают у меня несколько человек.

Я не отвечаю, пустой, никчемный, никакой, прохожу мимо.

Нет патронов, нет патронов, нет. Есть, но мало. Не дам.

Бегу по лестнице вверх, на чердак.

На чердаке полутьма, сырая затхлость. Кеша лежит спокойно, словно спит. На затылке его бугрится сукровица. Его убили выстрелом в лицо – вижу я, присев рядом. Забираю Кешино «весло». Кеша валится на бок. Иду, пригибаясь под балками, к выходу, у выхода меня ждет Скворец. Ничего не говорю.

Где-то рядом грохает разрыв. Они нас не выпустят. Они нас всех здесь угробят.

Быстро спрыгиваем вниз, не оставаться же здесь, на чердаке...

Видим, что нескольких наших парней, рванувших на первый этаж, сразу положили из пулемета... Они скатились по лестнице, их, нелепо раскоряченных, убивают в сотый раз, стреляя и стреляя в мертвые тела, которым больше неведомо отчаянье, преисполняющее нас.

Все остальные толпятся на втором этаже.

Бросаю на пол ненужное мне «весло».

Прибежал Хасан:

– Семеныч! Три гранаты осталось! У Плохиша три гранаты!

Стоим в коридоре, грязные, сырые, усталые, но не желающие смерти.

Смотрю на Семеныча.

«Семеныч, ну выведи нас...»

– Давай туда! – указывает Семеныч на большое разбитое окно в пролете между вторым и третьим этажами. – Некуда больше, ребятки!

Будем прыгать в овраг, в грязь и воду, заполнившую его, подошедшую в упор к школе...

– У кого гранаты остались? – орет Семеныч.

Несколько парней выходят.

– Костя, – Куцый обращается к Столяру, – организуй! На первый этаж – «дымы»! И прикрытие, пока ребята будут выбираться! Плотней огонь! Последний рывок, ребята! Выйдем, родные!

Пацаны извлекают «дымы» из разгрузки – длинные трубки, которые, расчавившись, должны спрятать нас от стреляющих.

– Первыми кто? – Семеныч оглядывает пацанов, указывает на близстоящих: на Диму Астахова и дернувшегося от указующего пальца командира Амалиева. – Как выпрыгнете, бейте в дверь первого этажа! В запасный выход! Дима, Анвар, ясно?

Спустя несколько секунд на первый этаж летят «дымы» и следом – последние гранаты...

Столяр, сам Семеныч, Вася Лебедев, прыгая по ступеням, бегут к площадке, подсакивают к окну, лупят ногами, осыпая стекло.

Кто-то выпрыгивает первым...

Хасан кричит в рацию, вызывая Плохиша.

Взглядываю на Саню – ему даже не надо ничего объяснять.

– Хасан, мы сбегает! – говорю я. – Там еще Конь.

Грохочем разбитыми серыми берцами по коридору. У поворота чуть замедляемся, выглядываем. Плохиш присел на одно колено, держа в чуть отведенной назад левой руке гранату без кольца, напряженный, словно прислушивающийся.

– Плохиш, уходим! – кричу, подбегая.

Плохиш кидает гранату, берет автомат.

– Чего, трап подогнали? – спрашивает.

Не понимаю, о чем он говорит.

Дав напоследок длинную очередь, Плохиш не очень спешно бежит по коридору.

– Ну, вы скоро? – орет он, обернувшись.

Машу рукой – беги, мол, без нас.

Вызванный Скворцом Андрюха Конь выходит из «почивальни», почему-то с распухшим лицом, весь в глубоких, полных влагой – то ли потом, то ли гноем, то ли кровью – царапинах, с желтыми оскаленными зубами, раздраженный, словно никуда не собирался идти, словно он зверюга, зверина, у которого отняли голую, розовую женщину.

– Быстрей, Андрюха! – прошу я.

– Куда «быстрей»? – спрашивает он презрительно. – Напугались? Сдали школу?

Он поворачивается в ту сторону, откуда только что ушел Плохиш, запускает длинную очередь.

– Пошли! – говорю я зло. – Там раненые, понял? Надо их выносить!

Иду по коридору, готовый перейти на бег, но Андрюха Конь, идущий позади, не торопится, и это заставляет меня придерживать шаг, дико и дурно злиться на себя, на него. Я готов его убить.

– Быстрей, парни! – говорит поспешающий впереди Скворец, самый нормальный из нас.

Андрюха Конь разворачивается там, где коридор уходит вправо, дает еще одну очередь. Мы ждем его за углом, кривя лица.

Убежал бы, ей-богу, если бы не Скворец.

– Во, бя! – произносит Андрюха Конь, выскакивая к нам скорее удивленный, чем напуганный. – Ублюдки!

Ему стреляют вслед. От стены, замыкающей коридор и видимой нам, отваливаются крупные куски побелки. Чечены орут и топают, бегут к нам, не переставая орать и стрелять. Как дичь загоняют, тупую и пугливую.

Мы срываемся с места, я бегу, не оглядываясь на Андрюху Коня, по херу на Андрюху, заколебал он, мать его...

Саня с разлету проваливается в дыру, пробитую выстрелом Астахова в полу.

Саня, что ты натворил, Саня!..

Готовый истошно заорать, развалиться на части, останавливаюсь. На сотую долю секунды встречаемся глазами с Андрюхой Конем, взгляд его словно намылен – то ли бешен, то ли бессмыслен, но мы сразу понимаем, что и кто из нас будет делать.

Падаю на пол, выискивая взглядом Саню, и нахожу его, прижавшегося к стене спиной, сидящего на корточках в грязной воде, озирающегося по сторонам и, кажется, видящего людей, готовых его убить.

– Саня! – ору я и тяну вниз руку.

Андрюха Конь, расставив ноги, стоит надо мной, полосуюя из пулемета туда, где вот-вот... должны...

Саня, бросив автомат, подпрыгивает, цепляясь двумя руками за мою ладонь, за пальцы мои, за рукав, и я чувствую его цепкую, живучую, жаждающую силу. Но тут же эта сила исчезает, сходит на нет, и Саня, простреленный насквозь, разжимает свои пальцы, и я не в силах его удержать, и мне незачем его держать...

На затылок, на спину мне падают тяжелые гильзы, выплевываемые из пэкаэма.

Внизу, на первом этаже, смеются люди, я слышу их смех.

– Сдохните, мрази! – ору я в пролом. – Мы всех вас выебем!

Кто-то снизу стреляет в потолок.

Мы бежим с Андрюхой Конем к своим, к выпадающим в окно, в грязь и дождь пацанам.

Снизу, с первого этажа, тянет дымом, сквозняком разгоняет слабую гарь по этажам, по коридорам.

На площадке несколько трупов, кровища, кишки, неестественно белые кости, куски мяса – видно, снизу пальнули из «граника». Кто-то визжит неумолчно.

Никто никого не прикрывает.

Семеныч – вся безумная рожа в крови – подгоняет оставшихся пацанов. Кажется, он рыдает, у него голос, словно он рыдает...

Кто-то выпихивает раненых, те бестолково валятся за окно.

Андрюха Конь остервенело смотрит на происходящее, пытаюсь понять, почему все это происходит, почему все лезут в окно, зачем...

– Давай! – толкаю я Андрюху Коня.

Кажется, он отвечает: «Я не вылезу», – или: «Я не полезу». Наверное, последнее.

Я ору на него, не понимая, что ору, возможно, вообще не произнося слов.

И рыдающий голос Семеныча...

Андрюха Конь морщится, сплевывает, поправляет на плече ремень ПКМ, выворачивает на площадке, тяжело ступая в чьи-то размотанные внутренности.

– Я через дверь выйду, – сказанное я понимаю по его губам. Он сказал это для себя, ни для кого больше.

Семеныч не останавливает его.

Старичков толкает Филю, но пес вырывается, не хочет прыгать. Старичков выпрыгивает один. Филя жалобно смотрит вниз, долго примеривается, прежде чем прыгнуть, но кто-то пинает его, и Филя, лязгнув зубами, выпадает.

Чтобы выпрыгнуть, надо присесть. Присаживаюсь. Перед глазами кривые, в чьей-то крови, зазубрины стекла. Слева – берцы Семеныча, тяжело вдавленные в кровавую лужу, в ошметки человечины, от которых, кажется, идет пар...

Внизу, в воде, под дождем лежат – никуда не бегут, никуда не плывут – пацаны, наваленные друг на друга.

Оглядываюсь, вижу спину и белые плечи Андрюхи Коня, спускающегося по лестнице, стреляющего куда-то в дымную тьму, где слышны гадливый ор и гортанный хохот.

И еще собачий визг слышу, визг подстреленного пса.

Вылезаю, чувствуя теменем, хребтом оконный проем... выпадаю, кувыркаюсь, с брызгами и чмоканием падаю, не понимая куда... на податливые, скользкие, сырые спины... сразу теряю автомат, кувыркаюсь еще, прыгаю, отталкиваясь ногами, приземляюсь на руки, как убогое млекопитающее, решившее стать рыбой... пытаюсь избавиться от скрюченных белых и сырых пальцев, и спин, и оскаленных голов... с визгом дышу, и дождь бьет в лицо – в глухое, слепое, обрастающее жабрами и теряющее веки лицо...

Как много трупов!

Валюсь в воду в надежде нырнуть и плыть, невидимый, по дну оврага, подальше от «почивальни»... Взбиваю руками ледяную воду и грязь. Сжимаю грязь в руках, скольжу ногами, толкаясь. Не получается, не получается уйти на дно. Здесь по колено воды. На дне чавкающая, илистая почва, и ноги путаются в кустах и сучьях.

Путаюсь и вязну...

Как здесь передвигаться, Боже?!

Пытаюсь бежать по воде, ноги двигаются медленно, берцы засасывает, ничего не вижу вокруг, ничего не понимаю. Брызги, и дождь, и автоматный гам.

Глубже, тут чуть-чуть глубже, быть может, по пояс воды. Падаю, хлебаю грязь и воду, потому что дыхания нет, воздуха нет, легкие вывернуты наизнанку.

Вырываюсь из-под воды на свет, пытаюсь бежать, перед глазами прыгает, качается школа, и разбитое окно, из которого я только что выпрыгнул, и завал трупов под окном...

«Чего? Куда я? Почему школа передо мной?»

Разворачиваюсь, двигаюсь в другую сторону, тяну себя, цепляясь за кусты, сдирая кожу с ладоней.

Резко уходит почва – проклятая, гнилая, засасывающая почва уходит из-под ног, валюсь в воду, бью всеми конечностями, ползу по дну, отталкиваясь ногами, пытаюсь плыть... Здесь глубоко, но плыть дико, дико, дико тяжело.

Скидываю разгрузку, крутюсь в воде, беспрестанно хлебаю воду, кашляя, снова хлебаю... Плыву, толкаю по-лягушачьи себя ногами.

Нет сил, сил больше нет.

Ухнуло. Показалось, будто из-под воды вылетел некий радостный подводный дух. Бьет в лицо грязью, меня переворачивает, толкает в грудь, ухожу под воду.

«Меня не убили», – ясно стучит в голове.

...На одной ноге нет берца, голая ступня чувствует дно...

Лениво шевелю руками, мозг тяжело и сладко саднит, словно переполняя голову, готовый выплеснуться...

«А я ведь тону...»

Лениво, лениво, лениво...

Тяжелые веки, красное тяжелое зарево под веками. Внутренности рывками, с каждым горловым спазмом, с каждой попыткой вдоха заполняются грязной, тяжелой водой... Вода теплая. И выдохнуть нет сил.

Голая нога, пятка моя чувствует дно. Нет моего тела, тело растворилось, только живая белая пятка и жилка на ней – мерзнет...

«Толкнись ногой!»

Вылетаю на поверхность, с лаем хватаю воздух, плашмя бью руками по воде, разодранными, рваными на лоскуты ладонями.

Вижу, я вижу человека.

Уйдя под воду, помню, что видел человека.

Стегающий по воде тяжелый дождь...

Тяжелый дождь, стегающий по воде, тысячи тяжелых капель – вижу, странно близко вижу. Только что видел грязную подводную тьму, а теперь – капли по воде.

– Егор! Плыви, Егор!

Двигаю руками, ногами, слушаюсь кого-то, кто тянет меня за шиворот.

Монах, это Монах.

Двигаю, дергаю конечностями...

Вдыхая и выдыхая, лаю сипло, визгливо.

Бьюсь в падучей на воде, на грязи, долго, долго.

Дергаю, дрыгаю...

– Егор, не лупи руками! Егор! Стой! Стой! Здесь мелко. Сиди.

Держась распахнутыми руками за кусты, сижу...

Рвет, меня рвет. Не в силах поднять глаза, равнодушный ко всему, нет, не смотрю, просто вижу, как в воду рывками изливается из меня дурная, густая жидкость.

Монаха тоже рвет.

Нас колотит и рвет... Все тело дрожит. Кусты, за которые держусь, гнутся и ломаются в руках, падаю на четвереньки, стою на четвереньках.

Изо рта изливается, с рыданием изливается изо рта рвота. И длинная, неотрывная слюна висит на губе.

Дышать трудно. Внутренности мои, кажется, разорваны, все кишки перекручены...

Сажусь, сморкаюсь грязью... Рука пляшет у лица, ледяная рука пляшет, дрожит, трясется, чужая рука... Протираю глаза.

Школы не видно, она на той стороне оврага, далеко...

Ничего не страшно. Кто бы ни пришел, что бы ни сделали с нами – ничего не страшно.

Сидим по пояс в воде, нагнув головы, вцепившись в ляжки ледяными, скрученными, кровоточащими пальцами. По спинам, по затылкам бьет дождь.

Пытаюсь еще раз сплюнуть. С онемевшего безвольного языка свисает слюна. Все тело мое, онемевшее, сошедшее с ума, колотит, лишь под языком горячо...

Выстрелов уже не слышно. Темно...

Слюна сладкая...

...Было нераннее сентябрьское утро, навстречу по тротуару шли алкоголики и молодые мамы с колясками; и те и другие имеют обыкновение появляться на улице именно в это время.

Припухлые физиономии алкоголиков и лица молодых мам вызывали во мне нежность; у пьяниц они были иссиня-серого цвета, у женщин – бледно-розового.

Алкоголики топали деловито, им очень хотелось, чтобы все думали, что они идут на работу. Завидев меня или другого молодого человека, они всматривались в нас, определяя для себя, уместно ли позаимствовать у встречного несколько рублей, скажем, на хлеб.

Мамы смотрели вперед, старательно объезжая канавы и лужи, взгляд их был одновременно преисполненным смысла и отсутствующим – мне кажется, такой взгляд у Девы Марии на иконах. Женщины тихо покачивали своими расплывшимися после родов бедрами, познавшими тяжесть плода.

В знакомом дворике, куда я бесхитростно свернул от алкоголика, намеревавшегося за счет моего видимого благодушия обогатиться на пару монет, все тот же, что и два месяца назад, юноша носил ящики с овощами, в ящиках лежали огурцы.

Во дворе я увидел старых своих знакомых – колли, мальчика и девочку.

Отец-колли был счастлив. Хозяева выпустили его из вольера, он вертелся во дворе, ища, с кем бы поделиться прекрасным настроением.

В вольере, нежная и заботливая, суетилась мать-колли, вокруг нее дурили три щенка – два в основном черных, один в основном рыжий. Мать давно оставила попытки собрать их вместе и только изредка полаивала, не строго, но жалобно.

Почти обезумевший отец, казалось, не замечал семейных проблем, непослушанья детей и мне, медленно подошедшему, улыбающемуся, тут же поднес небольшую сухую палочку, вих-

ляя даже не хвостом, а всем рыжим пушистым ласковым телом. Я принял палочку и, повинувшись его восторженному взгляду, откинул насколько мог. Отец подпрыгнул, будто хотел ее поймать еще в воздухе, и, касаясь земли тонким изящным мушкетерским носом, помчался искать, пролетел дальше, чем нужно, схватил другой, мало похожий сук и принес его мне, счастливо подрагивая всем телом.

– Вот где была твоя девочка! – радовался я вместе с ним. – Рожала она! – Я ласково прихватил за шиворот, приобнял пса, чувствуя ароматное роскошество его шерсти. – Домой ее увели, а ты тосковал, да? Ах ты, псинка моя...

Он снова сбежал за палкой и принес ее; когда я выдернул сучок из его рта, на языке пса осталась черная, как мне показалось, сладкая весенняя грязь. Розовый язык его вяло и влажно колыхался, как флаг.

Дашу я дома не застал.

А через два дня был в Моздоке.

«Сколько мы здесь сидим?..»

– Монах! Сколько мы здесь сидим?

– Не знаю... Полчаса... Или час...

У меня часы на руке, неожиданно вспоминаю я. Запястье левой руки чувствует браслет.

– Пойдем... На сушу...

Ноги тяжело ступают по грязи. Неудобно идти в одном берце... Снять? Сажусь в воду, снимаю. Монах, стоя рядом, ждет.

– Оружие есть? – спрашиваю я.

– Нет...

Встаю, смотрим вокруг, сырая темнота... Пошел легкий, мелкий, жесткий снег.

Едва выговаривая буквы, спрашиваю:

– Школа там? – и указываю.

– Нет, вроде вот там...

– Значит, дорога – в той стороне.

– Ночью пойдем? – спрашивает Монах. – Может, до утра?..

– Мы сдохнем в этой луже до утра...

Внутренний жар спадает, и пот, смешавшийся с грязью, начинает леденеть на слабом ветру.

Шлепая ногами, выходим из воды, ссутулившиеся, мерзлые...

Поднимаемся, цепляясь за кусты, из оврага. Несколько раз падаем. Помогаем друг другу встать.

Чувствую свои ноги до колен, ниже – обмерзшие колтуны.

Выбравшись, вглядываемся в темень. Где-то стреляют...

Долбят зубы, невозможно удержать челюсти... Трясутся руки, плечи, ноги.

Я не в состоянии расстегнуть ширинку, чтобы помочиться, – рука все-таки стала клешней, я орыбился, стал рыбой с пустыми белыми глазами, с белым животом, как хотел того...

Мочусь в штаны, чувствуя блаженство – горячая, парная жидкость сладко ошпаривает, на несколько мгновений согревает там, где течет, кожу.

Пляшут челюсти...

Губы, щеки стянула грязная корка, даже снег ее не размывает. Я не в состоянии двинуть ни одной мышцей лица.

– Чего? – спрашивает Монах.

Я ничего не говорил.

Быть может, в горле клокочет от холода.

Не в силах ничего ответить, молчу.

Мозг, кажется, тоже обмерз, он не в состоянии повиноваться.

Хоть бы нас взяли в плен. У костра бы положили, перед тем как зарезать... Я прямо в костер бы ноги протянул...

Так хочется жара, обжигающего тело жара. Кажется, счастливо бы принял прикосновение раскаленного, красного, мерцающего железа.

Бредем, почти бессмысленно бредем...

Воды почти везде по шиколотку. Иногда проваливаемся в наполненные водой ямы. В сторону оврага текут обильные грязные ручьи.

Надо шевелиться. Надо взмахнуть руками, присесть, разогнать застывающую, как слюда, кровь. Но не гнутся ноги, и, если я попробую присесть, они сломаются. И останутся, вдавленные в грязь, стоять два обрубка, с неровной, рваной линией надлома, ледяные изнутри, с обмороженной прослойкой мяса и холодной костью.

– Егор! – губы у Монаха тоже пляшут, мое имя в его пристывших устах звучит как наскоро слепленные четыре буквы: «е», «г», «г», «р».

Не отвечаю. Голова трясется, ни один звук не склеивается с другим.

– Егтр! – снова повторяет Монах и еще что-то говорит.

Медленно и неприязненно пережевываю, как ледяное сало, его слова, пытаюсь понять их.

«Там огонь», – он сказал...

Он сказал «там огонь». Причем «там» произнес как «тм», а к слову «огонь» с большим трудом прилепил мягкий знак...

Несколько раз перекатив в голове произнесенное Монахом, догадываюсь поднять глаза, которые до сих пор равнодушно взирали вниз, тупо отмечая поочередное появление белых ног в поле зрения. Моих белых ног, облепленных шматками беспрестанно обваливающейся вместе со стекающей водой и вновь прилипающей грязи. Поднимаю глаза и вижу огонь.

– Бэтээр горит, – неожиданно внятно произношу я.

Нелепо, но речь сработала быстрее рассудка: произнеся фразу, я слушаю ее, будто сказанную кем-то другим, и раздумываю, верно ли сказанное.

Да, это бэтээр или разлитое вокруг него топливо горит... Слабо, еле-еле, но горит...

Идем по пустырю, по чавкающей земле, ленясь обходить кусты, проламываясь сквозь них, к дороге, к огню, не сговариваясь, ничего не ожидая, ни о чем не думая, желая только тепла. Отогреть клешни, войти в огонь, стоять блаженно посреди него...

Медленно идем. Пытаюсь прибавить шаг. Скольжу, резко падаю на бок, чувствуя щекой грязь и вроде бы налет снежка на грязи... совсем невинный, свежий снежок, выпавший только что...

Монах помогает подняться, он просто подходит и, не в силах нагнуться ко мне, стоит рядом. Хватаю его за ногу, приподнимаюсь, перехватываюсь за твердую, безвольную и холодную руку Монаха, и он делает несколько шагов вбок, таща меня. Встаю... Бредем, спотыкаясь, дальше...

– Люди, – говорит Монах.

Мы видим: у дороги лежат люди в военных одеяниях.

«Может быть, они оборону заняли? Бэтээр подбили, и они заняли оборону? Сейчас застрелят нас...»

Пытаюсь поднять руки, но не удастся. Может быть, они сейчас крикнут нам, окликнут... Прежде чем стрелять.

Подходим ближе...

Они мертвые, все мертвые лежат, в тяжелых и темных лужах. Некоторые изуродованы. Иные обгоревшие.

Проходим мимо, к огню.

Метрах в ста пятидесяти на дороге вижу еще один бэтээр, тоже подбитый... Надо поднять валяющиеся автоматы. Сейчас возьму...

Я вхожу в тихо пылающую жидкость, в слабый, догорающий огонь, лоящий снежинки. В их соприкосновении, огня и снежинок, есть некая нежность. Монах толкает меня плечом, выгоняя из огня, мы едва не падаем. Сажусь на корточки у бэтэера, позади него чадит одинокое догорающее колесо, непонятно откуда прикатившееся... Я тяну к нему ладони, их овеивает дым. Готов обнять это колесо, прилепиться к жженой резине. Чувствую жестокую ломоту в ногах и руках, касающихся тепла.

– На, надень, – Монах кидает к моим ногам два ботинка. Снял с кого-то.

Валю ботинки набок, встаю на них. Надевать обувь нет сил – на обляпанные грязью заду- бевшие култышки ничего не натянешь.

Не дышу и глаза закрываю от дыма, зажмуриваюсь. И кажется, что безбольно лопаются щеки, но это всего лишь грязь на щеках, корка грязи...

«А ведь эту колонну недавно разбили...» – понимаю я.

Неподалеку, метрах в ста или ста пятидесяти, раздаются выстрелы, автоматные очереди. Монах садится рядом. Чувствую задевающее меня дрожащее плечо Монаха.

– Автоматы надо взять, – деревянно произношу я.

Слышу стон. Кто-то стонет.

Стучат, выдавая неритмичную дробь, челюсти Монаха.

– Тихо! – говорю, сминая и свои лязгающие челюсти.

И шаги. И вроде бы русская речь.

Я поднимаю, закидываю назад, ударившись о борт бэтэера, голову, прислушиваюсь. Надо мной звезды и снег. Снег падает в глаза.

Почему-то сидим, не встаем, не стремимся к своим...

– Эй, братки! – зовет кто-то надрывно и тошно. – Братки, помогите!

Это не нам, это тем, кто идет, разговаривая...

Монах порывается встать. Но резко, оглушая притихший мозг, раздаются выстрелы: близко, здесь, возле бэтэера.

Смех, и негромкий, словно захлебывающийся голос, и слова, масляные, разноцветные, как винегрет, какие-то «хлопци», какие-то «чи!.. сгасав...»

Кто-то прикалывается, косит под хохлов?

Разум оживает, мысли начинают прыгать, как напуганный выводок лягушек: каждая в свою сторону, в мутную воду.

«Да это настоящие хохлы, никто не прикалывается... Раненых убивают».

Еще ничего не успеваю ни решить, ни придумать, когда передо мной, в двух десятках сантиметров от моей несчастной, заляпанной грязью стопы, возникают две ноги, мощный ботинок и бушлат, небрежно расстегнутый, и рука в обрезанной перчатке, из которой торчат пухлые, с длинными грязными ногтями пальцы.

Человек стоит к нам левым боком, глядя по сторонам. В правой руке – автомат, он небрежно держит его за рукоятку. Только что из этого автомата...

Меня вскидывает, словно разрядом. Клешня моя смыкается не на горле – на кадыке резко обернувшегося ко мне человека, и я тяну этот кадык на себя, и другая моя рука лезет в глаза ему, сразу в оба глаза, выщипывая их, выковыривая...

Стреляет автомат возле ноги – он нажал на спусковой крючок, – но я уже сижу на нем, на груди его; мы упали... и я рву, пытаюсь порвать лицо человека, словно оно резиновое... словно это тушка курицы... курицы, уже лишенной перьев, но еще почему-то живой, истекающей кровью и квохчущей.

Ухо! Мое ухо отрывают! Тянет за ухо чья-то рука, скребя пальцами по черепу, собирая мою кожу под длинными ногтями...

Лежащий подо мной человек крикает, хекает и слабнет. Еще несколько секунд держу его. Пальцы мои судорожно, насмерть сведены на так и не вырванном твердом каддыке. Левая рука – четырьмя пальцами в его полном крови рту, между пальцами что-то мягкое и теплое, словно рука опущена в свежее коровье дерьмо... Большой палец вдавлен, воткнут в щеку снаружи.

– Слазь! – говорит Монах. – Надо уходить.

Я оборачиваюсь, он сидит у меня за спиной с окровавленным ножом в руке.

Озираюсь. Рядом, лицом вниз, лежит еще один труп – человек, зарезанный Монахом в спину. Я даже не видел, что хохлов было двое.

Брезгливо извлекаю руки, слезаю с человека...

Брюхо его проткнуто. Это Монах его зарезал.

– Надо уходить, – повторяет Монах, глаза его раскрыты широко, и даже дрожать он перестал.

– Автоматы! – говорю я.

Пока Монах поднимает стволы, я вытираю грязные ноги о бушлат прирезанного, пускающего тихую кровь. У него в грудном кармане рация, лопочет что-то. Зачем-то беру ее, сую в карман.

Тянусь за берцами, вижу скрюченные окровавленные пальцы своих рук.

Влезаю в ботинки, грязные обледенелые лапы с трудом всовываются. Монах торопит меня.

– Ни хера больше не будет... – отвечаю, сам не зная, какой смысл вкладываю в свои слова.

Монах подает мне автомат, когда я поднимаюсь.

– Подожди, – говорю, отстраняя ствол, – помоги.

Снимаем бушлат с изуродованного мной и Монахом хохла.

Словно пьяного раздеваем – корявые руки его торчат в разные стороны, не слушаются, мешают.

Сдираю с себя куртку «комка», сырой, одеревеневший тельник. Обряжаюсь в бушлат, чувствуя голым телом теплое еще нутро его. Монах сует мне автомат, снова торопит.

– Брюки бы еще переодеть... Яиц не чувствую, – говорю.

– Пойдем, Егор.

«А чего уходить? Их так легко убить... И теплей стало».

Задерживаюсь возле лежащих у дороги, Монах уже сбежал вниз, на обочину.

– Монах, а это ведь наши «собры»... Которые в школу приезжали. Они тут оборону держали. Там чьи-то ноги обгоревшие торчат из бэтээра. Может, это Кизя?

Бежим по пустырю, разбрызгивая тяжелые, глубокие лужи, разбрасывая из-под ног комья грязи.

«Куда? К зданиям? В овраг? Куда?»

Бежим просто подальше от дороги, вниз, обгоняя стекающие в овраг ручьи. Никто не стреляет. Почему никто не стреляет?..

Луна трясется, отчетливая и близкая. Из Святого Спаса ее тоже видно, такую же.

Влетаем в яму – и сразу чуть не по пояс оказываемся в воде. Вылезаем... Опять обдает холодом. Еле таща ноги, премяся куда-то, меся грязь...

Останавливаемся у кустарника, дышим.

«Надо бы в воду залезть, обратно в овраг спуститься... Не полезут чичи в воду. Забраться там в кусты, сидеть жопой в воде... Холодно, но зато выживем...»

...А утром придет дед Мазай и заберет нас...

...Стволы зачем-то взяли... Чтобы с ними бегать, что ли? Туда-сюда по полю...

...Иди воюй, если хочешь...

...Да мне все равно...»

Но нет, мне не все равно: что-то внутри, самая последняя жилка, где-нибудь, Бог знает где, у пятки, голубенькая, еще хочет жизни.

– Эй!

Нас дергает с Монахом, приседаем, разом остановив дыханье. Топорщим стволы в сторону оклика.

– Кто? – спрашиваю зло, предрешенно, держа палец на спусковом.

– Ташевский, ты?

Встаем... Кажется, Монах тоже улыбается.

– Хасан? Хасан, ты, что ли?

– Я, я... Не ори.

Идем, шлепая по воде, навстречу друг другу.

Со стороны дороги раздается очередь. Пригибаем головы, словно это поможет, и все равно идем.

«Бля, а рация? – вдруг вспоминаю. – Где рация? Выронил, наверное, когда бежал...»

Подходим в упор друг к другу. Ба, тут еще и Вася. И Плохиш!

У всех троих автоматы, отмечаю я.

– Вот блаженная троица... – произношу, имея в виду этих парней.

– На дорогу, что ли, ходили? – спрашивает Хасан.

Парни тоже трясутся от холода. Но впятером веселей трястись... Как славно трястись впятером.

– Бэтээры горят. «Собров» положили... – отвечаю.

– Я знаю. Больше никого не видели?

– Нет. А вы?

– Там еще четыре человека, – говорит Вася, неопределенно кивая мелко дрожащей головой.

Идем куда-то в темноту. Погружаемся все глубже и глубже в воду. Плохиш матерится, и мне радостно это слышать, голос его.

– Кто еще? Кто жив? – спрашиваю.

Кажется, меня от счастья трясет, а не от холода.

– Семеныч жив, – говорят мне. И еще называют имена.

– Мы к школе пробовали сходить... может, раненые остались. Обстреляли нас... – говорит мне Вася. – Они гранаты кидают под окна... туда, где мы убегали... там наших человек тридцать осталось...

Чавкаем ногами, подняв автоматы над головами.

– Чего будем делать? – спрашиваю.

Никто не успевает мне ответить – вспыхивает ракета, зависает в воздухе. Вдруг вижу школу – стоит метрах в трехстах от нас, черная, отрыгнувшая в овраг, под свои окна, пережеванных людей.

«Из школы ракеты запускают, собаки», – понимаю.

– В воду! – приказывает Хасан.

Разом присаживаемся, пригибаем головы к воде, скребем пальцами левых рук за дно (в правых – приподнятые автоматы), цепляемся за осклизлые коряжки.

Сразу раздается стрельба, но куда-то в сторону стреляют.

Ракета гаснет, вижу по отражению в воде.

Встаем, вновь бредем, невзирая на стрельбу. Вода по грудь...

На кустистом возвышении – островком его не назовешь, оно тоже в воде, но воды там по колено, а где и по щиколотку – сидят наши... В кустах.

Кому-то, тяжело раненному, накидали веток, деревце сломленное разложили – получилась лежанка, сырая, ребристая, но все не в воде лежать.

В наши лица вглядываются, нас называют по именам, и мы называем оставшихся по именам.

Хриплые голоса звучат сдавленно, произносятся русские имена.

XIII

Дымящимся ледяным утром, когда танки начали бить по школе, она была уже пуста. Мы, очумевшие за ночь, потерявшие рассудок от холода, едва рассвело, побрели куда-то, не способные ни к чему, тупые...

Но по школе стали стрелять с дороги, и мы остановились.

Стояли по пояс в воде, глядя на школу, кривили рты, издававшие сиплые звуки. А в школе уже убили почти всех, кто приехал сюда умереть. Мы, оставшиеся, стояли с обожженными лицами, с обледеневшими ресницами, с больным мозгом, с пьяным зрением, с изуродованными легкими, испытывавшими долгий шок...

Вышли к дороге, и нас подобрали.

Горелый черный асфальт растрескался, как сохлый хлеб, когда мы на него ступили. Мимо летела ласточка и коснулась крылом моего лица.

«Мир будет».

В комендатуре мы обмылись теплой водой. Вяло плескались – голые худые мужчины, – касаясь друг друга холодными ногами, усталыми и ослабевшими руками, осклизлыми спинами.

Под ногтями, в густой черной окаемке, собралась овражная слизь и грязь, и кора древесная, и, наверное, Санина кожа, содранная, когда я цеплялся за него, и кожа того, зарезанного...

Болели разодранные ладони, тяжело ныло надорванное ухо, туманно и тошно саднило пробитую голову.

Переоделись.

Нас поили чаем и водкой, кормили. Мы лязгали зубами, глотая пищу, и скребли ложками о дно банок. Пили и никак не могли разогреться, развеселиться. И кашляли долго, нудно, истошно. И редко смотрели друг другу в глаза.

Появился деловитый чин, знакомое лицо, обросшее бородой. Ну да, Черная Метка... Увел Семеныча.

Через час мы поехали к школе, приодетые в теплое, отстрелявшие свое бойцы, недобитки расформированного отряда...

Несколько саперов с нами, солдатики.

Ходили молча по коридорам, искали что-то.

Никого уже не было в коридорах – ни Скворца, ни Кеши, ни Андрюхи Коня – никого...

В овраге возле школы, выставив локти, и колени, и разбитые головы, лежали неузнаваемые, неузнаваемое...

Трупы своих чеченцы забрали.

Плохиш раздобыл под досками своей порушенной кухоньки бутылку водки. В «почивальне» стоял и пил ее один, из горла...

– Меня ведь никто не ждет. А я приеду, – сказал Плохиш.

«А они – нет», – вот что хотел он сказать.

Саперы сняли несколько растяжек на лестницах и в «почивальне».

– Качели посмотрите... – попросил я саперов.

Они накинули веревку на качели, потянули – и стульчик для качания улетел к воротам, покореженный. Я, стоявший в грязном коридоре, в воде, дернулся от звука взрыва и потерял сознание...

Били по щекам, плескали водой в лицо...

«Даша», – подумал я. Имя прозвучало во мне близко и тепло, как удар сердца.

...Снова пили, приехав в Ханкалу, и наш куратор обещал нам ордена. Вася послал его на хер, и куратор ушел и больше не приходил.

Пьяных, нас отвезли в Моздок. Ехали с колонной, в одной из машин, в кузове. Кто-то блевал за борт.

При выезде из Чечни парни вылезли из машины и расстреляли знак, на котором так и было написано – «Чечня». Всем почему-то казалось, что если по нему долго стрелять, то он упадет. Но пули лязгали, а знак не падал. Тогда его выкорчевали и бросили, несмотря на то, что откуда-то взялся целый полковник и толкал нас, и орал матом на Семеныча.

Семенычу же было все равно – Хасан сказал, что они с Черной Меткой выбили на нас, на побитый отряд, деньги, много денег. И Семеныч зажал себе треть, и Черная Метка – треть. А остальные, быть может, отдадут нам. Но, может, и не отдадут.

– А ты хер ли хотел? – сказал Хасан, хотя я ничего не хотел и ничего не говорил. – Помнишь, он нас гонял по ночному Грозному? От этого задания спецы из ФСБ отказывались...

– Голимый кандец светил, – вставил кто-то.

– Семеныч сам напросился тогда... – закончил Хасан и потом еще что-то говорил.

Монах непослушно и непонимающе тряс головой, словно пораженный какой-то дурной болезнью. Он не слышал и не слушал никого.

В Моздоке парни уже протрезвели и несколько часов лежали на рюкзаках, глядя в небо так долго и так внимательно, как никогда в жизни, наверное, не смотрели. Если только в детстве...

В самолет вместе с нами, хмурыми, полезла пугливая замурзанная псина. Ее шуганули, она отбежала, а потом снова метнулась в разверзнутое нутро борта, увильвая от пугающих и топаящих ног.

– Куда! А! Ах ты! – заорали пацаны, отчего-то развеселившись.

– Ну, давай, сука, давай! – необыкновенно нежно зазвал ее к себе Вася. – Сука чеченская! В России кобели такие есть! О-го-го! Давай, милая...

В самолете Хасан, что-то разыскивая в куртке камуфляжа, вытащил из кармана карты – те самые, в которые мы играли, когда летели сюда. Карты отсырели, раздулись, стерлись.

Подумал вяло, что в этом есть какой-то смысл: карты... мы в них играли... в карты... когда летели сюда... Но в этом не было никакого смысла.

Я смотрел в потолок поднявшегося в небо борта и касался безвольной рукой псины, все еще боящейся нас. Бока ее, худые и грязные, дрожали.

«Вся тварь совокупно стенает и мучится донине», – выплыла в моей голове большая, как облако, фраза.

Мне казалось, что я плачу и собаку обнимаю. Что шепчу: «Сученька моя, прости меня, сученька... пусть меня все простят... и ты, сученька моя...»

Мне так казалось. Но я не плакал, глядя сухими глазами в потолок. Ни у кого и ни за что не просил прощения.

2000–2003; 2011

Грех

Одна жизнь в нескольких историях

Какой случится день недели

Сердце отсутствовало. Счастье – невесомо, и носители его – невесомы. А сердце – тяжелое. У меня не было сердца. И у нее не было сердца, мы оба были бессердечны.

Все вокруг стало замечательным; и это «все» иногда словно раскачивалось, а иногда замирало, чтобы им насладились. Мы наслаждались. Ничего не могло коснуться настолько, чтобы вызвать какую-либо иную реакцию, кроме хорошего и легкого смеха.

Иногда она уходила, а я ждал. Не в силах дожидаться ее, сидя дома, я сокращал время до нашей встречи и расстояние между нами, выходя во двор.

Во дворе бегали щенки, четыре щенка. Мы дали им имена: Бровкин – крепкому бродяге веселого нрава; Японка – узкоглазой, хитрой, с рыжиной псинке; Беляк – белесому недоростку, все время пытавшемуся помериться силой с Бровкиным и неизменно терпящему поражение; и, наконец, Гренлан – ее имя выпало неведомо откуда и, как нам показалось, очень подошло этой принцессе с навек жалостливыми глазами, писавшейся от страха или обожания, едва ее окликали.

Я сидел на траве в окружении щенков. Бровкин валялся на боку неподалеку и каждый раз, когда я его окликал, бодро кивал мне головой. «Привет, ага, – говорил он. – Здорово, да?» Японка и Беляк мельтешили, ковыряясь носами в траве. Гренлан лежала рядом. Когда я хотел ее погладить, она каждый раз заваливалась на спину и попискивала: весь вид ее говорил, что хоть она и доверяет мне почти бесконечно, открывая свой розовый живот, но все равно ей так жутко, так жутко, что сил нет все это вынести. Я всерьез опасался, что у нее разорвется сердце от страха. «Ну-ну, ты чего, милаха! – говорил я успокаивающе, с интересом рассматривая ее живот и все на нем размещенное. – Смотри-ка ты, тоже девочка!»

Неизвестно, как щенки попали в наш двор. Однажды утром, неразумно счастливый даже во сне, спокойно держащий в ладонях тяжелые, спелые украшения моей любимой, спящей ко мне спиной, я услышал забубенный щенячий лай – словно псы материализовали все неизъяснимое, бродившее во мне, и внятно озвучили мое настроение своими голосами. Впрочем, разбуженный щенячьим гамом, я сначала разозлился – разбудили меня, а ведь могли еще и Марысю мою разбудить; но вскоре понял, что щенки лают не просто так, а клячат еду у прохожих – голоса прохожих я тоже слышал. Как правило, те отругивались: «Да нет ничего, нет, отстаньте! Кыш! Да отстаньте же!»

Я натянул джинсы, валявшиеся где-то на кухне – вечно нас настигало и кружило где ни попадя, по всей квартире, до полного бессилия, и лишь утром, несколько легкомысленно улыбаясь, мы вычисляли свои буйные маршруты по сдвинутым или взъерошенным предметам мебели и прочему вдохновенному беспорядку, – ну вот, натянул джинсы и выбежал на улицу в шлепанцах, которые неведомым образом ассоциировались у меня с моим счастьем, моей любовью и моей замечательной жизнью.

Щенки, не допросившиеся подачи от очередного прохожего, без усталости рыскали в траве, ковыряя мелкий сор, отнимая друг у друга щепки, какую-то сохлую кость, который раз переверачивая консервную банку, – и все это, естественно, не могло их насытить. Я свистнул, они бросились ко мне – о, если бы так всю жизнь бежало ко мне мое счастье, с такой остервенелой готовностью. И закружили рядом, неистово ласкаясь, но и обнюхивая мои руки: по-жрать-то вынеси, дядя, говорили они всем своим жизнерадостным видом.

– Сейчас, ребятки! – сказал я и вприпрыжку помчал домой.

Я кинулся к холодильнику, открыл его, совершенно молитвенно встав перед ним на колени. Рукой я теребил и поглаживал Марысины белые трусики, которые подхватил с пола в прихожей, конечно же, нисколько не удивившись, отчего они там лежат. Трусики были мягкими; холодильник – пустым. Мы с Марысей не были прозорливы, нет – просто мы никогда не готовили толком ничего, у нас было множество других забот. Мы не желали быть основательными, как борщ, мы жарили крепкие слитки мяса и тут же съедали или, мажась и целуясь, взбивали гоголь-моголь и, опять же сразу, съедали и его. Ничего не было в холодильнике, только яйцо, как заснувший зритель в кинотеатре, посреди пустых кресел с обеих сторон: сверху и снизу. Я открыл морозилку и радостно обнаружил там пакет молока. Отодрал с треском этот пакет с его древней лежанки, бросился на кухню и еще раз обрадовался, найдя муку. Банка с подсолнечным маслом спокойно стояла на окне. «Будут вам блинчики!» Через двадцать минут я наделал десяток разномастных уродов, местами сырых, местами пережаренных, но вполне съедобных – я сам попробовал и остался доволен. Прыгая через две ступени, ощущая рукой жар блинцов, которые накидал в целлофановый пакет, я вылетел на улицу. Пока спускался по лестнице, успел испугаться, что щенки убежали, но сразу же успокоился, услышав их голоса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.